

Евгений Сафронов



Экспедиция

Бабушки онлайн



Евгений Сафронов

# Экспедиция

*бабушки офлайн*

*Издательство «Перо»*

Москва, 2018

ББК 84Р2-4  
С 21

Художник *Максим Васи́лин*

С 21 **Сафронов Е.В.** Экспедиция. Бабушки офлайн. Роман. Повесть. Рассказы. – М: Издательство «Перо», 2018. – 320 с., илл.

*Многим известен образ фольклориста-неудачника Шурика из популярной комедии Гайдая. В реальности всё немного по-другому: сложнее, интереснее, мистичнее и даже... забавнее. Автор книги – писатель и фольклорист – более 15 лет записывает устные рассказы, связанные с колдунами, оборотнями, НЛО и т.п. Встречи с современными знахарками и сельскими самогонщиками, яркими личностями и невыдуманными характерами – всё это в остросюжетном романе об экспедиции в неведомое, настоящую «неизвестную землю» для большинства горожан – российское село.*

*Также в сборник входят повесть и рассказы, образы и мотивы которых перекликаются с романом об экспедиции.*

ISBN 978-5-00122-420-4

© Сафронов Е.В., текст, 2018

© М. Васи́лин, Т. Половова, Д. Добрынина, рисунки, 2018

© Цухлов А.Ю., стихотворения, 2018

**Все права защищены**

## «Нас всех подстерегает случай»

Трудно просто и однозначно определить – о чем этот роман: о любви? о человеческой судьбе? о времени и временах? о разных поколениях? о снах и реальности? Да. Об этом. Но не только. Да и связывает всё это в единой сюжетный и жизненный узел событие в сущности не очень значительное – экспедиция.

Студенты поехали в очередную фольклорную экспедицию. Студенты разные – городские и сельские, юные парни и девушки, молодые мужчины и женщины. Кто-то еще безмятежно и удивленно смотрит на окружающий мир, кто-то уже запутался в сложных отношениях с ним и собой. И всё же главное, пожалуй, не в этом. А в той случайности, которая может принять и принимает порою самые причудливые и непредсказуемые формы, создавая для каждого из них свое, неповторимое здесь и теперь. Именно об этом сказал в свое время Александр Блок, его строчки почему-то приходят на ум после прочтения произведения, так что хочется поставить их эпиграфом к этому роману.

*Жизнь — без начала и конца.  
Нас всех подстерегает случай.  
Над нами — сумрак неминуемый,  
Иль ясность божьего лица.*  
(А. Блок Возмездие)

Вряд ли об этом думает кто-то из героев романа, большинство из них живут своей частной жизнью, решая профессиональные задачи или просто погружаясь душой в реку жизни, но автор, как мне представляется, всё же чувствует это. Он чувствует, что под пеленой повседневности таится нечто, способное неожиданно прорываться, менять судьбы, обжигать или окрылять души, то, «что не выразить сердцу словом и не знает назвать человек».

Конечно, роман переполнен тем, что можно назвать этнографизмом или фольклоризмом, легко угадываются слегка обработанные подлинные полевые записи, сделанные в экспедициях, но они так прочно сплетены, спаяны с человеческими жизнями, что явственно ощущаешь – это та реальность и та субстанция челове-

ческой жизни, которые лишь приоткрываются нам в фольклорных записях, сколь бы стенографически точными они ни были. Только искусство, только эстетическое преобразование человеческой исповедальной речи в художественную энергию поэтического слова делает возможным высвободить и пережить то, что скрыто за рассказом человека о себе и о жизни...

В конце романа, когда сплетаются в один узел судьбы двух совершенно чужих и бесконечно далеких друг от друга людей – Будова, дембеля с мятущейся душой, и Марины Рядовой, целительницы, души грешной и страдающей, передающей ему, как и полагается по традиции, перед смертью свой опасный и в то же время неизбываемый дар, читателю открывается то, что действительно «не выразить» и «не назвать». Конечно, всё это любой литературовед мог бы легко перевести на понятный и привычный язык тем, мотивов, проблем и проч. Но, право же, читая бередящий душу финал романа, сострадавая и любя его героев, не будем забывать, что «есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать – и пройти мимо» (*И.С. Тургенев. Дворянское гнездо*).

*Михаил Матлин,  
фольклорист, кандидат филологических наук*

# Часть 1. Накануне

## Глава 1. Будов

– Спаси, Господи, от крика дневального, работы физической и занятий тактических, от овса и перловки да строевой подготовки. Ну там еще что-то про море Азовское. Я уж сейчас не помню. Ну и аминь, аминь, аминь, естественно, – Будов разлил еще по одной.

– Круто! Да это же заговор самый настоящий! – Стариков улыбнулся, ненадолго почувствовав облегчение: Петька вроде бы начал «проявляться». Возвращаться понемногу к образу того самого шутника и бородача, который полтора года назад загремел на срочку.

– Круто, брат, да не больно...

– А что же? – Лешка вспомнил их прежние масленичные переговоры. Будов обычно на Масленицу играл роль балаганного деда, а Стариков – его хитрого слуги. Петька должен был сейчас продолжить: «Да всё то же!» – «А как же?» – «Да все так же!».

Но вместо этого недавний дембель выпил, не чокнувшись, и изрек: – Эх, на спирту любая гадость принесет солдату радость!

Лешка снова заулыбался.

– Ты, гляжу, вагон и маленькую тележку армейского фольклора приволок со службы... А шрам-то на подбородке откуда?

– Оттуда.

Будов вдруг помрачнел и предложил выйти покурить. Они сидели в «Советской» на четвертом этаже. Эту закусочную друзья облюбовали еще в давние времена – когда Стариков подрабатывал журналистом.

С Волги дул влажный неприятный ветер. Сквозь белесую взвесь в вечернем свете фонарей едва проступал памятник Ильичу. Стариков искоса посматривал на друга, раздавшегося в плечах, но как-то осунувшегося в лице: на худых небритых скулах пробивалась зеленоватая поросль, напоминавшая камуфляж.

– Я ведь Наташку бросил, – сказал после молчания Будов и выдул струйку дыма в сторону затерявшегося в тумане Ленина. Прозвучало это почти буднично. Лешка удивился.

– Ты чего, Петь? Она же ждала, все разговоры – только о тебе, дураке.

Будов поморщился:

– Давай не будем. Ну ждала! Ну молодец! И статус «Вконтакте» правильный подобрала – там стихами: «Ждать любимого легко. Ого-го-го да ого-го-го!». И прочая муть. Чё-то отдохнуть мне надо ото всего, Лешка. И от нее – в том числе.

Стариков нахлобучил капюшон куртки, пытаюсь закрыть левое ухо от ветра:

– Да нет проблем – отдыхай. Работенку-то искать будешь?

– Не-а, – Будов покачал головой и расстегнул верхнюю пуговицу осеннего черного пальто. – Пока просто отдохну. Ты-то кем сейчас? Фрилансишь всё?

– Да нет, в педухе – старшим преподавателем.

– А-а. Ну-ну.

Они снова помолчали. Старикову почему-то захотелось поскорей уйти и не звонить Петьке несколько месяцев. Последний раз он так себя чувствовал, когда энергичным шагом обогнал болезненно вихляющегося и неуверенно переставляющего ноги парня-ДЦПшника. Лешка спешил на лекцию и обходил людской поток почти на автопилоте. Парень остался далеко позади, Стариков его почти и не заметил, но затем, подходя к крыльцу университета, неожиданно ощутил стыд за звуки каблучков своих туфель, которые так бодро прощелкали рядом с медленными серыми кроссовками инвалида.

– Слушай, Петък, давай еще по одной, и я – домой. К лекциям надо готовиться. У меня еще два практикума у этих пятикурсников по «Культуре досуга». Не хочется – жуть. Но надо.

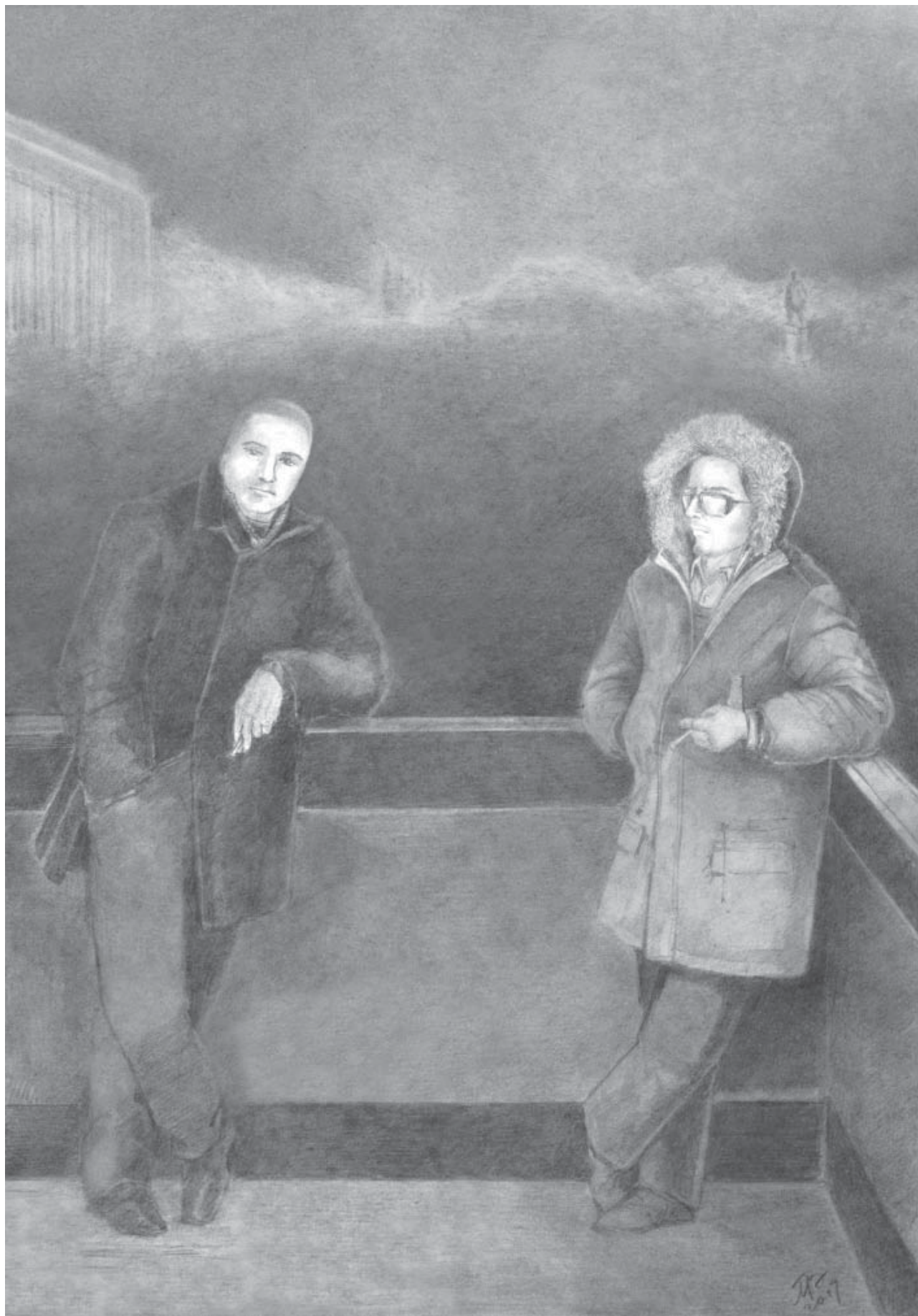
– Ага. Понял, – Будов пригладил едва проступающий «ежик» на своей голове и указал глазами на туман. – А в Ульске всё по-прежнему. Туманы, трамваи, Волга и мост. Симбирский край и земля отцов, блин. Давай до филармонии прошлепаем на пять минут: мост глянем, и пойдешь ты к лекциям чертовым готовиться. Угу?

\*\*\*

*(Крылатый ангел. Статус на форуме: гуру)* «Девочки, мой как вернулся – сначала вроде как нормально всё. А потом звонит и заявляет: «Давай отдохнем друг от друга. Хотя бы с месяц». А я его два года ждала. Это вот нормально?»

*(Воїї. Статус: новичок)* «Ну всё: пиши пропало. У меня то же самое было. Ребенку уже месяцев семь стукнуло, а он, сволочь,





через три дня, как пришел с армии, говорит мне: «Я охладел!». Не верьте им и не ждите их!»

(*Диффчёнка. Статус: продвинутый*) «Да у них там зомбаж какой-то в этой армии. Дебилов из них делают. Мой тихоней раньше был, надыхаться на меня не мог. Трех месяцев не прослужил – и шутки какие-то дебильные стали. И писать-звонить перестал. В общем, я ждать его не стала – и сейчас счастлива. Он вернулся – и беспробудно запил. Бог уберег».

(*Кучерявый. Статус: новичок*) «Вот из-за таких, как ты, мужики и спиваются. Когда девчонке 18, а парню дембель через год, не стоит парню сомневаться: она уже его не ждет».

(*Стерва. Статус: гуру*) «Если он говорит: «Мне нужно отдохнуть!» – значит ни фига не любит уже. Это я сама проходила. Ищи другого, а если можешь – забудь».

\*\*\*

Будов грохнул велосипедом об стенку остановки и сел на оставшийся брусок лавки. Дело двигалось к весне, но погода этого еще не расчихала, не поняла. Снег валил серыми хлопьями, которые, приземляясь, желтели в свете потерявшегося за остановкой фонаря. На велосипеде Петька ездил теперь всё время: снег ему не мешал, да и без маршруток – сплошная экономия.

– И ездить мне некуда. На фиг, на фиг всех! – сказал он в сторону смутной фигуры, нарисованной на внутренней стенке остановочного павильона. Видимо, кто-то из местных граферов облюбовал эту территорию – в качестве креативного квартала. Черная фигура почти стерлась, и Петьке стало ясно, что граферы сюда не придут. Значит, пить придется опять в одиночку.

Будов достал из внутреннего кармана кожаной куртки небольшой флакон и внимательно посмотрел на изображение красного перца. Затем выудил оттуда же пластиковую бутылку 0,25 л, наполовину наполненную (или – наполовину пустую) водой, и перелил туда красноватую жидкость из флакона. Взбултыхал.

– Вот так, – сказал сам себе Будов. – Забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. . .

При последнем слове он вздрогнул, вспомнив недавние похороны. Мать лежала всю ночь в гробу, выставив в потолок заостренный носик, как у синички. Он сидел, облокотившись на край стола, и смотрел на вытянутый огонек свечи, которая иногда потрескива-

ла, будто пустое дерево на морозе. Затем вспомнил слова Старикова, когда они сидели в столовой педуниверситета на поминках.

– Ты, Будов, ведешь себя самым стереотипным образом. Отслужил – и потерял, блин, смысл бытия. Навидался всего, жизнь – боль, одним словом. Наташку бросил, работать не хочешь. Про мать твою я уж молчу...

– Я тебя сейчас ударю! – сказал Будов, у которого выпитый стакан водки лег на старые дрожжи.

– Подожди немного, вот только очки сниму, – спокойно ответил Стариков. И ушел. Петька его тогда возненавидел. Правильная сволочь, отмазавшаяся от армии через учебу в аспирантуре. «Стереотипным образом...».

– И сейчас ненавижу, – добавил Будов и, покосившись, на полустертую черную фигуру, начал крупными глотками вливать в себя перцовую настойку.

Наташка звонила ему пару раз. И четыре смски прислала. Петька ответил только на первую. На похороны она пришла, но видел он ее лишь издали – в толпе библиотекарей и учителей. Мать у него полжизни работала в школе и еще лет десять – в библиотеке. Ему казалось, что все те, кто стоял вокруг могилы, разинувшей свою промерзшую черную пасть, смотрят на него с осуждением, и он чувствовал, что может сорваться. Прямо на кладбище. Кинуть в чью-нибудь учительскую рожу могильной землей, чтобы задохнулись все от удивления. И аминь-аминь-аминь, мое слово крепко да лепко. Библиотекари, блин. Тишина должна быть в библиотеке...

Он приложился к пластику и одним глотком вогнал розовую, дезодорированную муть в горло. Затем вытянул из кармана еще один двадцатирублевый пузырек. Серые хлопья продолжали парашютить вниз и желтеть, попадая в круг фонарного света.

\*\*\*

– Посылочку, значит, отметил? Ага. Держи еще одну посылочку! – сержант быстро и точно всадил ему кулачищем в под дых. Петька согнулся пополам. Кофейный цвет плиточного пола казармы поплыл у него перед глазами.

– Ты, мать твою, дух, тебе до дембеля, как мне на карачках до Китая. А он посылочку от мамочки решил отметить с офицерами! Ты у меня «летать» будешь, понял? Знаешь, что такое «летать», тварюшка?

Сержант Сохеев вызывал у срочников только две эмоции: ненависть и веселье. Веселились, когда он произносил свои коронные фразы, к примеру: «Эй вы, трое! Ну-ка оба ко мне!». Или: «Молчать, когда я вас спрашиваю!». Но смеялись только тогда, когда он уходил. Потому что заметь он улыбку на лице рядового – тому только и останется, что молиться святой Демобилизации.

Будов лишь потом узнал, как сержант пронюхал об их небольшом празднике с Лехой-Михой, двумя офицерами-близнецами из соседнего корпуса. Глупость человеческая не знает границ, а социальные сети, где близнецы выставили фотку их пирушки, сделанную на мобильник, есть зло. И «Вконтакте» – зло, и ЖЖ – зло, а про фейсбук и твиттер Петька тогда еще не слышал.

– В противогазе будешь все время, пока здесь работаешь. И бронежилет – чтоб надел и не снимал. Это первое. Второе позже скажу. Пшел выполнять, – вообще Сохеев был большой выдумщик на наказания. Поговаривали, что несколько дембельских поколений тому назад кто-то из срочников повесился в туалете из-за сохеевских выдумок. Но это были только слухи, а противогаз, который запрещено снимать целых семь часов подряд, – вот это реальность. Врагу не пожелаешь такого...

Как там Стариков сказал: «Жизнь – боль?».

– Сука он, этот Леша, – решил по-тяжелому опьяневший Будов. – И Наташка такая же. И мать... Нет, мать свою ты, Будов, не трогай. Для солдата – это святое. О мертвых ведь как – только хорошее можно...

Петька повернул чугунную голову в сторону творчества графферов, и человеческая фигура, чернеющая на остановочной стене, показалась ему до боли знакомой.

– Да это же Сохеев! Он, он. Ух ты, гнида! – заревел Петька и, сжав опустевший стеклянный флакон, с размаху швырнул в ненавистного сержанта. Из-за резкого движения рукой его пьяное тело не смогло удержаться на бруске лавки и скользнуло вниз. Затылок Будова неудачно встретился с железным основанием лавочки. Петька вздрогнул и, обмякнув, распластался на заиндевевшем бетоне.

## Глава 2. Баба Поля

– Аннушка Златоуст, спаси и сохрани! Спаси и сохрани, святая заступница... – баба Поля привычно перекрестила дверь и оба окна спальни, выходящие «в улицу». После тщательно наложила еще три креста на угол, откуда прошлой зимой чудилось.

– Детишки какие-то зовут и зовут, Катерин... – рассказывала она своей подруге, живущей за две улицы на Новой линии.

– Эт какие-такие детишки, Полин? Что за чудеса? – тетя Катя лет десять проработала техничкой в местной школе и почиталась в Астрадамовке за грамотную. К бабе Поле, которая была намного старше ее, она относилась покровительственно, часто советовала и направляла.

– Подлинно чудеса, – быстро закивала седой головой ее сучонькая собеседница. – Вот, Кать, веришь, нет ли: лежу ночью, а уж часа два пропикало, ага, и вот с угла-те, где иконы, слышу – детские голосочки. Один кричит вроде: «Поля-а-а! Поля-аа». Я лежу – ни жива ни мертва. А он опять. И знаешь: голос-то вроде как Петьки, это сына мово старшого...

– Совсем сбрендила, старуха! – ворчливо, но по-доброму заключила благоразумная соседка. – С одинокой-то жизни и не такое представится. Ведь какой год не заявляются, сыновья-то твои? Оболтусы оба.

– Седьмой годик пошел уж, Катерин... – баба Поля наморщила маленький нос, будто от возобновившейся зубной боли.

– И не пишут-не звонят?

– Они, може, и желали бы, да уж адрес-то не помнят, наверно. А телефон-то у меня лишь третий год как поставили.

– Же-ла-али, – передразнила тетя Катя и, махнув рукой куда-то в сторону, повела приятельницу в свою избу пить чай. – Держи карман шире, как же. Если бы захотели – давно бы приехали. Оболтусы...

Помолившись своей любимой святой, баба Поля вытянула худые холодные ноги на кровати и задремала. Она спала неглубоко, так как привыкла за последние годы прислушиваться: а вдруг зазвонят или постучит кто? А может, Петечка с Самары приедет, а она и не услышит! Петя работает в Курумоче в аэропорту, должность большая, – она всё забывала, как называется. Ему некогда – вот он и не едет. Зря Катька оговаривает его и оболтусом зовет...

Впрочем, за Петра она беспокоилась меньше, чем за младшего. Петечка всегда был большой, надежный – такой где хошь устроится и дорогу себе пробьет. А вот Федя – тот кто? Гармонист, одним словом. Она видела младшего сына в последний раз лет шесть назад – перед его отъездом в Новосибирск. До сих пор ей помнилась его синяя рубашка и серый, отцовский «спинжачок», в котором она его провожала.

– Как доберусь, мамк, напишу! Всё, мол, в порядке, доехал, устроился. Всё путем будет, не переживай, – уговаривал он плачущую мать, торопливо прощаясь.

Он и написал. Один раз. Письмо было короткое, на полстранички – ровно, как он и обещал: приехал, дескать, ищу работу, не переживай. Баба Поля это письмо хранила в полиэтиленовом пакете вместе с лекарствами. Таблетки она пила часто, часто и читала-плакала над письмом.

\*\*\*

Большой дымчатый кот приходил к ней сначала редко, а потом повадился наваливаться на ноги и грудь еженощно.

– Вот дыхнуть не могу, ей-богу! Мочи нет. И ведь дымчатый, мохнатый – сроду никогда такого не бывало, Кать. Неужто домо-вой? – в очередной раз докладывалась она соседке.

– А ты возьми да и спроси его, черта лохматого: «К худу или к добру?» – может, ответит! – подзуживала ее тетя Катя, которая сама верила во всё это мало.

– Думаешь, спросить? – сомневалась баба Поля. – А вот и спрошу – може, не придет больше, а то ведь я и без того плохо сплю. А тут – придет, навалится, сам лохматый, большой и глазами так и зыркает! Какой уж тут сон-то...

Но спала она плохо не только из-за странного кота. Всё ей думалось и вспоминалось, всё что-то вставало перед глазами; выцветший, сероватый в свете неполной луны ковер, висевший на стене, расплывался и растекался странными пятнами. Она припоминала свекровь, бывшую хозяйку этой избы, своего мужа Колю и всю жизнь и до него, и после него...

Отец уехал, когда ей было восемь. Она пыталась вспомнить его лицо всю дорогу – смотрела в мутное стекло вагона на проносящиеся мимо редкие фонари станций и пыталась угадать, сильно ли он



изменился. У нее в сумке между маминой черной юбкой и пакетом с куском хозяйственного мыла лежала его фотокарточка. Но там он молодой – там он такой, каким она его запомнила, когда он уезжал. Сейчас ей было почти шестнадцать, она ехала одна по длинной дороге, протянувшейся из Казахстана. Название «Астрадамовка» ей казалось таким же чудным, каким, наверное, представлялись для русского уха Балхаш или Чимкент.

С Ульяновска до села она добиралась на попутках. На повороте у Усть-Урения ее подобрал неразговорчивый водитель грузовика. Он молчал всю дорогу и, высадив ее на остановке, лишь слегка качнул подбородком в ответ на девичье «спасибо».

Странница нашла отцовскую избу, где он жил вместе с новой женой и еще четырьмя детьми, уже в «сутисках» (сумерках). Ей помогла местная фельдшерица тетя Фаина – полная, разговорчивая женщина, в пять минут выведавшая у приезжей и кто она такая, и кому приходится родней, и даже – в какую цену хлеб в Казахстане и «правду ли говорят, что у вас там наркоманов полно?».

Полина отвечала односложно, а сама боялась: «Как он ее встретит? Примет ли? Что скажет, узнав, что мама умерла?»...

По улице проехал автомобиль, светом фар ненадолго остановивший расходящиеся круги на сером ковре. Баба Поля вздрогнула, вздохнула и, перекрестив зевнувший рот, снова начала забываться сном...

Ей открыла дверь женщина с овальным, вытянутым лицом и светло-синими, почти бесцветными глазами. Узнав, кто она и зачем, без лишних слов пустила Полину в коридор и, понизив голос, сказала: «Иди, там он – спит. Устал. Сегодня и в колхозе был, и в МТС мотался. Работает».

Поля в полутемноте прошла через большую комнату в боковую дверь и там увидела на тяжелой, с металлическими прутьями кровати спящего человека. Он лежал на спине, закинув правую руку, согнутую в локте, на лоб. Грудь его медленно поднималась, а концы черных усов смотрели в разные стороны.

И тут что-то оборвалось у нее в груди, она вспомнила его сильные руки и как они однажды ездили с ним в Алма-Ату, и как вместе с мамой ели мороженое. «Папка! Папка!» – он вздрогнул, приподнялся, пытаясь, понять, что происходит и кто его обнимает. Затем сразу всё понял, сгреб ее в охапку и хрипло со сна начал смеяться...



\*\*\*

Ноги совсем замерзли – шерстяное, изъеденное молью одеяло не спасало от холода. Надо вставать и зажигать печку. Слава Богу, дров у нее этой зимой было вдосталь – муж Нины Степанной из Аркаева навозил. Степанна слегла по осени, муж кормил ее с ложечки, думал – умрет не сегодня-завтра. Как-то поздним вечером он притащился в Астрадамовку – и напрямиком на порог к бабе Поле.

– Христом-Богом тебя прошу, Полина Павловна, пропадаю – уж ты помолись, уж я тебя не забуду! – говорил он.

– Аннушке помолюсь, помолюсь, Анна Златоуст в беде-те никого не оставит, – кивала баба Поля. И при нем же молилась в своем уголку с бумажными иконами. Через три дня звонок – пошла, мол, на поправку Нина Степанна. А потом он и дров ей на тракторе привез: вот пользуйся, дескать, Полина Павловна, – честно заработала.

К ней многие обращались по разным поводам: Анна Златоуст никого помощью не обделяла...

Печка разгоралась плохо, отсыревшие дрова дымили и заполняли избу сизым туманом – видимо, труба забилась. Старуха пособляла огню кочергой и снова вспоминала-вспоминала...

– Ей работать надо, у нас четверо своих по лавкам, ведь не потянем. Сдохнем с голоду, Паш. Времена-то какие щас: говорят, война скоро, – услышала Полина голос мачехи на третий день, как приехала. Девушка тихонько поставила ведро с водой в сенцах – так, чтобы не загреметь.

– Дура баба! Какая война! Ты смотри не скажи кому – посадят обоих. А Полинка – девка хорошая. Я ее на эМТэсС возьму, – пробасил в ответ голос отца.

– МэТээС-МэТээС, – передразнила его голос жена. – Заладил одно и то же. Ну и кем она там будет? Тракторы твои, что ли, водить-ремонттировать? Пускай лучше в доярки...

– Не тваво ума дело, – отрезал отец. – Моя дочь, не твоя. Как сказал – так и сделаю.

Полина внутренне возликовала. Она с отцом хоть навоз ногами месить пойдет. А ведь через полтора года слова мачехи про войну сбылись. Полинка тогда уже водила и ремонтировала колхозные тракторы не хуже мужиков.

## Глава 3. 417-я

В аудитории пахло пылью, старыми прялками, выцветшими чернилами и еще чем-то таким, что у Старикова всегда ассоциировалось с Шаховым, его учителем. И с фольклором, конечно. Когда Лешка впервые попал в 417-ю, он сразу же заметил черно-белую фотографию мужика-горшечника. Его поразили руки сфотографированного – какие-то изрезанные и искромсанные, словно поверхность Марса.

– Это мастер из Сухого Карсуна. Мы туда в 1970-х годах ездили – великолепная была экспедиция, – говорил Шахов, подпирая бороду кулаком правой руки.

417-я была сакральным местом – пространством чаепитий, народных песен и игр, репетиций масленичных представлений и – рассказов, рассказов, рассказов. Сам Лешка именно через 417-ю попал в фольклористику. Точнее, даже не через 417-ю, а через заднюю часть лошади. Была такая масленичная сценка: барину пытались продать клячу, играть которую обычно соглашались студенты-первокурсники.

– Я как раз был тогда задницей, а ты – передницей лошади. Помнишь? – пытался развеселить друга Стариков.

– Врешь – не возьмешь, – бурчал из-под бинтов голос Будова. – Никогда я не играл клячу. Я всегда балаганным дедом да барином подвизался. Ты помнишь, какая у меня бородень-то была? Чуть ли до пуза! И это на втором курсе!

– Тут Мишка Сланцев отыскался, представляешь! – перебил его Стариков. – Из Москвы нагрянул, и сразу – в 417-ю, конечно. А там сейчас ремонт – шаром покати. Знаешь, о чем спросил? Дождался, пока я лекцию закончу, и выскочил, как черт из табакерки. «Когда, мол, в этом году экспедиция? У меня сногшибательная тема – сам Шахов закачается!»

– Шахов-то как? Всё с бородой? – спросил Петька и поднял руку, чтобы почесать обмороженную и прооперированную щеку, но наткнулся, понятно, на бинты.

– С бородой. Только уже поседевший. Но все так же бегают – со скоростью пять Шаховых в час. Помнишь? – Лешка расхохотался.

– Угу... Ты Наташку когда видел-слышал в последний раз?

– Ну, на похоронах, наверно, – Лешка посерьезнел. – А что? Мириться хочешь?

– Лешка!.. Не касайся этого, прошу. А то опять поссоримся!

– Да ладно-ладно. Слушай, у меня к тебе есть предложение на миллион. Отказаться просто не имеешь права, так как я с Шаховым уже договорился. Старик не против. Поехали с нами в экспедицию, а? Осталось всего ничего – два месяца с хвостиком.

Будов встал со скамейки, установленной в больничном коридоре, и махнул на него рукой.

– Бредишь ты, Леш. Я студентом-то был – никогда не ездил. Мне хватало 417-й: чаёк, девчонки красивые да песни под гитару. Ну, правда, на Масленицу в село съездил пару раз. Какая, к черту, экспедиция?

– Брось, говорю! Тебе надо отвлечься, ты даже не представляешь, что это такое. Мы тебе тему даже придумали. Ну?!

– Не-а. Пойду я, Леш. Чё-то у меня голова кружится. Видать, здорово я к лавке приложился тогда, – Будов направился в палату.

– Стой, Будов, – Стариков разозлился. – Хрен с тобой, не хочешь – не езд. Сиди в городе, как сыч. Но знай: если опять начнешь «перчик» пить, я из тебя душу вытрясу!

– Тоже мне мамочка нашлась! Блюстителю порядка. Вали отсель. Созвонимся, если жив буду, – Петька зашагал по коридору, шаркая тапочками. Кстати, тапочки эти Лешка ему и привез – при втором посещении больницы.

Стариков раздраженно сплюнул себе на бахилы и повернул в противоположную сторону – к выходу.

\*\*\*

– Ты снимай, когда кто-нибудь говорить будет или петь-плясать, а не всякую ерунду! И Шахчика побольше: смотри, какой он сегодня задумчивый – как позавчерашнее молоко, – Ташка Белокурова глядит прямо в видеокамеру Старикова. Крупные черты ее лица, увеличенные небольшим расстоянием до объектива, смешат Лешку, но он важно кивает, стараясь, чтобы камера не дернулась в его руках.

Ташка – вечный завхоз, по крайней мере, она всегда берет на себя покупку консервов (одну банку тушенки и банку кильки в масле на каждого – согласно сакральным указаниям Шахова). Она же верховодит на кухне во время экспедиции, давая указания, что, когда и как приготовить.

Стариковская камера плавно перемещается, показывая лица сидевших в 417-й. Гул веселых девичьих голосов заполняет собой всё: шкафы, зыбки, ступы, фотографии и каждую архивную папку с расшифровками фольклорных текстов. Басовитый рокот парней, сосредоточенный лишь в одном углу, теряется и пропадает на этом звуковом фоне. В объективе на пару секунд появляется седая борода Шахова, затем видеокамера застывает на напряженных фигурах первокурсников – очкариках Пашке Трошине и Ольге Водлаковой. Они в 417-й в первый раз и пока мало понимают смысл веселой суеты «старичков» и печальных глаз Шахова; запах старых прялок им ни о чем пока не говорит.

– Лешенька, вы нам что-нибудь сегодня сбациаете на прощание? – озорные и опасные глазки-бусинки Юльки Дожжиной сверкают на маленьком экране камеры. Стариков снова кивает, на этот раз уже без важности. Юлька – песенница и заводила, которая всегда напоминала ему цыганку из фильма «Жестокий романс». Момент, когда Паратов приезжает куда-то и – «Мохнатый шмель на душистый хмель, цапля серая...». Там в паре кадров мелькает Дожжина – Лешка готов был поклясться, что это именно она.

Стариков делает поворот всем телом и выхватывает Сланцева, настраивающего домру: у Мишки – премьера очередной прикольной пьесы про прошлогоднюю экспедицию. «Этого мы еще сегодня наснимаемся...» – уговаривает Лешка себя и свою неизменную записывающую технику. У него, как выражался еще до армии Будов, на «фиксации повседневности случился бзик»: Стариков записывал на видео и на диктофон разговоры с матерью, посиделки с друзьями, общение с продавцами на рынке и даже – агитацию старшей по дому за очередную управляющую компанию.

– Всё сгодится для науки, – оправдывался Лешка в ответ на ехидные Будовские замечания по этому поводу. – Не для меня, так для других.

Петька крутил у виска и переводил разговор на другую тему – в основном, о женщинах и выпивке.

В объективе – крупная, медвежья фигура бородатого руководителя фольклорного ансамбля «Городец». Толька Тонков сто лет назад закончил Саратовскую госконсерваторию и сам не знал толком, зачем он каждый год присоединяется к экспедиции.

«Надо, Лешка, понимаешь? Песни надо слушать, так сказать, в родной среде исполнения», – вещал он Старикову, хотя тот и не думал его ни о чем спрашивать. «Так ведь и не поют уже ничего почти – из старинного-то! Жестоких романсов – и то не услышишь», – отвечал Лешка только для того, чтобы что-нибудь ответить. «Не услышишь, – соглашался Тонков. – Но ездить-то надо, понимаешь?».

Их разговор обычно на этом и исчерпывал сам себя: а что тут еще добавишь?

Ташка Белорукова торжественно вносит дымящийся чайник, чьи-то ловкие руки шелестят обертками от конфет, тортов, пряников и печений. «Надо обязательно заснять «старичков»: для них поездка в этом году наверняка будет последней. Дальше – диплом, работа, семья», – думает Лешка, стараясь поймать на экране маленькую Таньку Родину, облаченную в серый волнистый свитер, словно в доспехи. Из достопримечательностей Таньки можно было назвать отчаянную картавость и необыкновенную, как однажды сказал поэт Сланцев, «живость характера».

– Ну что, – произнес голос Шахова, и Лешкина камера совершает головокружительный бросок в сторону бороды ИП (Ивана Петровича, но чаще – «Шахчика»; не путать с «индивидуальным предпринимателем»). – Мы собрались здесь, господа и дамы, чтобы узнать о пренепреятнейшем известии: нас покидают пятикурсники. Скатаются в последнюю экспедицию, и – поминай как звали. Такова судьба всех пятикурсников, за исключением жалких единиц – в основном, мужского пола.



Зеленоватые глаза ИП делают короткий выстрел в сторону Лешки и Мишки, как бы указывая, кто имеется в виду.

– Особо грустить, конечно, не будем – лучше вспомним прошлые экспедиции, благо к нам приехал великий симбирский, а сейчас уже и московский поэт-драматург Миша Сланцев. Вот он, кстати, если кто не знаком еще – сидит с домрой и скромно улыбается.

Щеки Мишки на миг рдеют, как роза. Но только на миг – Стариков даже не успевает поймать этот момент на камеру.

– А если серьезно, то мне действительно грустно. Давно у нас не было такой дружной, сбитой и веселой команды. Я имею в виду не только наши экспедиции или поездки на Масленицу, но и посещение детских домов.

Стариков забывает о видеокамере, экран плывет куда-то в сторону, и затем он с сожалением обнаруживает, что целую минуту снимал половинку говорящей головы ИП. Лешка вспоминает одну из поездок в детский дом в Барышском районе, и уголки губ его морщит улыбка.

\*\*\*

– Меня зовут Дана, мне четырнадцать, – говорит девочка, смотря на видеокамеру, закрепленную на трехногий штатив.

– Кем ты хочешь стать в будущем?

– Психологом. Мне очень хочется помогать людям – тем, кто в этом нуждается.

– А почему ты хочешь помогать? Наверное, потому, что тебе тоже помогали? – слышит Стариков свой голос, который звучит совсем по-чужому в комнатах с высоченными потолками.

Бывшая графская усадьба, в которой располагается детдом, все эти признаки давно ушедшей эпохи – гипсовая лепнина, камин, арочные проходы – обостряют чувства, заставляют оглядываться по сторонам в ожидании чуда: того и гляди в дверь, шурша подолами старинного платья, войдет сама графиня.

– Нет, – мотает головой девочка, и ее глаза наполняются слезами. – Мне мало кто помогал в жизни. Просто когда я вижу больного, обиженного или брошенного, мне их так жалко становится...

Дана держит в руках потертого и заштопанного-перештопанного Вадима – медведя, мягкую игрушку. Вадим – имя отца Даны. Ее мать лишили родительских прав, а отец год назад написал дочке

Вконтакте: «Зови меня не папа, а Вадим Сергеевич». С тех пор они ни разу не списывались.

В Барышский детдом дружная экспедиционная компания приезжала, чтобы провести с ребяташками весь световой день: разучивали с ними народные игры, пели и записывали их рассказы на видео. Заснятое передавалось волонтерам, которые творили из этого двух-трехминутные видеоанкеты. Небольшие клипы помогали устраивать детей в приемные семьи – в том числе детей сложных, больных и уже выросших в подростков с хмурыми лицами.

– Нам тут прикольно. В приемной семье я уже была, мне там не понравилось, я лучше в детдоме останусь, – говорит Лера, следующая героиня видеоанкеты, снятой Стариковым. – Кстати, я как только сюда приехала, мне сказали, что по ночам тут графиня по коридору ходит. Но нет, всё это враки...

– Ни фиги не враки, – возражает пятиклассник Артем – взъерошенный и худой, будто воробей. – Я сам лично слышал – точно ходит.

Солидный, как маленький мужичок, Артем перекачивается по комнате, показывает, где его кровать и где висит расписание дежурных. Каждая комната в Барышском детдоме называется «семья», туда стараются поместить братьев или сестер, а воспитателей, прикрепленных к конкретной комнате, меняют очень редко – чтобы дети привыкли к семейному постоянству.

Стариков вглядывается в заляпаный экранчик камеры, и постепенно до него снова начинает доходить смысл сказанного Шаховым.

\*\*\*

– Ты чего – заснул, что ли? – шепчет ему из-за плеча Танька. – Шахчика чего не снимаешь?

Лешка поспешно поправляет видеокамеру.

– В этом году едем в Астрадамовку, Сурский район. Отличное село, мы там записывали в 1982 году, – говорит ИП.

– У Шахчика все села – отличные! – радостно хихикает Родина. И ее смех развеивает печаль Старикова.

– Ну, теперь настала очередь сногшибательной пиесы нашего дорогого московского друга...

– Ну что вы, Иван Петрович, заладили: «московского-московского», я туда, может, не надолго, возьму да и вернусь скоро. У меня

и квартира тут осталась, и жена... – щеки Мишки снова розовеют. В голосе его нет обиды, он вообще редко на кого обижается.

– Давай, давай, не томи, презентуй свою пьесу, – улыбается Шахчик и задумчиво подпирает кулаком бороду.

Стариков еще на пару секунд задерживает объектив на ИП и почему-то ему чудятся поющие бабушки, которыми кто-то пытается дирижировать, и что-то другое, грустное, – оставленное у Шахова дома, в семье.

– Итак, пьеса! – объявляет Сланцев (некоторые фрагменты он сопровождает легким подтренькиванием на домре). – Действующих лиц называть не буду, так как они, скаламбурим, налицо – почти все, так сказать, перед нами.

Он зачитывает предисловие и характеристику персонажей. И в 417-й раздается смех – улыбаются все, за исключением студентов-первокурсников. Само содержание пьесы – феерическое, сюрреалистическое, полное намеков и полунамеков на реальные ситуации – смешно только для своих. Со Сланцевым по числу экспедиционных поездок мог конкурировать лишь ИП. Поэтому Мишкины характеристики бьют не в глаз, а прямо в зрачок.

*«Шахов: Давайте подумаем, ничего не забыли?»*

*Стариков: Да вроде всё, Иван Петрович.*

*Шахов: Кипятильники взяли?*

*Белорукова: Взяли, Иван Петрович.*

*Шахов: Плитки взяли?*

*Тонков: Взяли, Иван Петрович.*

*Шахов: Чайники взяли?*

*Все (хором): Да взяли, елки-моталки, Иван Петрович!*

*Шахов: Смотрите, не возьмете чайники, я там вас заставлю покупать резиновые сапоги. Был у нас в прошлой экспедиции случай...».*

В 417-й снова раздается смех, гремят чайными ложками, шуршат обертками от конфет. Затем начинается игра в «Мафию». И над всем этим витает терпкий запах старых вещей, никому не нужных артефактов, запах записанных и еще не зафиксированных фольклорных текстов – фрагментов живой жизни и судеб тех, с кем предстояло встретиться в очередной экспедиции.



## Глава 4. Тетя Марина Рядова

Мерный стук колес поездов и далекие переговоры вокзальных рабочих раньше никогда не мешали ей спать. В Чапаевск она переехала из Бугульмы лет шесть назад. Может быть, и не красавица, но точно – атеистка, «спортсменка и комсомолка», как говорил товарищ Саахов из известного фильма про фольклориста Шурика.

На новом месте она буквально за два дня устроилась работать библиотекарем, а Вальку отправила в первый класс. Он у нее был второй. Первый сын умер совсем маленьким, и говорить об этом Марина не любила.

– Сегодня, Витьк, представляешь: собираю Вальку в школу, начала головку ему причесывать, а там... – вспоминает она вечерний разговор с мужем и чувствует, как снова холодеют под одеялом руки, тяжелеют и наливаются свинцом ноги. – Нащупала у него в волосах что-то жесткое, как горох. Господи!..

– Да что, что там у него такое? – смуглое лицо мужа испуганно морщится. Он на четверть, а может, и наполовину – цыган. Мать – то ли еврейка, то ли армянка. В общем, жгучая смесь, а результат – не очень. Она про себя его считала трусом и неженкой. Но любила его искренне.

– Вошь, Витька! Вот такую вошь в голове. Можешь представить? Я сначала одну нашла, затем еще двух. Жуть просто!

– Может, в школе где подцепил? Или на улице?

– Нет, – она качает головой. – Сам знаешь, у него волос русый, тонкий. Я его каждый день расчесываю и купаю. Не мог он за один день такого нацеплять.

– Да ладно, брось! Мальчишка есть мальчишка. Надо чемеричной водой обработать – делов-то.

– Да я уже обработала. Валька весь вечер с пакетом на башке ходил. Но тут что-то другое. Боязно мне...

Марина села на постели и, спустив ноги, нащупала в темноте тапочки. Затем, стараясь не разбудить мужа и не заскрипеть половицами, пошла на кухню. Она долго сидела на холодной табуретке, закрыв лицо руками, и чувствовала, как по пальцам текут соленые струйки. Страх за сына медленно, но верно проникал в ее сердце.

«Мамочка, мама!» – она почти услышала этот детский, младенческий голосок и вздрогнула всем телом. Они жили еще в Бугульме, когда умер ее двухлетний Сережа. Ничего страшнее этого с ней еще

не случалось. Две недели она не могла и не хотела выходить из комнаты сына, ничего не ела и почти не пила. Уговоры мужа, свекрови, матери – не помогали.

На девятый день после похорон у нее случилось первое видение. «Голубочек. Голубь в углу его комнаты парил... Я это видела собственными глазами. И вот он головочку свою повернул и та-ак посмотрел на меня! А глаза у него – Сережины!» – шепчет она, и слезы стекают с ладоней и пальцев, холодя запястья, забираясь в рукава ночнушки.

Затем было еще несколько видений и снов. Вернула ее к жизни женщина в сияющем белом платье, которая подошла к ней однажды ночью, прикоснулась теплой, как у мамы, рукой к ее щеке и сказала: «Перестань плакать. Ему плохо из-за этого: в воде стоит уже по самую шею. У тебя будет еще сын. Но смотри: береги его!».

И через год у них родился Валька. А атеистка, спортсменка и комсомолка начала потихоньку ходить в церковь и прислушиваться к разговорам полубезумных старух, к которым она раньше ничего, кроме презрения, не испытывала.

Ее «бзик», как выразился бы Будов, был связан с велосипедами. Сын начал просить у нее велосипед с пятилетнего возраста. Она всякий раз находила причину для отказа или откладывала этот вопрос на потом. Уже в Чапаевске, когда он учился в третьем классе и начал съезжать по всем предметам, она клятвенно пообещала ему велосипед, если он закончит год без троек. Валя поднапрягся и – заработал своего железного коня.

– Господи, ведь я так сама себя доведу до прежнего. Ну вши, ну мало у кого их не бывает? Что же тревожится-то? – сказала сама себе Марина и пошла в ванну умываться. Она старалась убить эти воспоминания, зарубить их на корню, но где-то там, в глубине памяти, стройные ряды мозговых клеток зашевелились, связи обновились, и событие всплыло. Еще в Бугульме их соседка, тетя Дуся, – богомолка и читалка, к которой полгорода ходили заговаривать зубы, сказала ей однажды – когда Рядова спросила ее, почему так случается, что у одних дети живут, а у других Бог их забирает:

– Не знай, Марин. Пути Господни неисповедимы. Но могу тебе назвать верный признак неожиданной смерти. Вот запоминай: коли человек вдруг погрузнеет – ни с того ни сего, молчит всё да вот вши на него нападут, то тут примечай: смерть уже за порогом, никого не спросит – и заберет.

Лицо Марины скривилось, она посмотрела в зеркало, повешенное на стене в ванной, и со злобой сказала своему отражению: «Дура эта тетка Дуся! Дура старая – только людей пугать. Так и свихнуться недолго. Нет ничего и не было. И иконы все в коробку под кровать спрячу!».

Она выключила свет и легла на остывшую кровать рядом с мужем. Иконы она под кровать не спрятала, но вечером следующего дня коробку оттуда все-таки достала: приближался Новый год и нужно было перебрать старые елочные игрушки.

\*\*\*

– Мам, ну давай пораньше в этом году нарядим, а? Ну, пожалуйста! – Валька прыгал вокруг коробки с игрушками, словно молодой козлик. Его вьющиеся русые волосы поднимались и опалили вниз при каждом прыжке. Он был совсем не похож на смуглого отца, но зато очень напоминал деда Марины – молчаливого кузнеца с Урала, о котором его внучка знала лишь по рассказам своей бабушки. Та успела увидеть правнука только один раз и сразу сказала: «Весь в Петеньку. Гляди-ка и глаза, и волосы его!».

– Сынок, я все три дня с работы очень поздно буду приходить. Через полгорода придется твою елку тащить. Нарядим 31-го, а?

– Нет-нет, мамочка. Я не дождусь, я не доживу! – радостно закричал Валька, и лицо Марины исказилось. Сын знал, что ничего хорошего это не предвещает.

– Не смей так говорить, слышишь! – задыхаясь, прошипела мать и, вскочив со стула, вышла из комнаты. «Не доживу» – обычная фраза-пластинка Виктора. Муж то и дело ее произносил: «Да я не доживу до зарплаты!». Или: «Да не доживу я, когда ты уберешься в зале!». Так что не было ничего удивительного в том, что Валя подхватил это выражение. Но Марина не могла успокоить дрожь рук несколько минут. Сын осторожно выставил свою русую голову из комнаты, она засмеялась, протянула к нему руки и, прижав к себе, пообещала, что елка этим же вечером появится в их квартире.

Она принесла новогоднее деревце полдвенадцатого ночи 24-го декабря, и сын, снова прыгая от нетерпения, закричал:

– Мамочка, ну полчаса, давай нарядим, давай нарядим!

И они до двух ночи – как два дурака (одному завтра в школу, другой – на работу) – возились с мишурой, обновляли порвавшиеся

на игрушках черные нитки, а потом прицепляли к колючим, пахнувшим смолой веткам блестящие шары и шишечки. Белые пластмассовые Снегурка и Дед Мороз с розовой, потертой бородой стояли около зеленого металлического треножника и слегка покачивались, когда наливали воду для деревца. Благоразумный Виктор храпел на диване и не обращал внимания ни на Валькин смех, ни на их тихие новогодние песенки.

Утром Марина ушла на работу, а привезли ее назад уже глубоко ночью – зарёванную, в полубессознательном состоянии, с безумными глазами, изуродованными потекшей тушью.

В тот день Валька вернулся из школы вместе с другом рано – в полдвенадцатого. Федька увидел в коридоре Валькину гордость – велосипед и авторитетно сообщил, что на велике можно кататься и зимой. Отец уже с месяц хотел снять с него колеса и руль, так как тот занимал много места. Но все было как-то некогда да недосуг.

– Давай попробуем, а? У школы вообще почти нет снега – чистый асфальт, – уговаривал друга Федька, учившийся в параллельном классе. И Валька, решив, что родители, быть может, об этом даже и не узнают, согласился.

Когда Марине сказали, что ее зовут к телефону в кабинет заведующей, она поняла сразу, что предсказание тетки Дуси сбылось. Едва переставляя ноги, она добрела до двери, сухими холодными руками взяла трубку и услышала незнакомый голос:

– Я участковый, Андреев Петр Петрович. Ваш сын... Вы должны приехать. Его сбили, он в реанимации...

И на этом их жизнь в Чапаевске закончилась.

## Глава 5. Рыжий

Когда народ схлынул, в Мишкиной (точнее – его родителей) квартире осталось трое: собственно хозяин, Стариков и какой-то рыжий тип, который Лешке сразу не понравился. Тип бессмысленно и надоедливо набренькивал на облупившейся гитаре что-то из забытого репертуара «Чижа» и то и дело раскачивался на кресле-качалке. Этот предмет мебели достался Мишке, по всей видимости, от основателей Сланцевского рода. Обычно Лешка сам занимал скри-

пучее и почетное гостевое кресло, и такое нарушение субординации раздражало и печалило затуманенный самогоном мозг Старикова.

Вообще-то все набрались порядочно, но особенно пьяным казался Мишка: он вскакивал со своего стула, убегал на кухню, возвращался оттуда, как назло, с пустыми руками и раз сто уже показывал одну и ту же страницу своего недавнего сборника. Лешка успевал прочесть только две строчки из стихотворения про домового, и поэт, застигнутый очередным валом вдохновения, снова вырывал книгу из его рук. А затем спешил к рыжему парню, развалившемуся на кресле-качалке, чтобы обсудить с ним качество звука новых, еще почти не тронутых «Металликой» колонок.

Стариков начал уже было клевать носом, когда ему кто-то самым бесцеремонным образом поправил съехавшие на нос очки. Он открыл глаза и увидел напротив себя взлохмаченную квадратную голову типчика. Тот, заметив пробуждение, улыбнулся во все 32 зуба и возвестил:

– Мы сейчас с Мишкой идем витрину в супермаркете бить! Тут недалеко совсем. Ты как – с нами? – рыжий облизнул губы и стал настойчиво ждать ответа. Лешка надменно осмотрел квадратную голову, еще раз поправил себе очки и, полагая, что слова нужно подбирать самые доходчивые, простые, произнес:

– Сие нерелевантно, – и снова надолго ушел в себя.

Стены Мишкиного зала поблекли, рисунки на обоях вспучились и поплыли-поплыли... Когда Стариков вновь открыл глаза, то обнаружил себя на привычном месте – в кресле-качалке. Поизучав некоторое время сложный рисунок трещин в побелке на потолке, Лешка попытался поднять отяжелевшую голову. Шея мучительно заныла (как и всегда после избытка самогонных впечатлений), обостренный болью слух выловил из серой духоты мурлыканье Сланцевской кошки. Со стороны застекленного балкона доносились еще какие-то булькающие звуки. Лешка встал и, качаясь, долго выбирал, куда пойти – в сторону туалета или балкона. Последний вариант победил: Старикову было душно и любопытно.

Он с трудом преодолел сопротивление распухшей за зиму оконной створки и высунул больную голову навстречу весенней ночи.

– Ты видел? Нет, ты видел!? – тотчас услышал Лешка возбужденный голос Сланцева. Стариков и не знал, что можно так громко

говорить шепотом: каждое слово отчетливо долетало до пятого этажа, где стоял полупьяный фольклорист. – Бабах! И нет стекла. А!? И где я только этот булжжик раздобыл? Нет, ты видел!?

Спустя считанные минуты, все действие повторилось на диване, напротив которого испуганно раскачивалось пустое старое кресло. Лешка не верил собственным глазам: Сланцев, всегда такой спокойный и благообразный, махал перед его лицом изрезанными, окровавленными руками и с неопишуемым восторгом описывал свой двенадцатый подвиг.

– Идем, смотрим: витрина светится! Ну тот супермаркет, что через дорогу, ты же видал его, Лешка, да? И вот раз – в руке сам собой булжжик оказывается! Веришь, нет? Ну ты же всей этой чертовщиной занимаешься, про оборотней-колдунов постоянно записываешь. Вот и тут то же самое – чудо живое-настоящее: булы-ыжжик! А витрина-то, зараза такая, так и светится!..

Светились и веселые глаза подвыпившего Сланцева, который, обмотав руки окровавленными полотенцами, всё никак не успокаивался. Порезы на его руках, как выяснилось позже, – следствие неудачного падения на осколки от той же злосчастной витрины, «теплым, мягким светом приманившей к себе свободолюбивую душу поэта».

Почти протрезвевший Стариков сначала вглядывался в совершенно счастливую рожу Мишки, затем перевел взгляд на сияющее отраженной радостью квадратное лицо рыжего. А потом загоготал, как свадебный конь, – на всю комнату, да так, что в соседней квартире кто-то глухо выматерился и шумно перевернулся на другой бок.

– Юрка, – представился рыжий и протянул руку Лешке. Тот ее пожал, хотя чувствовал, что с этим парнем нужно держать ухо востро: кто знает, какая еще сногшибательная идея может родиться в его лохматой голове.

– Так вы что – целый вечер квасили вместе и еще не познакомились? – удивился Сланцев. – Да это такой чел, Лешка. Ми-ро-вой! И шофер, и телемастер, и фотограф – закачаешься, одним словом. Вот бы нам его в экспедицию, а?

Рука Старикова, которая вознамерилась опрокинуть очередную порцию самогона, замерла на полпути и медленно поставила рюмку обратно на стол.



\*\*\*

– И чё: правда, что ли, есть эти оборотни? Сам-то веришь во все это? – мировой чел, фотограф и телемастер с большим интересом разглядывал Старикова. Лешка не любил, когда его рассматривали и расспрашивали: обычно роль исследователя и субъекта он играл сам.

За окном мутными серыми зефирами проплывали утренние облака. Голова раскалывалась. На диване сидел молчаливый и хмурый Сланцев с перебинтованными руками. Пробудившись, они битых полчаса обыскивали квартиру в поисках обезболивающего и нашли-таки пару таблеток анальгина, завалявшихся в кармане старой сумки супруги Мишки. Найденное скормили хозяину квартиры, который без прежнего восторга вспоминал содеянное ночью и страдальчески морщился, косясь на бинты.

– У меня, господа и товарищи, скоро Катька с сыном вернутся. Она у тещи до девяти обещала проторчать, а время – полдесятого. Воленс-ноленс<sup>1</sup>, как говорили древние латиняне, но вымётываться вам надо, – сказал Сланцев и... улыбнулся. – А все-таки здóрово вчера, да? Вдребезги! Я и сам от себя такого не ожидал!

Стариков в ответ театрально закрыл лицо руками.

– Ну все-таки – ты говоришь, что уж лет пятнадцать про колдунов всяких расспрашиваешь, – продолжал гнуть свое Юрка, совсем не слушая Мишку. – Ну и что: есть они у нас в области или нет?

– А ты поехали с нами летом – там всё и узнаешь! – повторил свое щедрое предложение неугомонный поэт к крайнему неудовольствию Старикова.

– Эх, давай-ка еще по одной и разбредемся, – распорядился рыжий. – А то ведь твоя жена меня не любит, это факт.

– Не любит, – подтвердил Сланцев и побежал на кухню за стратегическим запасом. Оказалось, что Мишка и рыжий знают друг друга чуть ли не с детского сада: вместе на горшках сидели – причем не в имплицитно-метафорическом (как решил было Стариков), а в буквальном смысле.

– В одной группе воспитывались – детсад «Медвежонок» назывался! – свидетельствовал шофер и фотограф.

Лешка пить отказался: с одиннадцати у него по расписанию значились две лекции и одно практическое.

---

<sup>1</sup> Volens-nolens (лат.) – волей-неволей.



– Все-таки тяжела судьба вузовского преподавателя: по субботам – работать, – философически заметил Сланцев, закусывая тещинным огурцом.

– Да, а я ведь тоже напреподавался в свое время, – неожиданно вставил новый Лешкин знакомец. – По электротехнике и электродинамике черти политеховские у нас в фирме практику проходили. Да-а! А ты думал?!

Юрка говорил, почему-то обращаясь в сторону Старикова. Лешка же, удивляясь самому себе, все свои реплики адресовал исключительно Мишке. И эта увлекательная коммуникативная игра продолжалась бы Бог знает сколько времени, если бы в дверном замке кто-то не принялся настойчиво шерудить ключом.

– Жена... – упавшим голосом пояснил ситуацию Сланцев. – Пора-пора со двора.

– Давай подождем, пока она в свою комнату пройдет – чтобы на глаза не попадаться! – прошептал рыжий, и каким-то шестым чувством Лешка уловил, что идея мирового чела снова пахнет слишком оригинально.

Катька, с которой, кстати, Сланцев познакомился лет десять назад в экспедиции, долго и молча занималась чем-то таинственным в коридоре, несколько раз открывала и закрывала входную дверь. Потом послышался демонстративный хлопок двери межкомнатной, и всё затихло.

– Пора, – решил Мишка. – А ля хер ком а ля хер. Продвигаемся мелкими перебежками.

Стариков выходил из зала последним, так как долго возился со своей лекторской сумкой. Выйдя, он окаменел, как и два его собутельника. Входная дверь была распахнута настежь, а у лифта неаккуратными стопками лежали сапоги, шапки и куртки припозднившихся гостей.

– Жена – это муза. Должна вдохновлять, – не к месту высказался Мишка и помог друзьям разобраться, где чей сапог.

– Ну, если тебя это вдохновляет – хорошо, так и быть: готов прийти к тебе еще раз, – недовольно заметил Лешка, отряхивая свою шапку.

– Вот поэтому я и не женился. И никогда не женюсь! – категорично заявил рыжий, нажимая кнопку вызова лифта.

Стариков впервые с момента их знакомства посмотрел на Юрку с легким одобрением.

## Глава 6. Стариков

313-я, лишенная окон, гудела от студенческих голосов. В те редкие дни, когда легкая рука администраторов, колдующих над расписанием, проставляла напротив его лекций номер именно этой аудитории, Лешка предавался не очень приятным воспоминаниям. В 2009 году он читал здесь культурологию четверокурсникам с технологии и предпринимательства. Этим ребятам его предмет был столь же остро необходим, как его любимым бабушкам – сельская дискотека. Впрочем, посещаемость он тогда умудрился немного повысить, сообщив студентам, что будет производить злостные и нерегулярные проверки лекционных тетрадей. Тетрадки он иногда действительно собирал, искренне восхищаясь наивными написаниями «сдесь» и «зделать».

Так вот: в ноябре упомянутого года, в пятницу 13-го, прямо посреди лекции дверь 313-й аудитории образовала неожиданную щель, оттуда показалась женская голова с испуганными глазами, которая громким шепотом спросила: «Вы что с ума сошли!? Что вы здесь делаете?».

Стариков покосился на притихших студентов, с некоторым сочувствием посмотрел на испуганную голову и ответил банальное: «Лекцию читаем». Женщина тем же страшным шепотом сообщила, что весь педуниверситет давно эвакуировался, так как взорвался какой-то арсенал.

«И неужто вы не видите, что за окнами происходит?» – спросила голова, потом быстро обвела глазами 313-ю и, не обнаружив нигде окон, все равно осуждающе покачала из стороны в сторону. Минут через пять аудитория опустела, а Лешка вместе с тремя еще не убежавшими студентами вышел в коридор полюбоваться фейерверком рвущихся снарядов. Судя по зареву, на противоположном берегу Волги и впрямь случилось ЧП вселенских масштабов.

– Это склад у местных военных взорвался – «31-й Арсенал» называется. Опять Ульяновск на всю Россию прославится! – поведал четверокурсник, успевший проконсультиться со всезнающим местным новостным порталом...

Сегодня, впрочем, было чуть легче: лекцию поставили у третьекурсников-филологов. Тема также попалась самая благословенная для утомленного вчерашними посиделками сознания Стари-

кова – европейское средневековье. Лешка плавно перешел от житий к потусторонним видениям, а от них – и до сновидений про «тот свет» рукой подать. Можно расслабиться и вспомнить пару интересных случаев из экспедиций.

– Что любопытно: я уже лет пятнадцать записываю сны про умерших от самых разных людей – различного образовательного уровня, живущих в городе и селе. Сотни встреч и тысячи текстов. Так вот: когда они рассказывают о том, что видели иной мир, складывается четкое ощущение, будто описывается одно и то же место.

– Да тут самое простое объяснение: культурные универсалии! Что же удивительного? – фыркнул самоуверенный девичий голос с задних рядов. Лешка мгновенно опознал говорившую: это Любовь Чирикова – согласно аккуратной подписи на форзаце ее лекционной тетради. Чирикова молодого культуролога недолюбливала, и Лешка это отлично знал – по ответам на практических, по ее приглушенным комментариям во время лекции: «Мы уже это сто раз проходили!» – и по многим другим мелким эпизодам и признакам.

Стариков старался делать вид, что не замечает ее демонстративного отношения, а студентка продолжала это самое отношение усиленно демонстрировать. Будов, если бы Лешка вздумал ему рассказать о своем маленьком противостоянии, наверняка сказал бы: «Да это же любовь, Стариков! Пригласи ее куда-нибудь, цветы подари и так далее. Как говорится: “В зуб ногой, из сердца – вон!”». Ну или что-нибудь подобное – в типичном будовском духе.

– А мне умершие тоже снятся! – тихо сказала девушка в очках и веснушках. Лешка вспомнить ее имени сразу не смог, но уши наострил: когда рассказывают сон – тут не до региональной идентичности и фамильной принадлежности.

– Как снятся? Расскажите, – попросил Леша, сразу забыв о своих непростых взаимоотношениях со студенткой Любовью.

– Бабушка вот года два назад приснилась. Пришла вся в черном, хотя мы ее хоронили в светло-синем платье. Стоит в дверях и говорит мне: «Оль, а что же это вы похлебки-то мне никакой не сварите?». И всё – пропала. Я проснулась, маме рассказала, мы сварили, помянули.

– Да, такие сны я часто записываю: когда какое-то нарушение происходит, покойники напоминают о себе, просят, – сказал Лешка и почувствовал себя почти счастливым – как в экспедиции.

– Ну и где здесь про иной мир? – снова раздался пронзительный голос Чириковой с задних рядов. – Не пойму я что-то. Да и вообще не по теме лекции разговор.

Стариков тяжело вздохнул, прошелся от двери аудитории в сторону окна и наконец изрек:

– Да, вернемся, пожалуй, к житиям. Вы по древнерусской литературе какие агиографические тексты проходили?

\*\*\*

– Мне ведь еще один сон снился, Алексей Михайлович. Вернее, не мне, а маме. Я просто при всех не хотела говорить, – все те же очки и веснушки, но теперь поближе к Старикову. – Рассказать?

В аудитории уже никого не было. Слава Богу, ушла и Чирикова – в числе самых последних, недобро поглядывая на оставшуюся веснушчатую.

– Конечно, расскажите, Оля. А я можно диктофон включу? – Стариков, конечно, юлил: кнопку записи он включил давно – еще во время лекции. «Бзик, однозначно – бзик!» – сказал голос Будова в голове у Лешки, но молодой препод отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

Девушка неопределенно пожала плечами, что для любого фольклориста всегда означает одно: «Пишите, Шура, пишите!».

– У моей мамы... Ей операцию делали серьезную – ну по женской части. И анестезия пошла как-то неудачно. И вот ей привиделось, она мне сама много раз рассказывала: «Вижу планету какую-то необитаемую, вот всю в рытвинах и кратерах. Вот как Луну или Марс по телевизору иногда показывают, вот такая же. И меня, говорит, кто-то большой и очень неприятный – в накидках или плащах грязно-желтого, темного такого цвета, с ногами-копытцами и глаза у них красноватые, – вот они маму мою в гроб заколачивают. Я, говорит, кричу: «Нельзя меня хоронить! Я же живая!». А они смеются, вот хохочут страшно – у мамы до сих пор, когда она про это рассказывает, мурашки по телу бегают. Хохочут и кричат с издевкой: «Раз ты живая, тогда вспомни свое имя!». А она никак не может! Пытается-пытается вспомнить – и никак.

Ах, да! Забыла. А поодаль – где-то там, ей не видно, но она знает: падают гробы. Один за другим, с глухим стуком. И каждое падение сопровождается такой голос, гул: «Не заслужила доверия! Не заслужила доверия!». Страшно до одури! И тут, видимо, врач-ане-

стезиолог начал звать ее: «Турская! Турская!» – это фамилия моей мамы. И она вспомнила и сказала этим, в плащах: «Вот как меня зовут!». И очнулась.

Девушка замолчала, Лешка тоже не сразу заговорил: всегда так делал, чтобы рассказчики могли что-нибудь еще добавить, если захотят или вспомнят.

– Очень интересно. Спасибо, – спокойно и важно кивнул Стариков, хотя сам был рад новому тексту, как третьеклассник – велосипеду. – А я вам в ответ тоже расскажу одно сновидение, похожее по сюжету. Я записывал его лет шесть назад в Сурском районе. Точнее, это даже не сон, а обмирание. Так называется состояние, когда человек надолго засыпает, ну, знаете, наверное?

– Ага! – очки Ольги заинтересованно блеснули. – Летаргический сон.

– Ну да. В основном, в таких случаях говорят о летаргии. Так вот: мама информантки (ну то есть рассказчицы) обмерла недели на две. Очнулась и говорит: «Побывала я на том свете, дочка!». – «Расскажи, мамк!» – «Да мне не велели много рассказывать-то, а то умру. Но я уж смерти-то не больно боюсь...». И вот она описала, что видела.

Иду, говорит, по полю, а кругом – зелень такая мягкая, пушистая, как паутинка. Встречает меня какой-то мужчина, похожий на Витьку с соседнего села, и ведет к мраморной лестнице, а внизу – вода, ручеек. Перевел он меня через ручей, а сам куда-то делся. Иду дальше и вижу яблоневый сад, а в нем детишки играют, веселятся, поют. Я порадовалась за них, гляжу – с ними вроде как воспитательница. И узнала ее: это Шурка, молоденькая девчонка из нашего села, ее кузовом перерубило – когда грузовик школьный перевернулся. Лет тридцать назад погибла.

«Ты кого здесь ищешь? Тебе здесь нельзя находиться!» – говорит эта Шурка. А сновидица ей отвечает, что ищет, мол, сына своего...

– Как вы интересно рассказываете, – перебила Ольга молодого лектора. – Совсем как моя мама. Она тоже от «я», от «первого лица» чужие сны всегда пересказывает.

– Так все делают, – улыбнулся Лешка. – Уж поверьте мне, я этих текстов наслушался, наисследовался: то и дело скачут от первого лица к третьему. Так вот. Выяснилось, что обмиравшая-то эта давным-давно м-м... по молодости. Сделала аборт, в общем.

Настала Ольгина очередь важно кивать; она как бы подбадривала Лешку, дескать: «Ну что же вы замолчали, любезный Алексей Михайлович? Уж поверьте, мы на третьем курсе не только про аборт слышали!». Голос Будова, собравшегося добавить к этой воображаемой фразе студентки что-то свое – очень срочно-важное – Старикову пришлось подавить усилием воли.

– И вот его-то, неродившегося сына, она пыталась найти. «Это тебе не сюда – надо дальше идти, – говорит Шурка. – Но тебя могут не пустить». А я, говорит, все равно пошла дальше и вижу: за садом-то – черное болото, жижа грязная, вонючая. А там детских головок – кишмя кишат. Гляжу: мой сын, похож он на мужа вроде. А может, и не он. Снова – мой сын, и опять – вроде не он. А я вытащить хочу его из болота, а *они-то* не пускают... Тут и проснулась.

– А кто же это – «они», которые не пускают? – с легким оттенком разочарования спросила веснушчатая: видимо, она ожидала нечто большее от рассказа Старикова.

– Вот и я своей информантке ровно такой же вопрос задал. «Так, отвечает, – эти самые: мужики какие-то, в балахонах темно-желтых ли, коричневых ли. И с копытцами».

Ольга внимательно посмотрела в глаза Лешке и кивнула. На том и распрощались.

\*\*\*

Вообще-то, Стариков очень любил классифицировать, дифференцировать и типологизировать. К примеру, когда он подразделял окружающих людей на различные виды и подвиды, то всегда относил себя к сложному подтипу «*homo ratiō*» и уж никак не к «*homo mysticus*». Кстати, в детстве Лешку искренне удивляло, если он вдруг открывал, что и другие люди могли быть столь же сложны и богаты внутренне, как и он.

Будов, которому Стариков как-то обмолвился насчет всего этого, тут же заявил, что он, Петька, должен быть немедленно отнесен в категорию «*homo erectus*»<sup>2</sup>, потому что, мол, и ходит он прямо, и во всем остальном – мастак.

Однако последние лет 15 так получалось, что Лешка занимался темами весьма неоднозначными, что и создавало у него проблемы «с синхронией».

---

<sup>2</sup> «Человек прямоходящий» (лат.).

– Синхрония, – наставлял он того же Будова еще до его армейских подвигов, – она же «синхронистичность» – это по Юнгу. Совпадение далековатых ситуаций.

– Не учи ученого, – отзывался Петька. – Я этого Карла Густава читал, когда ты еще под стол пешком ходил.

Он был старше Старикова на два с половиной года, чем и побивал его в частых спорах. Но сколько Будов ни вспоминал – привести конкретных примеров из собственной жизни не мог. Зато Лешка порой уставал от этих примеров.

– Вот веришь, Петька: стоит настроиться на что-нибудь этакое, ну, я не знаю – событие какое-нибудь... Да что далеко ходить, вот тебе хороший пример: прогуливаюсь я как-то по Гончарова в сторону фотосалона, ну, помнишь, я там сторожем подрабатывал, было дело. И думаю про себя: «Хорошо бы в этом месте пирожковую-закусочную организовали. А то и пожрать в центре города негде!». Ну и что ты думаешь? Ровно через два дня снова иду на дежурство – нате, как говорил Маяковский, получите и распишитесь: закусочная открыта!

– Совпадение. Обычное совпадение, – отвечал на этот яркий экземпль Петька. – Знаешь, даже болезнь такая есть, что-то наподобие шизофрении: знаки повсюду мерещатся или там на острове Пасхи что-то произошло, а ты узнал – и к себе применил. Всё вокруг тебя, короче, вертится, весь мир. Солипсист ты, вот кто!

– Тьфу на тебя, – обижался Лешка. – Говорю тебе: синхрония чистой воды. Вот ты разве не замечал: узнаёшь неожиданно, что какое-то слово пишется не так, как ты двадцать лет подряд думал. Ну и что? Оно начинает попадаться тебе на каждом заборе, во всех газетах, книгах и на фонарных столбах. Будь это хоть какой-нибудь «престиджитатор».

– Уж прям тебе престиджитатора на каждом фонарном столбе нарисуют? – сомневался Будов.

– Говорю тебе: верь, и по вере твоей случится, – парировал Стариков.

С Петькой они на этот счет часто болтали – до того самого момента, пока он затылком чуть остановку не сломал. С тех пор – как отрезало. Стариков знал, что недавнего дембеля выписали из больницы в конце марта с диагнозом «сотрясение мозга и обморожение второй степени» – и всё. Полное отсутствие сведений. Где, как и

что он такое теперь, Лешка не ведал: пропал человек, на звонки не отвечает, а ловить Петьку рядом с входом в квартиру его умершей матери у молодого препода времени не было. Он все-таки человек занятой.

Очередная «чистой воды» синхрония приключилась со Стариковым как раз в день взрыва на «Арсенале». Покинув альму-матерь, Лешка устремился к остановке – той, что возле мемцентра. Залез в 96-ю маршрутку, сел поближе к водителю, по одесную, и начал кимарить. Через минуту «Газель» остановилась и к ним на передние места подседа женщина лет тридцати, оказавшаяся, судя по приветствиям, давнишней знакомой маршрутника.

Стариков очутился между двумя активными собеседниками, и буквально через пару фраз у фольклориста сон сдуло, будто ветром.

– Ты прикинь, Дим, какой мне сон вчера приснился! – голова новой пассажирки повернута в сторону водителя, и говорит она пронзительно и четко – прямо в правое Лешкино ухо. – Умершая бабка пришла – в аккурат на сорок дней, вчера как раз и отмечали. Зашла в комнату, склонилась над моей кроватью и говорит: «Ты, Ирка, завтра трамваем езжай. Поедешь на маршрутке – задницу надеру!». Прикинь? Так и сказала. Я мужу за завтраком рассказываю, он гогочет. Ну и что ты думаешь? Сажусь утром на 59-ю, спокойно еду на работу, и тут на Пушкиревском кольце – бабах! – правое переднее колесо отлетает на фиг. Полный пипец!

– Жива осталась? – интересуется водила Дмитрий – уже в левое Лешкино ухо.

– Как видишь. А вот бабуська сзади точно себе что-то сломала. «Скорую» вызвали – и увезли.

– Пипе-ец! – соглашается Дмитрий. И дальше едут некоторое время молча; водитель внимательно посматривает направо – туда, где гремит и вертится переднее колесо его «Газели».

Стариков настороженно ждет новых синхроний, но больше про сны ему в правое и левое ухо не говорят – а всё больше про дурацкий велосипед, который возжелал себе на день рождения сынишка Ирки.

– Вот замучил: вынь да положь. Он у меня третий класс заканчивает. Говорю: «Вот если на четверки-пятерки вытянешь – будет тебе велосипед!». Старается.



– Ага, – отвечает водитель. – Велосипед для мальчишки – первое дело. Я сам...

Старикову приходится прерывать их светскую беседу, так как приближается его остановка.

## *Глава 7. Баба Катя Арсеньева*

– Горит, ей-богу, горит! Федька, мать твою, чайник говорила, когда уходили, посмотри! Посмотри, говорила! Беги, ирод Царя небесного! Беги! – надрывалась бабка Катя и, расширив от ужаса глаза, смотрела, как через улицу – ровно над ее домом – поднималось и дрожало в весеннем вечернем воздухе светлое марево. Муж, перепугавшись вусмерть, по-стариковски кряхтя и отплеываясь, бросился вперед. Она глядела ему вслед и видела, как неуклюже и медленно поднимаются серые подошвы его калош. Но всё побыстрее, чем она доковыляет на своих больных да варикозных. Плача в голос, она понесла свое большое тело к дому.

Вместе с мужем они ушли на поминки на Мертвую улицу в одиннадцать утра и задержались там почти до шести вечера.

«Всё Дуська, ведьма старая: “Посиди да посиди, куда вам торопиться, на горóде ничего еще нет!”. И вот: досиделись до пожару!» – думала Арсеньева, барабаня изо всех сил в раму дома Федосеевых. На стук выскочила сухонькая Марфа, ее подруга.

– Марька! – задыхаясь, голосила баба Катя. – Борька дома у тебя?

– Ну?

– Пушай бежит ко мне! Пожар, видно! Я по пути, по пути за-скочила!

Марфа ойкнула, заметалась, как вьюга, по крыльцу, и, уже хлопнув калиткой, Арсеньева услышала ее вопль: «Борька-а! Скорее! Ведро, ведро бери! Телефон – звони, звони в район!».

Она решила срезать по задам, где покороче бежать, да забыла, видно, что там топь, и, упав, раскровенила больную коленку о прошлогодний корешок. «Ах ты, Господи!» – ничего не чуя от ужаса, она повернула назад и уже через три минуты нырнула за угол. Ее изба была крайняя по Озерной; насупроть всю жизнь торчал колодец-журавель, из которого давно уж перестали пить: появились колонки, где вода посвежее.

Арсеньева пробежала еще несколько шагов, а затем остановилась, как вкопанная, увидев Федьку. Муж стоял на коленях и, сложив два перста («он же у меня кулугур, а я и думать забыла: отродясь он на людях не молился»), со значением клал кресты. Тяжело дыша, бабка Катя смотрела туда, куда, ничего не видя от страха, глядел ее супруг.

На самом деле мы редко в своей жизни сталкиваемся с чем-то действительно новым. А уж если такое уникальное событие случается, то всегда найдется то, с чем это новое можно сравнить.

Вот и Арсеньева увидела шар не шар, тарелку не тарелку. «На дирижаблю похоже!» – почему-то решила она и затем долго придерживалась именно этой версии. Над колодцем висело нечто светлое, похожее на яркий уличный фонарь. («Вот как у Федосеевых, когда луны-те нет, ночи темные, а у них лампа перед двором светит – далеко-о видать»). Только фонарь светил каким-то синим, почти светло-зеленым светом, а внутри него что-то пульсировало – какие-то три маленькие точки-живчики. И из одного живчика бил узкий, дрожащий, словно леска при удачной рыбалке, луч – тоже зеленоватого света. Луч уходил прямо в колодец, откуда, пучась, вырастал еще один цветной гриб света.

– Федька! – наконец не выдержала бабка. – Чегой-то это?

Муж не удостоил ее даже поворотом головы и вновь затеял вполголоса молитву, которую повторил уже раза три: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его...».

– Да постой ты, кулугур окаянный! Чегой-то там такое? Может, стащить чего хотят, а ты тут ухлопался на землю, как петух на насест. Подымайся да посмотрим пошли! Изба-те не горит вроде?

Сзади послышалось громыханье ведрами, и из-за угла выскочил Марфин сынок – дальнобойщик и пьяница, каких свет не видывал.

– Баб Ка... – начал он и вытаращился в сторону колодца. Затем сделал один шаг назад, другой, и ладони его сами собой разжались, выпустив обе дужки. Ведра громыхнули об грунтровку и раскатились в разные стороны.

– Эй, эй, Борька, ты куда? – забеспокоилась Арсеньева. Но Марфин сын успел развернуться и опрометью бросился назад. Уже оттуда, из-за угла, до бабки Кати донесся такой отборный, изысканный трехэтажный мат, что женщине оставалось только развести

руками. Дальнейшее она успела заметить лишь краем глаза, а муж потом уверял, что и вовсе ничего не видел-не помнил: «Анмезия у меня, старуха, ан-ме-зия! Память потерял со страху. И не спрашивай ничего!» – так категорично реагировал он на любые ее попытки покалякать на эту тему. А заметила она лишь то, что луч мгновенно погас, колодец резко потемнел, огненный фонарь резко дернулся и... исчез.

– Шмыг – и нету! – докладывалась она Марфе и еще доброму десятку своих подруг со всей Астрадамовки. – Была дирижабля, и – фьюить! – не стало!

Борька, Марфин прохиндей, наоборот – рассказывал обо всем увиденном охотно и с удовольствием.

– Это, мать твою, эксперименты над нами наше же правительство ставит! Ты вот, тетя Катя, Рен-ТиВи смотришь? А-а! А там эту херню круглые сутки кажут – и НЭЛЭО тебе, и привидения всякие. Всё наука уже знает, не то что мы – темный лес.

Бабка Катя только раздраженно отмахивалась от него: она и раньше Борьку не больно высоко ставила, а после того, как он при ней смылся от дирижабли – совсем расхотела слушать. Ладно Федька – тот хоть кулугур, но остался с ней до конца. А этот – не-е, молодежь не та пошла, бесхребетная молодежь нонешня.

Бес-хре-бет-ная.

\*\*\*

Арсеньева сидела у окна на махонькой кухне (по-деревенски – в чулане) и смотрела, как крупные дождевые капли колотят в двухслойное стекло. В межстеколье валялись две-три еще по осени сдохших мухи, высохших, жалких и неприбранных.

Дела все давно переделаны («А чё тут особо делать-то? До огородной стрекотни еще время не дошло, скотины нету, сготовлено и прибрано, какого лешего еще надо-те?»). Старик ее уснул на диване в зале за просмотром «Поля чудес». Сама баба Катя давно уж бросила смотреть передачу с усатым Якубовичем («Одно и то же, Марька, ей-богу: одевается-передевается да охурцы с грибами себе в музей собирает. И что это у него там за музей, блин, капитал-шоу? Безразмерный!»).

Капли быстрыми ручейками стекали по узеньким оконным просветам, туманили действительность, и Арсеньева вспоминала,

как когда-то много-много лет назад, году в сорок шестом, она вот так же сидела в чулане у окна родительской избы.

Отец с фронта не вернулся, а мамка работала дояркой и бегала на фирму по три раза за день: рано-рано утром, в полдень и в сутисках. Катька ждала ее в тот день с вечерней дойки одна-одинешенька. Иногда, правда, к ней приходила подружка Машка с соседней улицы, но чаще она сидела вот так, как сейчас – в темной избе, боясь пошевелиться, потому что сумерки не любили суеты и лишних движений. Кате казалось, что ее движения повторяет кто-то там – тот, кто зыркает на нее из самых темных углов. Да к тому же мамка говорила, что нужно беречь керосин и дрова: живут они вдвоем, как-нибудь перекантуются.

Девочка часто думала о том, что как же хорошо тем семьям, в которых много сестер и братьев. В Княжухе, где она жила до замужества, у некоторых было и по семь, и по восемь детей. Но у мамы она одна... «Зато мамка меня любит сильнее всех на свете! Сильнее даже, чем тятку!» – этой мысли Катя испугалась, ведь папа умер. А мертвые всё слышат...

Отца она помнила очень плохо. Самое яркое воспоминание – когда однажды ночью, наверное, в сорок третьем году кто-то постучался в их дверь. Мать выглянула в окно и стала белее снега, завалившего весь двор. Она скинула крючок с двери, и в избу вошел худой, почерневший человек с заросшим лицом. Мама плакала у него на груди, а четырехлетняя Катя боялась страшного гостя.

Тогда почерневший человек снял с плеча сумку, достал оттуда что-то желтое и поманил ее к себе.

– Это сахар, дурочка! – хрипло засмеялся он, а потом сгреб ее в свои ручищи и поднял к потолку. Катька расплакалась, а потом сидела на печке, сосала сахар с соринками и подглядывала за взрослыми, беседующими вполголоса. Утром почерневший человек ушел, и ни она, ни мать больше никогда его не видели.

Когда за окном совсем стемнело, девочке очень захотелось пить. Она забыла засветло принести кружку из сенцев, где стояло ведро с водой. В темноте туда идти было очень страшно, а пить хотелось всё сильнее. Катя собрала с запотевшего стекла несколько туманных капелек, облизала чуть влажный пальчик и вздохнула. Оконная влага только усилила жажду. Девочка осторожно повернула голову в сторону двери. Нужно всего-то встать, обойти старую,



растрескавшуюся табуретку, открыть дверь в сенцы, а там направо – ведро с водой. Кружкой надо треснуть по тонкой пленке льда (вечером еще подмораживало), черпнуть воды и – назад. Ей уж семь, чего трусить-то?

Девочка набрала в грудь побольше воздуха, слезла со стула и быстро засемила в сторону двери. Тут ее привыкшие к сумраку глаза уловили какое-то движение в кляксе темноты под старой табуреткой. Катя повернула голову и увидела, что там сидит бородатый человечек с глазами-бусинками. На нем краснела рубашечка или кушачок – не разберешь. Они посмотрели друг другу в глаза, а потом человечек сказал: «Уху-у! Уху-у!» – и до Катиного лица донесся теплый запах, похожий на лошадиный.

Дальше девочка плохо помнила, что именно произошло. Она очнулась уже в соседской избе – там жила баба Клава, одна из самых старых жительниц Княжухи. Ей было то ли 96, то ли все 98 – старуха уж сама сбилась со счету. Катя прибежала к ней по весенней грязи босиком, без верхней одежды и сумела каким-то чудом достучаться до глухой соседки.

Та ее приняла, обогрела и даже напоила травяным чаем, пытаясь успокоить дрожащую девочку. Мать нашла ее у соседки часа через два и больше не оставляла одну: сначала отправляла к подруге на соседнюю улицу, а потом начала брать с собой на дойку.

На всю жизнь Катя запомнила слова старой, как жизнь, бабы Клавы. Когда она наконец разобрала, о чем же толкует ей испуганная соседская девчонка, то сказала так: «Эка невидаль! Да это ж дед домовый, дурочка! Он в каждом доме есть да не всяк его увидит. Он вас о чем-то предупредить хочет. Коли: “Уху-у!” – говорит, то добра не жди. Плохое случится».

И напророчила старая карга: через полгода они погорели. Всё село им помогало строить новую избу – да не на прежнем месте, а ближе к бывшей церкви, в которой новая власть устроила сначала зернохранилище, а потом – клуб.

\*\*\*

Дождь всё стучит по карнизу, бороздит окно каплями, а бабка Катя уж дремлет. Разовспоминалось ее сердце, растревожилось: вот ведь не только домового ей приходилось за жизнь видеть, но и еще одну чуду.

В кельях Катеринка сидела чуть ли не с четырнадцати лет. Пряла, вязала, под гармошку плясала и к семнадцати такую косу отпустила, что, говорят, даже парни из соседнего Ждамирова приходили поглазеть. Да только фигу им, а не Катьку: у нее своих, княжухинских, ухажеров было как грязи. Из-за этой-то косы проклятой всё и вышло. Ходил за ней парень один, Виктором звали. Ничего, видный такой, но злой, как собака. Катеринка чуяла, что не видать ей доброго от него и держалась подальше.

– Чего ты бегаешь-то от меня? Идем погуляем, по-хорошему пока прошу! – зажал он ее как-то у забора, за руку держит, насупился, черт глазастый.

– Отпусти, говорю! – а он не пускает. Катька вывернулась и бежать: благо до Николаевых недалёчко, где в то время келья была. Вбежала, раскраснелась, а там – Вовка с «саратовской» приперся, девки всё вязанье побросали и давай друг друга частушками крыть. И дошли ведь до бесприличия.

Выплыла вначале Танька-заводила – она с той стороны, где жилинские, там все такие: им палец в рот не клади. В Княжухе-те раньше два графских управляющих жили – Жилинский и Оболенский, ага. И до сих пор ту сторону, за мостом которая, «жилинскими» кличат. Вышла Танька и давай:

*«Я любила тебя, гад,  
Чатыре года в аккурат,  
А ты меня полмесяца  
И то хотел повеситься!».*

А Вовка за ней было годик целый ходил-ухлестывал: вот Танька на него глядит и поет. А все знают да смеются.

Катеринка отдышалась, смотрит: её-то хвост уж на пороге нарисовался. Она за девками прячется, а он за ней, а девки – в центр ее толкают, к гармошке поближе. Та вышла, ударила пяткой, ладошкой в Витькину сторону качнула и отчебучила:

*«Не ходи по коридору,  
Не стучи калошами.  
Все равно любить не буду –  
Морда как у лошади».*

Витька постоял-постоял, лицо кровью налилось, как у рака вареного – и шementом за дверь. А у нее и ума нет, что он затеял. Она успокоилась, прыг за вязанье. Повязала-повязала и домой собралась. Выходит, а он, собака, из-за кустов выскочил и вдоль хребтины ее ремнем вытянул да не один раз: «Не унижай, дескать, парня перед всеми!». А она и не думала унижать: чё там в голове-то девичьей? Боялась – да, а унижать – да на кой он сдался?

Упала она тогда на дорогу и с испугу так заголосила, что из кельи все девки повысыпали. А он – раз в улицу, и не при делах вроде. Вовка тогда хотел парней созвать да отметить его по полной, но Катька не дала. «Пусть с ним, – говорит, – лишь бы не подходил больше».

И вот тогда эта история и приключилась. Возле церкви, клуба-то нынешнего, где они теперь жили, пруд был. Он и сейчас есть да зарос. А раньше, говорят, даже лебеди там водились: Оболенский их больно любил и разводил.

Катеринка вида не подавала из-за того случая-то с Витькой, а сама переживала, конечно. Грустно станет – она на этот пруд. И, главное, ночью ведь вздумала шастать, а чё там: вышел из калитки и – направо. Вот сидит Катька как-то, а уж за полночь дело-то было. А посреди пруда тогда камень торчал, вот он и теперь там, наверное («Я уж в Княжухе не была Бог знает сколько – туда и не доберешься ведь!» – Арсеньева зевнула, вытянула затекшие ноги под столом и, заглядевшись на оконные струи, снова начала забываться сном).

И вдруг слышит: хлюп-хлюп, хлюп-хлюп, да, батюшки, что это такое? – кто-то плещется вроде. И образовалась на камне («вот не сойти мне с этого места!») женщина молодая – вся нагишкой, волосы распушённые, ноги к воде свесила и знай расчесывает гриву свою. И гребень какой-то ведь в руках, с гребнем, ага. Сидит Катька ни жива ни мертва, а эта, на камне-то, смотрит на нее и чешет-чешет. А потом рукой манить начала: «Пойдем, мол, пойдем...».

Вскочила девка, матюкнулась и – домой, только пятки засверкали. Слышит сзади: «Хлюп-хлюп!» – они мата-то боятся, нечисть-то эта. Вот и ухлюпала к себе на дно, видно. А Катьку ночью на пруд и калачом не заманишь теперь. Там, в этом пруду-то, говорят, не одна девчонка утопла. Кто по любви, а кто так – по дурости.

## Глава 8. Сланцев

– Знаешь, Лешк, как это было? Жена своих подруг созвала, сидят они, болтают, а мне – скучно аж до посинения. Думаю: дай-ка в Интернет слазию! – Сланцев в очередной раз пересказывал полусакральный нарратив о своем приобщении к великому российскому братству самогонщиков.

Стариков внимал ему с удовольствием, понемногу смакуя результаты Мишкиного творчества. В его крохотной рюмке золотился напиток, совсем недавно добытый из небольшой бочки, сделанной из украинского дуба. Повествование поэта приобретало особый смысл в глазах Лешки: ведь именно с этим была связана новая тема, над которой – с благословления всепонимающего Шахова – собирався потрудиться Сланцев в грядущей экспедиции.

Канонический сюжет разворачивался так: поэтическое чутье подсказало будущему мастеру набрать в Гугле (вариант: Яндекс)



некую последовательность лексем, приведших его к покупке самогонного аппарата отечественного производства.

– Немецкий-то он получше был бы, но для стартапа сойдет и такой, – оправдывался Мишка перед друзьями, приглашенными на дегустацию. Те, хитро посматривая на него, соглашались, что действительно пока можно обойтись и имеющимся оборудованием, но расти над собой, конечно, надо.

И Сланцев рос – не по дням, а по часам. Досадные помехи создавала лишь супруга, не понимавшая ни всей ценности, ни очевидной фольклорной подоплеку творимого на ее глазах преобразования обыкновенного мужа в гуру самогонварения. Мишка охомутал кухонный смеситель цветастым сочетанием шлангов, заявил в ответ на некоторые – сперва робкие – возражения Кати, что каждый имеет право на хобби, и занялся сотворением напитка. Прямо на кухне. И вот тут-то приключился первый досадный промах, едва не стоивший Сланцеву потери хобби, а друзьям – смысла бытия.

Дело в том, что брагу, откуда и добывается ОН, можно, в общем-то, хранить в разных сосудах. Основываясь на рабочих связях, Мишка однажды приволок домой один из самых удачных (ошибаются и боги!) вариантов: стеклянную бутылку на 50 л. Мешать сладкую, ароматную («а Катьку, блин, этот запах напрягает!») жидкость можно также самыми различными предметами. Сланцев выбрал в качестве орудия железный половник с узким черпачком: широкий в бутылку не пролез бы.

– И стук-то был едва слышный: чик по стеночке, а дальше как у Кэмерона в «Титанике» – трещина пошла-пошла-пошла, и раз! Нету бутылки. А есть море разлитое – тягучие, сладкие, ароматные (ну не нравится ей этот запах, Леш, понимаешь!) 50 литров на полу в недавно отремонтированном коридоре квартиры. Текут и текут, а вместо Селин Дион – песня жены! Ох, не дай Бог такого никому услышать – ни в минувшем тысячелетии, ни в нынешнем...

Стариков опять пригубил, будто подсказывая Мишке следующее композиционное ответвление его нарратива: масштабный переезд на балкон. Сланцев прищурился, проницательно кивнул и продолжил:

– Слава Богу, у меня не балкон, а застекленный аэродром – в футбол можно с сыном играть. И хорошо (дьявол – в деталях!), что рамы на кухне не пластиковые, а деревянные. Дело оставалось за малым: просверлить в рамах дырки для шлангов, купить электро-

плитку для аппарата, и счастье, казалось бы, близко – гони, экспериментируй, собирай в экспедициях новые рецепты! Но случай, блин, бог-изобретатель, – снова попутал мне все карты.

Роль случая сыграли на этот раз подруги той же жены: как говорится, мы тебя породили («а кто скукой Мишку до Яндекс довел?»), мы тебя и убьем.

– Есть у нее там одна – ты бы, Стариков, точно от нее убежал: ты ведь не любишь баб, которые по поведению мужиков напоминают. Ну, я имею в виду – управлять всем и вся пытаются...

Лешка прикрыл глаза в знак согласия: все-таки диктофон-то пишет, пусть информант побольше сам говорит, а он даже «угукать» в ответ не будет – в соответствии с заповедями великого Шахова, адресованными желторотым первокурсникам.

– И вот она-то, Ирка эта, наболтала ей: «Вот, мол, дядя у меня есть, так же вот самогонщиком заделался, хобби-шмоби, всё такое – и спился, говорит. Угу. Алкашом стал, одним словом. Из дома всё тащит, продает, сам нигде не работает. «А он у тебя еще и поэт! А у поэтов к алкоголизму генетическая предрасположенность», – ага, так и глаголит, представляешь? Что тут началось, Лешка... Хоть святых выноси по одному из дома!

Стариков вновь закрыл глаза в качестве крайнего одобрения, сочувствия и сопричастия другу. И проверил на всякий пожарный случай диктофон – тот исправно фиксировал самогонный нарратив.

Дальше, согласно типовой структуре текста, должны последовать кульминация и благополучная развязка. Впрочем, постойте, но где же волшебный помощник, спасающий главного героя от неизбежного?

– Ты не поверишь, кто тогда спас меня и разрубил гордиев узел наших супружеских отношений. Юрку Котерева помнишь? Ну рыжий такой – ты с ним недели три назад у меня дома познакомился?

Стариков вздрогнул, и его лицо слегка перекосило – так бывает, когда внезапно напоминает о себе потерявшийся под старой пломбой зуб-мучитель. Он-то и думать забыл о рыжем типчике и витринном просветлении пьяного поэта.

– Юрка пришел, вспученный линолеум в коридоре мы с ним перестелили, на балконе всё наладили, он мне новую бутылку приволол – пластмассовую и флягу большую, алюминиевую, в которых раньше, помнишь, в совхозах молоко возили? Всё солидно и осно-

вательно, – Котерев он такой. Он даже, знаешь, что с собой припер, когда я ему свою эпопею живописал? Коробку конфет. Я ее жене и подсунул – в качестве символа примирения. А потом, когда она его борщом угощала (ведро ему целое налила – он ест много, но и работает за себя и того парня!), Юрка давай расписывать, сколько у него хороших знакомых самогоном занимается, и все – чуть ли не доктора технических наук. Моя Катька слушает его, а сама молчит. А это, скажу тебе, брат, не совсем добрый знак-то. В итоге вышло так: с аппаратом на балконе она смирилась, а Котерева с тех пор не слишком ценит. Ты и сам видел – про сапоги у лифта помнишь?

– Она и меня теперь не больно-то жалует! – вздохнул Стариков. Перед его глазами, как живые, вдруг встали пронзительные образы сваленных в кучу шмоток – его и рыжего.

– Да ладно, она уж забыла всё. Катька у меня отходчивая! – беспечно махнул рукой поэт. – Кстати, ты про мою идею-то не запомнил? Взять Юрку в экспедицию? Он и технику любую починит, и машина у него отличная есть – довезет, куда скажешь. Я с ним уже переговорил – он всеми руками «за». А ты как на это смотришь? И Шахова бы надо известить.

Стариков осторожно снял очки, потер большим и указательным пальцами переносицу и ответил вопросом на вопрос:

– Мишк, ну, правда, что он там будет делать? Дурью маяться? Технику нам ремонтировать не надо, водить машину и без него найдется кому. Сфотографировать – тоже не без рук, справимся. В общем, надо внимательно поразмышлять-подумать.

– Подумай, – легко и непринужденно согласился Сланцев. – Только ты, Леша, не забывай, пожалуйста, что экспедиция – это не твоя личная собственность.

– Что ты хочешь ска... – Стариков запнулся и почувствовал, как густая краска заливает всё его лицо.

– Нет-нет, ничего-ничего. Давай еще хряпнем по маленькой? – и поэт упорхнул в сторону бочонка из украинского дуба.

Лешка потом не раз вспоминал этот разговор, каждую его деталь и скрытые интонации-смыслы. И задавал себе один и тот же вопрос: уж не тогда ли он впервые ощутил какие-то странные перемены в окружающем пространстве? Какое-то иное чувство – не совсем четкое понимание того, что где-то что-то неуловимо изменилось. Словно там, за миллионы километров отсюда, рухнуло

огромное, вытянутое вверх здание, а здесь у них со Сланцевым эта вселенская катастрофа отразилась небольшим сотрясением воздуха, почти неосязаемым движением справа и слева.

«Экспедиция точно будет другой», – промелькнуло в голове у Лешки, и он в недоумении по-шаховски подпер безбородый подбородок кулаком...

– Слушай, – произнес через некоторое время Стариков – после того, как они помолчали, закусили и перешли на чай. – Ты мне в прошлый раз всё никак не давал своего «Домового» прочитать по-человечески. Давай я воспользуюсь той редкой возможностью, когда классик еще жив и может, так сказать, сам, без посредников... Почитай, а?

– Ну уж прям так и классик, – заворчал Мишка и порозовел от удовольствия. – Щас, погоди, найду сборничек.

Он приволок из другой комнаты светло-синюю книжицу, запрыгнул, как воробей на ветку, в любимое кресло-качалку (Катьки тогда, конечно, дома не имелось) и начал без посредников:

*«Здесь был когда-то дом, в котором жили люди.  
И печка согревала их лютою зимой.  
Уютно было тут. И думалось: так будет,  
что сохранит очаг лохматый домовой.»*

*А помнишь времена: село росло и пело,  
ваяли топоры пахучий свежий сруб.  
И перескрип дверей рождался то и дело.  
И вот конек на крыше, изящен и упруг.*

*Тогда слагали песни, тогда сложили печку,  
и окна приделались в наличников узор.  
Дом получился добрым, добротным, безупречным,  
под озорной, неспешный, еристый разговор.*

*И молодой мужик сказал тебе: «Айда-ка,  
дедуля домовой, со мной». И в кузовок  
ты радостно вскочил, самодовольно крякнув.  
И в новую избу тебя он поволок...»<sup>3</sup>.*

---

<sup>3</sup> Здесь и далее автор стихотворений, которые цитирует Сланцев, – ульяновский поэт Андрей Цухлов.

\*\*\*

Лешка засобиралися домой – все-таки ему на другой берег Волги пиликать, но тут Сланцев ударил себя по лбу:

– Ведь совсем из головы вылетело: я же тебе тут такой сюрприз подготовил!

– Ну?

– Баранки гну! Устраивайся поудобнее, мы лучше такси потом вызовем – доедешь до своей хаты, тем более тебя там никто не ждет!

Стариков поморщился: он не любил даже косвенных напоминаний о своей неудавшейся женитьбе, разводе и других малоприятных мелочах семейной жизни. И Мишка об этом прекрасно знал – однако ж (попробуй останови поэтическое вдохновение!) иногда и у него проскакивали такие напоминания, словно электрическая искра у давно переставшей работать машины.

– Я тут в анналах своего старого стола такое добыл...

– Звучит тревожно – про анналы-то, – перебил его Лешка предсказуемой шуткой.

– Ага. Так вот: мы его выкидывать собрались, я начал полочки вытаскивать, смотрю: а там – видеокассетка старинная, как песни твоих экспедиционных бабушек. Поглядел на приляпанный скотчем кусок тетрадного листка в клеточку, а на нем – выцветшими чернилами, синим по белому: «Посвящение 2000 года. Барышская Слобода». Помнишь такое?

Что-то справа и слева Старикова снова заколебалось и вздрогнуло – на самый краткий миг, но и этого хватило, чтобы неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника.

– Как же, – ответил он хриловатым голосом. – Веселенькое было посвященьце. Так у тебя разве осталось, на чем такое старье проигрывать?

– Не-а. Я в фотосалон отнес – тот самый, который ты, Лешка, сторожил доблестные пять лет. Там мне и оцифровали ее, – довольный, как мартовский кот, Мишка уже налаживал телевизор, к которому были подключены легендарные новые аудиокolonки. Тут Стариков, как назло, снова вспомнил про рыжего и вздохнул.

– А может, ты мне просто скинешь файл на флешку, у меня есть с собой, да я дома всё посмотрю? – робко предложил Лешка, хорошо зная, как оценит подобное высказывание его друг.

– Ты с ума сошел! Ни за что! – категорически заявил поэт. – Такое надо смотреть только вместе. Я ж тебя знаю: ты дома перепрыгнешь из начала в конец файла и скажешь самому себе, что у тебя времени нет. Тут ностальгия, понимаешь? А ностальгия не терпит суеты. Садись и смотри. Нам, кстати, с тобой еще посвящение этого года надо обсудить – полно новичков-то намечается.

Стариков нехотя опустился на диван, Мишка еще немного поколдовал над колонками, и большой телевизор выпустил в реальность полузабытую ностальгию из Барышской Слободы.

\*\*\*

Он уж и не помнил, как их точно звали – то ли Маша и Эля, то ли Саша и Эля, но Эля там точно присутствовала. Началось всё как-то само собой – как и всегда бывает во время хорошего посвящения.

– Посвящение – это не мероприятие одного дня, – любил говорить ИП. – Его надо готовить всю экспедицию. Иначе грош цена такому приобщению к полевой фольклористике.

Стариков, тогда еще молодой студентик, весь обвешанный магнитофонами, как-то завалился в школьную столовую и увидел там двух девчонок-первокурсниц, корпеющих над обедом. Сделав скорбное лицо, он пошел за тарелкой, зачерпнул себе густого борща с самого низу восьмилитровой кастрюли и уселся есть в гордом одиночестве.

– Ты что какой грустный, Лешенька? – подседа к нему Эля. Саша тоже наострила свои красивые ушки. Этого-то он и добивался.

– Одну запись надо сделать сегодня ночью. Цыганка позвала – та самая, помните?

Еще бы им не помнить: про свою встречу с пожилой знахаркой, с которой Лешка побеседовал почти шесть часов подряд, он в подробностях рассказал всей экспедиции. Цыганкой она была только наполовину, но собеседница и впрямь замечательная: оборотни, домовые, видения и даже измерение ауры Старикова и меры порчи на нем – всё присутствовало во время их знаменательной встречи. Лешка пришел с записи совершенно счастливый, говорил о ней и на традиционных ночных посиделках, чем произвел на первокурсниц неизгладимое впечатление. Сейчас нужно было всего лишь усилить его и закрепить. Тут рецепт самый простой: к правде прибавляй самую толику небылиц, и всё пойдет как по маслу.

– Ночью? – ахнула Эля, и ее подруга со сверхъестественной быстротой тоже оказалась с ними за одним столом. – Так ведь Шахов не пустит ни за что!

– Да кто ж его спрашивать-то будет? – Лешка приосанился. – Тут наука, Эля. А наука требует риска и жертв! Обряд буду записывать, с жертвоприношением. Придется у Ивана Петровича на ночь видеокамеру свистнуть.

Саша прикрыла рот рукой: особенно ее поразила необходимость взять на ночь единственную в то время экспедиционную видеотехнику.

– А нам... можно... с тобой пойти? – спросила Эля дрогнувшим голосом, заранее зная ответ.

– Нет, – отрезал Стариков. – Только я один. Запись будет глубокой ночью за селом – за мостом через Барыш на разрушенной мельнице. Никто, кроме вас, об этом не должен знать, слышите? Я один пойду, иначе знахарка не согласится показывать!

Понятно, что у Лешки закрадывалось сомнение: не переигрывает ли он? А что если девчонки сейчас прыснут в кулачок – и всё посвящение коту под хвост. Но бледные лица первокурсниц свидетельствовали об обратном. Процесс пошел, лед тронулся, господа фольклористы.

Затем разыгрывали по обычному сценарию, хотя, конечно, помогали таинственные совпадения («синхронии»). К примеру, ИП запретит Саше и Эле ходить купаться – те вечером все-таки сбегают на речку, и там потеряют дорогие очки. Мелочь? Мелочь. Но Лешка-то их предупреждал о порче, которая в БарСлободе на каждом перекрестке валяется, а Эля взяла да принесла остатки старого самовара, лежавшего на перепутье.

– Зачем взяла? Или не знаешь, что на перекрестках – сплошные подклады-порчу делают? – спрашивает их с мрачным видом Стариков. А затем снова подключаются Шахов да Сланцев: что-то с Лешкой не так – какой-то он, дескать, странный. На себя не похож.

«Вы, девчонки, не знаете, что это с ним?».

А Саша и Эля ой как знают – им ли не знать: впереди – обряд с жертвоприношением! Боже мой, Боже мой!

Уже потом – после экспедиции – старички пришли к выводу, что столь сильный и непредсказуемый результат обычного посвящения обусловили сразу несколько факторов. Не последнюю роль

здесь сыграли странные совпадения, а главное – умопомрачительная неопытность и впечатлительность девчонок-первокурсниц.

– Они ведь за всю свою молодую жизнь даже коров вблизи-то не видели! А тут – оборотни, колдуны и знахарки-цыганки. Вы, мальчишки, перестарались – по-другому надо было, помягче, – журил Шахов Лешку и Мишку, а те покаянно вздыхали, признавали свою вину, но нисколько не сожалели о содеянном.

Кульминацией подготовительного этапа стала небольшая запись, сделанная Стариковым в обычной тетрадке отзывов и предложений. Такая традиция повелась испокон веку: многочисленные девчонки в экспедиции готовили, парни им помогали и оставляли различные шуточные заметки в специально заведенной тетрадке.

Леша, подчиняясь какому-то наитию, будучи в столовой наедине с одной книгой отзывов, левой рукой накарябал: «Саша, Эля! Сожгите листок сей, и порча уйдет-исчезнет. Станет легче, точно говорю». И ушел расшифровывать записанное за вчерашний день.

Через час в их класс ввалилась хохотунья и толстунья Динка – сейчас ей уж лет сорок, наверное, преподает где-нибудь на Камчатке, куда уехала с мужем-военным.

– Лешка, дурак, ты что с девчонками сделал?

– А что такое? – наигранно улыбается Стариков.

– Что ты там написал в тетрадке? Они трясутся и плачут, Сашка уезжать собирается из экспедиции!

– Да ну? – Лешка забеспокоился: такой поворот в его планы не входил. – Иди к ним и убеди их сжечь листок – там на школьном дворе за беседкой. Скажи, что всё как рукой снимет, и тихое спокойствие опустится в их молодые души.

– Ну и дурачок! – с восхищением захихикала Динка. – Сегодня, что ли, посвящение будет?

– Тихо! – Стариков покосился на дверь. – Не так громко. Шахов все подробности расскажет ближе к вечеру. А теперь беги и успокой посвящаемых!

На старой видеозаписи зафиксированы результаты их трудов: Шахов вбегает в комнату девчонок часов в 8 вечера – злой и испуганный. Почему-то в девичьем классе остались только первокурсницы, и по какой-то неведомой причине в руках ИП находится та самая видеокамера, которую должен был свистнуть Стариков.



– Где Лешка? Отвечайте! – они молчат и переглядываются. И ничего не вводит их в смущение – ни включенная видеокамера, ни вечерние поиски пропавшего молодого фольклориста, ни то, что Шахов точно знает, куда пошел Лешка – на старую мельницу.

– Мишка, но ведь когда ты вылез из-под моста – весь разукрашенный, с травой в плавках – и начал им каверзные вопросы задавать от лица водяного, – ну неужели и тогда Сашка с Элей не догадались? Не поняли, что это всего лишь розыгрыш? – Лешка продолжает всматриваться в экран телевизора, где вздрагивающая в руках идущего Шахова видеокамера снимает веселое фольклорное действие.

– Не-а, – отрицательно качает головой Мишка. – До самого того момента, как мы тебя на мельнице нашли, они думали, что это всё на самом деле. Может, они объясняли увиденное тем, что у нас ум за разум зашел из-за цыганской порчи.

– Удивительный, конечно, феномен. Зато посвящение вышло сногшибательным! – Лешка засобирался-таки домой.

– Да, любопытное посвящение. Жаль только, что Сашка и Эля всех наших трудов совсем не оценили, разобиделись на всех и в экспедицию больше ни ногой.

– Каждому свое, – пожал плечами Стариков. – Значит, экспедиционная жизнь не для них. А посвящение этого года мы с тобой еще обсудим, Мишка. Пооригинальней что-нибудь сбацаем, но без катастрофических последствий.

Сланцев пожал ему на прощание руку, и в следующий раз они уже увиделись в другой реальности: до экспедиции оставались считанные дни.

## Часть 2. Во время оно

### Глава 1. Ведьмины штучки

– Ничего, сынок, такого не слышала и не знаю. Старая уж стала, совсем мозги-те не соображают. Меня же прошлой зимой, знаешь, как шибануло? Как же его? Мозги-то когда отмирают... Ась? Инсульт, да-да, инсульт. Вот точно. Дюльдюкнуло меня так, что я на полу полдня провалялась, ладно соседка пришла, подняла, – старушка в четвертый раз заводила эту пластинку про инсульт, и Лешка понял, что пора сворачивать штатив и выключать диктофон.

А ведь он бежал сюда окрыленный, как молодой бог. Да еще бы! Что в Астрадамовке, что в Чеботаевке – все, как один, говорили, что вот эта самая бабушка и оборачивается до сих пор.

– И свиньей становится, и лошадьё. Мне вон Колька Борцов самолично рассказывал: лет семь, что ль, назад шел он ночью с этой, с остановки – ну, со школы-то, школа у нас через дорогу, видал? Вот идет, а навстречу свинья хрючит и хрючит, хрючит и хрючит. Ну что ты будешь делать? Откуда тут ночью свинья? Он как матюгнётся на неё, а она – вот те истинный крест – говорит ему в ответ: «Чего, бл..., матюгаешься, Колька?». И побежала. Вот это она, она – Астрадамовская самая, Гулькой, что ль, ее кличут или Кулькой, Акулиной? Она вот ровесница моя, – вот такой текст буквально вчера удалось записать в соседней Чеботаевке.

Да и здесь, в Астрадамовке, все на нее кивали: мол, перекидывается, знаем, видали. Двенадцать ножей в сарае ставит и – кувырк – спиной вперед. И свинья выходит.

Случай и впрямь уникальный, так как обычно все подобные рассказы относили в отдаленное прошлое или же говорили только о тех, кто уже умер. А тут – живой, понимаешь, оборотень! Лешка и наострил с утра лыжи, проследив, чтобы за ним никто не увязался – особенно рыжий Юрка, который уж не раз напрашивался позасиживать со Стариковым в паре. Не дождется!

И тут такой облом – не знаю, не ведаю, инсульт, одним словом. В бесконечных пластинках про болезнь только и меняются, что синонимы к слову «ударил»: инсульт шибанул, шарахнул, дюльдюкнул, припахал, шваркнул и т.п.

Понятно, что Лешка не в первый раз в экспедиции – спрашивать в лоб о таком немислимо. Мол: «А не переворачиваетесь ли вы, любезная Акулина Сергеевна, по ночам? И когда это у вас, простите, в последний раз приключилось? Ах, да что вы говорите!? А ножи-то в сарае под соломкой изволите хранить?» – и всё в том же духе.

Он пытался расспросить и о праздниках, и о свадьбе (это для Шахова, который на традиционной свадьбе собаку съел), и вообще – о жизни бывалошной. Но в ответ – лишь пластинка про инсульт. Прокалявав еще минут пятнадцать, Стариков раскланялся, пожелал здоровья бабушке и печально побрел в сторону местной школы. Именно в школах – по очень давней традиции – обычно и базировались все участники экспедиции.

Серенькое двухэтажное здание встретило его тремя истертыми до арматуры бетонными ступеньками крыльца. На стенах коридора, покрытых слоем светло-синей краски, то тут, то там попадались нарисованные слонята и утята, которые напомнили Старикову о мультфильмах из советского детства. Особенно неведомому декоратору приглянулись герои из «38 попугаев»: мультяшный питон, больше похожий на изуродованный тяжелой работой палец сельского труженика, склонял свою нелепо-смешную голову прямо над дверью кабинета истории.

Уже в первый же вечер экспедиционной жизни Леша совсем перестал замечать встречавшую его перед дверью змеиную голову с добрыми, почти мамиными глазами.

\*\*\*

– Алексей Михайлович, там к вам пришли! – на пороге их класса стояла первокурсница Ольга Водлакова с мокрыми руками – явно что-то съестное творилось в столовой.

– Кто пришел? – Стариков снял наушники и уставился на студентку. – Меня здесь никто еще толком не знает. Второй день пошел экспедиции.

– Не знаю, девушка какая-то.

– Девушка? – Юрка присвистнул. – Да вы, уважаемый Михайлович, делаете успехи. Тебе, кстати, Оль, на кухне мужская грубая сила не нужна? Могу картошку почистить, могу мусор вынести.

– Это чуть позже можно. Сейчас пока не надо, Юра, – зарделась Водлакова и вышла. За ней следом пошел и Стариков.

– Видал? – спросил Котерев лежавшего на спальнике Мишку: поэт пребывал в полусонном послеобеденном состоянии. – Лешка обретает популярность среди женского населения. А меня даже картошку не попросят почистить.

– Начистишься еще, подожди, – зевнул Сланцев и перевернулся на другой бок. – Ты лучше посмотри: из окна нашего класса не видать, что это за девица к Старикову пожаловала?

Леша спустился на первый этаж и сначала высунул голову в парадную дверь: на крыльце вроде никого. Тогда он направился к запасному выходу, откуда можно было попасть на школьный участок и – по тропке – в отдельно стоящее деревянное сооружение – туалет а ля рус.

На лавочке перед забором, опоясывающем школьный огород, сидела девушка в желтой яркой футболке и джинсовых шортиках. Футболка, скорее всего, называлась «топиком» и оставляла соблазнительную полоску пупка шириной сантиметров десять. Шорты были так коротки, что едва замечались на ее длинных ногах. Рядом с ней в траве возилось что-то маленькое и юркое – ребенок лет трех-четырёх.

Девушка подняла голову, и Стариков, как пишут в плохих романах второй половины XX века, буквально остолбенел: перед ним, чуть покачивая ногами, одетыми в китайские шлепанцы, сидела студентка Любовь Чирикова!

«И тут ведь достала, зараза!» – Лешка просто не успел вовремя остановить эту мысль, и ему пришлось смириться с тем, что он все-таки ее подумал. Удивление было так велико, что он стоял и пялился на нее секунд десять.

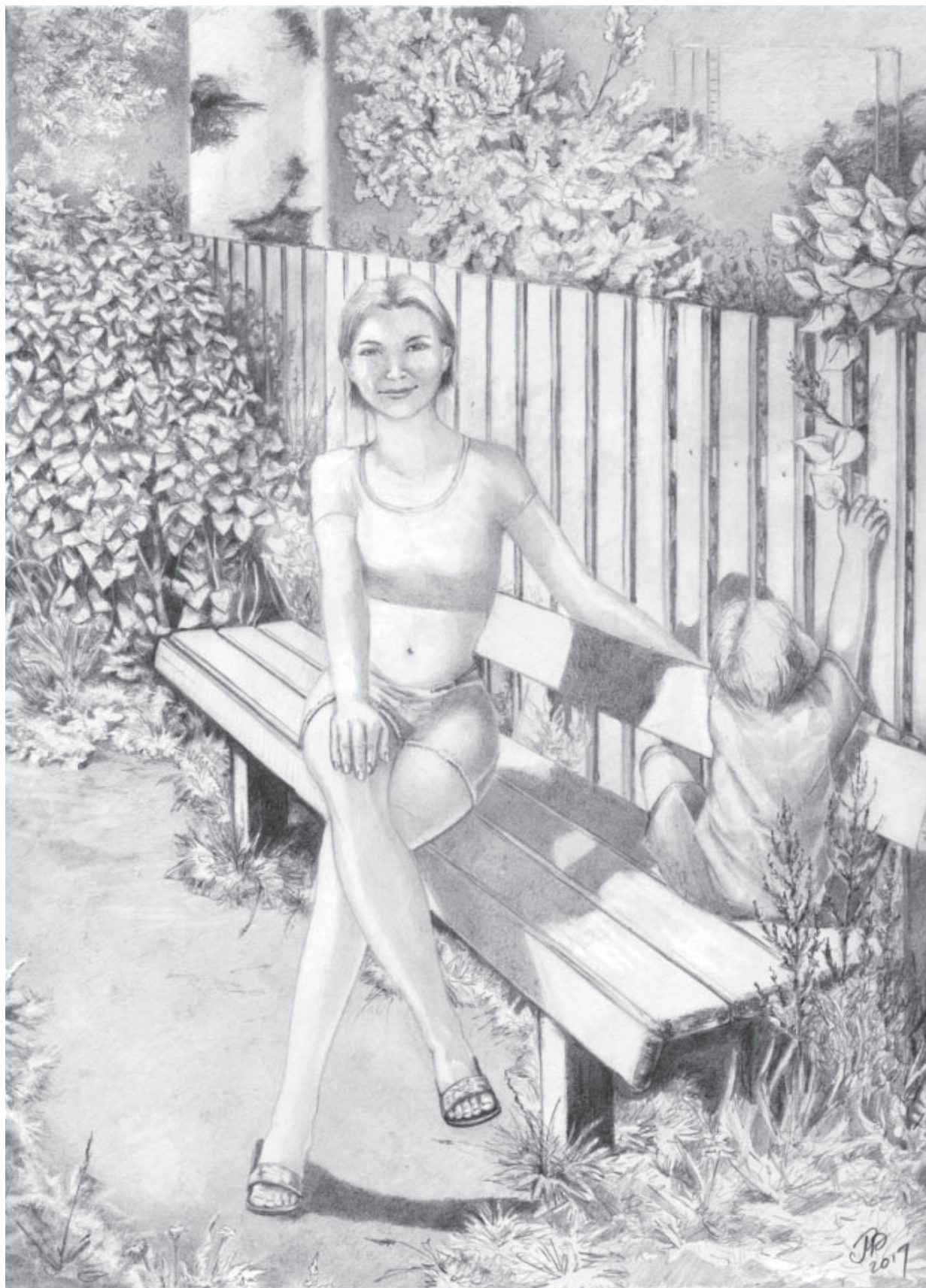
– Здра-авствуйте, Алексей Михайлович! – протянула Чирикова и хлопнула ресницами. Два раза.

– Привет... ствую, Люба. Какими судьбами?

– Вот и я вас как раз об этом хотела спросить. Неужто вы сейчас в экспедиции, о которой так много нам рассказывали на лекциях? – (читай: «И всех уже достали своими рассказами!»). – И это в нашей-то глухомани...

– Вашей? – Стариков не знал, куда деть руки, как школьник на экзамене.

– Ну как же: у меня тут полсела родственников. Вот приехала на лето, у тетки двоюродной живу. А это – сынок ее дочери, Никита, – еще несколько хлопков ресницами.



– А-а, – протянул Лешка и стал мучительно соображать, что бы еще добавить к сказанному.

– Пройдемся? – Чирикова встала со скамейки. – До школьного поворота не проводите меня?

Стариков вскинул брови и предложил палец Никитке, но тот отодвинулся от его протянутой руки.

– Он у нас к чужим не больно идет. Пойдем, Никитос!

Девушка взяла ладошку мальчика, Лешка поплелся за ней с другого бока.

– Ну и как? Нашли что-нибудь интересное?

– Да по-всякому, – неохотно промямлил молодой лектор: он не хотел даже самому себе признаваться в страшном – в том, что уже прошло полтора экспедиционных дня, а пока – ни одной запоминающейся встречи! Даже тексты все какие-то неполноценно-ущербные. Да что происходит? Скажите на милость!?

– По-всякому? Ну, лады. А вы, разрешите узнать, до какого числа в Астрадамовке-то жить будете? – хлопок ресницами.

– До пятого. Еще недели две здесь проживем. Но мы не только в Астрадамовке – и в соседних селах тоже поработаем.

– Ага, – сказала Любовь; они как раз дошли до школьного поворота. – Я ведь зачем пришла, Алексей Михайлович. У меня к вам будет большая-пребольшая просьба.

Стариков вздрогнул. Неужели опять эти таинственные колебания окружающего пространства по бокам? Нет, показалось, наверное.

– Да? Слушаю, Люба.

– Вы сегодня заходили к моей бабушке, – Лешка остановился от неожиданности. – Она мне описала вашу внешность, я сразу поняла, кто приходил. У нее был инсульт, она вам говорила, конечно.

– Да-а, – протянул Стариков, бессознательно настроившись на что-то плохое.

– Когда к ней приходят чужие, она, знаете ли, переживает, и всё такое...

– Так я больше к ней и не собираюсь, – заспешил Лешка, всё еще надеясь на благополучный исход встречи с Чириковой.

– Да, не собираетесь. Всё правильно. Но моя просьба не про это. Вы не могли бы... вообще не ходить на Озерную? И остальным вашим про то же сказать.

– Это как? – опешил фольклорист. – Что значит «не ходить»?

– Да так. Я же говорю: в Астрадамовке у меня полно родственников. Вы тут приехали, ничего и никого не знаете. Ходите по домам. Вы думаете это всем приятно? – Любовь чуть-чуть одернула топик вниз и улыбнулась Никитосу.

– Да... ничего я не думаю. Мы же не врываемся в дома... Бабушки с удовольствием беседуют...

– У нас тут дураков нет, все отлично поняли, чем вы тут занимаетесь, – перебила его студентка. – Я уже всем рассказала про это и спросила бабушек – по крайней мере, Озерную я обошла всю – они все, слышите, не хотят, чтобы вы к ним приходили! – в голосе Любы появилась те самые холодные нотки издёвки, которые он так хорошо научился улавливать на занятиях в университете.

– Послушайте, Люба. Я не знаю, что вы там им сказали. У нас не поездка выходного дня, а научная экспедиция! Я лично езжу по селам шестнадцатый год, и еще ни разу до этого самого момента...

– До этого самого момента, – эхом отозвалась Чирикова. – Вот в Астрадамовке у вас, видите ли, в первый раз неудача...

– Какая неудача!? – Стариков ощутил, как из самых глубин его существа начинает подниматься раздражение и злость невероятной силы. Его пытались ударить в самое нутро жизненных интересов, да что там пытались – уже ударили! И кто? Какая-то...

– В общем, я вас предупредила, Алексей Михайлович. Всего хорошего! – и, качнув шортиками, Люба пошла прочь, ведя за собой четырехлетнего Никитоса, отказавшегося подать Леше руку.

Стариков, бледный и злой, с минуту сверлил ее ярко-желтую спину, затем развернулся так, что пыль и мелкие камушки полетели в сторону из-под подошв кроссовок. Он вошел в класс подавленный и молча лег на спальник рядом со Сланцевым.

– Ты чего такой? – спросил Мишка. Леша не ответил.

– А ничего корма у этой – в желтеньком. Приличная такая корма! – сказал рыжий, который сидел на парте рядом с ноутбуком Старикова.

– Какая... корма? – выдавил из себя Лешка. Он почти не слышал окружающих.

– Да у девицы твоей, которая с ребеночком к тебе заявила. Корма в джинсовых шортиках, – ответил Юрка. – Это же надо, до чего девушки дошли: ничего не скрывают, сразу с детьми приходят, чтобы всё, так сказать, открыто и честно!

– А-а, – протянул рассеянно Лешка. – Корма-то, может, и ничего, но вот с головой... не всё в порядке.

– А чего она приходила-то? – спросил Мишка, зевая. – Дело пытается или на свиданку?

– Да ничего, так, – махнул рукой Стариков. – Знакомая одна. Думаю, что больше не придет.

– Ага, – Сланцев сладко потянулся и встал. – Тады лады. Курить пойдешь? Нет? Ну, ладно. Мы с Юркой сходим разведаем, что на ужин, а потом – на запись в село. А ты?

Стариков промолчал.

\*\*\*

Ужинали весело. Толька Тонков взял с собой большую часть «Городца» – пять душевно поющих дам в возрасте от 25 лет и старше. Он водил всю эту дружную толпу на запись вместе, вместе они садились за стол, вместе и вставали, а главное – вечерами после застолья репетировали. И голоса их – молодые, красивые, схватившие самую суть народной песни – пели не абы что, не общерусский псевдофольклор, а именно то, что записывали раньше в поездках по Ульяновской области. Кажется, не было в экспедиции такого человека, который оставался бы равнодушным к их вечерним спевкам.

«Городец» занимал левую ветку столов, составленных буквой «П». Правую облюбовали девчонки-старички: маленькая Танька Родина, цыганистая Юлька Дождина, неизменный завхоз Ташка Белорукова; к ним примыкала и стеснительная первокурсница Ольга Водлакова.

Верхушку «П» занимали мужики во главе с ИП, а где-то по углам – то к одному краю, то к другому – пристраивался молчаливый новичок Паша Трошин. Он вежливо помогал завхозу наливать чай, внимательно вслушивался в разговоры старичков и, поправляя очки, делал про себя какие-то выводы. Стариков не знал, какие, да и ему сейчас было не до этого: разговор с Чириковой всё мозолил ему воображение и не давал покоя.

– И что это за порядки такие: даже добавки не дают! – проворчал Котерев, присаживаясь на свое законное место за столом (про законность столовых мест знаток древнеримской морали Сланцев



выразился так: «Сие есть аккубитус<sup>4</sup> каждого». Что это всё значит, он не уточнил, но словечко «аккубитус» приобрело популярность).

– А у нас так принято! – с вызовом ответила завхоз и выпрямила широкую спину. – Кто хочет добавки – сам пусть себе отдельно покупает и готовит.

Шахов мельком взглянул на Ташку, но ничего не сказал. Юрка улыбнулся во все 32 и принялся уплетать чай с печеньями. Белорукова хищно следила за каждым его движением.

– Второй день подошел к завершению, – как бы между прочим заметил ИП. – У некоторых уже скопились записи, первокурсники могли бы завтра с утра порасшифровывать немного. Почти у всех есть свои темы, тут никого подгонять не надо. Однако я напоминаю, что есть универсальные вопросы, которые нужно спрашивать у всех информантов: есть ли гармонисты-балаечники, кто наряжался на свадьбу или читает сейчас на поминках.

Шахов помолчал немного, а затем вдруг повернулся к Старикову и спросил:

– Я, кстати, Леш только от тебя этих сведений еще не получил. Что-то не узнаю тебя... Ты вообще работаешь или как?

Лешка не сразу понял, что ИП обращается к нему: он привык, что когда Шахов говорит громко, обычно его речь была адресована всем, но уж точно не ему – аксакалу экспедиций, работающему автономно и...

– Леш, ты где потерялся? – Мишка толкнул его в бок. Стариков обвел глазами притихший стол, посмотрел на Ивана Петровича и попросил повторить вопрос.

– Да я вот всё про обычные сведения, которые мы спрашиваем у всех рассказчиков, – ИП подлил себе чаю и внимательно посмотрел в глаза Лешке. – Почему ты этим не интересуешься?

– Поинтересуюсь. Успею еще. Пока не до этого, Иван Петрович, – пожал плечами Стариков, вдруг снова ощутив накатившее раздражение.

– Ну-ну. Вон Юра вместе с Олей Водлаковой – совсем новички, а им времени хватило на это. Уж ты бы мог уделить пару минут беседы для такой мелочи. Хотя бы для меня – про второй-то день свадьбы? Ты же знаешь, как для меня это важно, – Шахов говорил

---

<sup>4</sup> Accubitus (лат.) – место за столом.

непринужденно, без всякой задней мысли и подводных двусмысленных течений, однако Стариков уже завелся. Сравнение с рыжим его особенно доконало.

– Завтра обязательно только про это и буду спрашивать, Иван Петрович! Весь день посвящу и ночь! – Лешка стремительно вылез из-за стола, оставив недопитый чай, и ушел, хлопнув дверью столовой. За ним следовала по пятам мертвая тишина.

– А без добавки все-таки скучновато! – сказал через некоторое время Котерев. Родина повернулась в его сторону и, увидев квадратную рыжую голову, не сдержалась, захихикала в кулачок и этим разрядила обстановку. Минут через двадцать лежавший в темноте на своем спальнике Стариков услышал протяжно-весёлый распев «Городца», доносящийся из школьной столовой: «По бе-ережку, по бе-ережку, по бережку по крутому идет девка-семилетка...». Сердце его заныло, затосковало, и впервые в жизни ему захотелось уехать из экспедиции в самом ее начале.

## Глава 2. Ода Хабблу

Женщина сидела в полутемной комнате, покачивая зыбку, покрытую сверху белым одеяльцем. При каждом ее движении слегка поскрипывал крюк в матице, за который были зацеплены веревки, поддерживающие люльку. В переднем углу у икон теплились две свечки. Лешка тихонько надавил педали на своем трехколесном и подкатил к самым ногам женщины.

Она улыбнулась и быстро поднесла к своим губам указательный палец: мол, тихо, а то разбудишь.

– Ты что же, Валька, всё не идешь ко мне? Я тебя жду-жду... – прошептала сидевшая рядом с зыбкой.

– Я не Валька, меня Лешой зовут, – так же шепотом ответил он, чуть привстав со своего велосипедного сидения: ему до смерти захотелось увидеть, кто же там лежит в люльке.

– Так это не важно. Ты всё равно приходи. Я заждалась уж: рассказать-то мне надо, душу отвести надо...

Стариков не смог разглядеть лица ребенка, но знал, что он точно там – по едва слышному, теплому дыханию.

– А как же я найду вас? – Лешке и впрямь очень нужно к ней, он это знал.

– Так тетя Марину Рядову спросишь, тебе и подскажут...

Что-то зашуршало совсем рядом, Лешка вздрогнул, открыл глаза и увидел синеватый свет.

– Он спит уж. Пашк, ты подсвети немного, я обувь уберу с прохода! – у порога стояли Мишка и Трошин, державший в руках тускло светивший смартфон. Затем он услышал голос Котерева из коридора:

– Чё, курить сходим или сразу спать?

– Давай спать. Да смотри потихоньку: не разбуди Старикова, он злой сегодня, может и убить, – велел Сланцев и первым направился к своему спальнику.

– Да уж, с ним связываться сейчас не стоит, – подтвердил Юрка и, наткнувшись в темноте на футляр от Тонковской гармонии, чуть не растянулся на полу. – Черт дери всех музыкантов. Раскидали тут, понимаешь!

Мишка на него зашикал. Понемногу всё успокоилось, и скоро со стороны Котерева раздался басовитый храп. Затем к нему добавилось ровное чуть с присвистом дыхание Сланцева, а тихого Трошина не было слышно даже во сне. Стариков подождал еще минут пять, затем осторожно поднялся, нащупал свои кроссовки и, взяв их в руки, вышел из класса. Там он зашнуровался и спустился на первый этаж к выходу из школы.

Черное, вывездившее, совсем негородское небо опрокинулось на него, как только он вышел на задний двор школы. Лешка опустился на лавочку, где днем сидела девушка в ярко-желтом топике, и, подняв вверх голову, прислонил ее затылком к забору. Звезды в большом ковше покоились на привычных местах; совсем низко, почти у самых верхушек школьных деревьев висело еще одно небольшое голубоватое пульсирующее светило.

«Скорее всего, планета», – подумал Стариков, и тут небо прочертила быстрая небесная спичка. Затем еще одна. Лешка вдыхал полной грудью ночной сельский воздух, и постепенно в голове прояснялось. Он еще раз запрокинул голову и увидел небольшой огненный шар, неспешно подымавшийся с той стороны, где находилось местное кладбище, а затем юркнувший куда-то в сторону сельских улиц.

– А ведь это один в один как описывают явление летуна! – прищурив глаза, сказал сам себе фольклорист и неожиданно подскочил с лавочки, будто его ужалил заблудившийся ночной шершень.

– Так это и есть летун – огненный змей, который приходит к тем, кто тоскует по умершим! А кто же это еще? Ну ведь именно так его и описывают! Эх, а видеокамера, как всегда – в классе валяется!.. – Лешка сплюнул с досады и опять уселся на лавку, чтобы следить за звездами.

*– Галактики, созвездия, плеяды  
и звезд неисчислимых мириады.*

*О сколько их, невидимых, нездешних,  
мерцающих в холодной тьме кромешной,* – процитировал Мишкин голос откуда-то сбоку.

– Незаметно как ты подкрался, – сказал в ответ Лешка, не отрывая взгляда от Большой Медведицы. – Чьи вирши?

– Прижизненного классика. Я из парадного крыльца вышел, стал ходить вокруг школы, тебя искать. Вот и обнаружил.

– Ага. Садись рядом. Можешь верить – можешь плевать, но я только что летуна узрел. Сподобился.

– Кто чем занимается – на то и натывается, – выдал афоризм поэт.

Затем они помолчали. Сверчки, отдаленный лай разбуженной кем-то собаки, одинокий, почти неразличимый шум двигателя автомобиля, промчавшегося по сельской центральной улице... Для утомленного городского уха тишина представлялась вязкой, ее можно было черпать ложкой, как мед.

– Про Шахова – ни слова! – предупредил Стариков.

– Да я и не хотел. Ваши с ним проблемы, сами и разбирайтесь. А среагировал ты все равно не слишком красиво.

– Согласен, – вздохнул Лешка. Снова помолчали.

– Мишка, у тебя больше было экспедиций. Ты вот скажи: случилось ли такое, что жители – целая улица – отказались бы беседовать? Наотрез.

– Что за ерунда? – забеспокоился Сланцев. – Не было такого никогда. И чего тебе вдруг в голову взбрело?

– Да так, – попробовал увильнуть Стариков.

– Э-э, нет. Сказал «а» и про «ю» не забывай. Говори, а то пытаться начну.

– Ну эта. Корма у которой, как Юрка выразился, – помнишь, приходила?

– Ну?

– Это студентка моя... – и молодой препод в общих чертах описал другу свои злоключения.



– Ёшки-матрёшки! – присвистнул поэт. – Да это же сюжет для драмы в трех действиях с эпилогом и открытым финалом! Что делать-то будешь?

– Да хрен знает. Ничего. Смотри Шахову не проговорись, да и всем остальным – тоже. Незачем им знать, сам разберусь. А на Озерную я в первую очередь наведуясь. Уже завтра с утра пойду – попробую понять, что там про нас ведьма Люба наболтала.

– Подлинно ведьма! – согласился Сланцев. – Видишь, и на бабушку ее все грешат, что она оборотень.

– Ага, – Лешка опять посмотрел на звезды, вдохнул ночную прохладу, и ему стало совсем легко. Вот всегда так: выскажешь кому-нибудь о наболевшем – и уже жизнь другой кажется. Хорошо, что Мишка проснулся и его нашел.

– Какой ты там стих про звезды-то читал? Про мириады?

– Это я снимки с «Хаббла» посмотрелся: галактики, скопления звездные. Мне эти телескопные фотки всегда живую ткань под микроскопом напоминают – там, знаешь, нервные клетки, кровеносные сосуды, митохондрии всякие. Вот и стихотворение родилось.

– Ну, не томи. Чего там дальше-то по тексту?

*– «Вне доступа и разуму, и глазу,  
лишь телескопу, да и то – не сразу.*

*Их непонятный, их извечный свет  
уже разбрызган миллиарды лет.*

*А ты на всё взираешь с той песчинки –  
Земли, где обувь сдал в починку.*

*А вот ты в ожидании аванса,  
вот – на работе с кем-то поругался.*

*А вот опять, опять беда с желудком...*

*Но правда в том, и это, знаешь, жутко,  
что некогда взглядеться в круговерть  
светил небесных.*

– Видишь?

– *Охренеть...»* – Мишка закашлялся. – Тьфу, мошка какая-то в рот попала. И комары какие-то тут едучие. Пошли спать, а?

– Охренеть, – согласно повторил Лешка последнюю строчку Сланцевского шедевра, и они, посетив на прощание деревянное сооружение а ля рус, приобшились к спальникам.

## Глава 3. Баба Поля: прикосновение первое

Сначала он попал к тете Кате Бариновой. Та пересказала несколько сновидений, упомянула про Ерошкина – известного предсказателя из Большого Кувая (до этого села от Астрадамовки сподручнее ехать на машине: там больше десяти километров).

– Да, кстати, вам бы к бабе Поле сходить, она, кажись, ему, Ерошкину-то, племянницей доводится. И вообще – человек она интересный!

Дорогой тетя Катя наставляла фольклориста:

– Она уж старенькая совсем, завираться начала, чудится ей всякое, но бабулька любопытная – много вам чего понараскажет. Она и лечит ведь: я уж не знаю, какое у нее там лечение, самой не приходилось, но ездят к ней многие – видать, помощь есть.

Деревянная избушка была разделена на две автономные половины. В одной жила нелюдимая Вера Тонкова, к которой Баринова отсоветовала ходить, в другой – баба Полина.

Уже на пороге провожатая добавила:

– И ведь лечит она всё с помощью какой-то Анны Златоуст – я о такой святой-то и не слыхивала. Вот она ей молится – и будто помогает. Ну, это вы сами у нее поинтересуйтесь, она вам всё досконально расскажет.

Баринова громко постучала в дверь и, подождав секунды три для приличия, подняла щеколду и распахнула входную дверь. Баба Полина сидела возле печки в зале и повернулась в сторону гостей.

– Вот, тетя Поль, молодого человека тебе привела – религиозным больно интересуется. Покалякаешь с ним?

Маленькая старушка заулыбалась и закивала:

– О Боге беседовать? Мне такого и надо. Заходи-заходи в избу, сынок, я щас тебе иконки свои покажу. Как звать-то? Лёшенька? Всё расскажу тебе, всё узнаешь.

– Ну вот и хорошо. А я, тетя Поль, побежала, мне некогда. Ты уж человека уважь – из города все-таки приехал!

Баринова не успела выйти, а баба Поля уже засемила в зал за иконами.

– Да я, баб Поль, не больно иконами-то – мне бы просто побеседовать...

– Одно другому не мешат, не мешат. Сядь да погляди, полюбуйся... – она вышла, с торжественностью неся в руках две иконы, одна из которых сразу зацепила внимание фольклориста. Оба изображения представляли собой не столько иконы, сколько дешевые бумажные репродукции. Первая – Спас нерукотворный, вторая – почти лубочная картина, на которой Адам и Ева, стыдливо прикрытые где ладонью, где листком, смотрели куда-то в сторону – наверное, тоскуя по наглухо закрытым райским вратам.

– Вот, Лёшенька, будешь их фотографировать? Это Иисус Христос, Господь наш, а это – Аннушка Златоуст с мужем. Она, вишь, потом овдовела, как я, и всем-всем людям помогала, никогда не воровала, не врала. Я ведь тоже: в кельях когда сидели, чего только туда не тащили – и огурцы, и дрова, а я ни-ни, никогда чужого не брала.

Леша кивал и с удовольствием прислушивался к бабушкиному «оканью». Он уже включил диктофон и пристраивал поудобнее штатив с видеокамерой.

– Вот эту бы икону-ту с Иисусом надо в церкву отдать – она ценна больно. А Златоуста-то – я без нее никуда, она у меня первая помощница. Но вообще-то, сынок, я в церкву и не хожу – у нас батюшка молодой. А попы-то, сколько их ни есть на свете, – они все артисты...

– Это почему так, баб Поль? – искренне удивился Стариков, который и без того очень заинтересовался новоявленной бабкиной святой. Уже тогда ему пришло в голову, что Анна Златоуст – это, скорее всего, на слух воспринятое имя известного «отца церкви» Иоанна Златоуста.

– Почему артисты оне? Щас расскажу, я тебе всю жизнь распишу свою, знай только слушай. Я ведь, сынок, в Орске у регента в церкви пела. Меня отец к нему привел, регент говорит: «Ну-ка запой: “Христос воскрес из мертвых...”». Я спела, а голосок-то у меня ничего был. Ну и всё – взяли. Вот я в церкви-то всему научилась, нахваталась от батюшковых. Да и насмотрелась всего: оне все артисты, сынок, ты уж так и знай. Мне врать нечего.

И дальше снова начало происходить что-то непонятное: Лешка спрашивал и о сновидениях, и о Ерошкине, коснулся своих обычных тем – о летунах, приходящих мертвецах и оборотнях. Баба Полина вроде бы отвечала на его вопросы и – Стариков хорошо чувствовал



это (экспедиционный опыт не пропьешь!) – хотела с ним беседовать, стосковалась по собеседнику, но что-то не клеилось, что-то не входило в ту привычную колею, когда речь информанта течет, как ручеек, душа человека сама собой раскрывается. Бабушка нет-нет и вновь вспоминала почему-то про регента, как она пела в церкви и что все батюшки – «оне артисты». Почему она так считала – Лешка никак не мог понять. Но ассоциация с пластинкой про insult была слишком очевидной.

«Точно ведьма эта Чирикова! Прокляла всю Озерную – так, что бабушки циклиться начинают. Да что же это такое!?».

Проговорив всего лишь час (Стариков, привыкший к многочасовым беседам, расценивал это как очередное поражение), Лешка побрел в сторону школы. Обедал он в таком сумрачном настроении, что даже веселые дамы из «Городца» притихли и перешептывались, глядя на него.

Поклевав немного макарон с тушенкой, Лешка поплелся в класс и решил затуманить плохое настроение послеобеденной дремой. И проспал почти два с половиной часа. Разбудил его победоносный смех Котерева, завалившегося под ручкой со своей напарницей Ольгой Водлаковой. Вслед за ними в класс зашел и Сланцев.

– Как мы здорово потрудились, Мишка! – громыхал рыжий, обращаясь, как обычно, исключительно к поэту, но адресуя свою речь всем. – Заглянули к одной бабушке замечательной, на Озерной живет. А она говорит: «Ой, детки, я ведь только что калякала с кем-то из ваших – в очках такой. Вы бы лучше мне дрова под навес перетаскали, а то дожди заладят – заплесневеют у меня». Я как взялся – так за два часа управился. И ведь какое чудо, чудо произошло!

С этими словами он развернулся и счастливыми глазами посмотрел на Старикова.

– Постой, – перебил его хмурый со сна Лешка. – Так ты у какой бабушки был – у Полины Павловны, что ли?

– Точно так, уважаемый Михайлович! – снова загрохотал рыжий. – Ты ушел, а мы к ней и заглянули – вот с Оленькой.

Водлакова зарделась.

– А какое чудо-то? – лениво поинтересовался поэт: он не совершил своего обычного послеобеденного моциона и напоминал кота, переевшего сметаны.

– Во-от. Это самое главное, Мишка! Кидаю, значит, я дрова – ну, складываю у нее аккуратненько там под навес – поленушко к поленушку, а Оленька-то мне всё песенки поет душевные: она петь-то, оказывается мастерица. А с «Городцом» вон стесняется по вечерам-то. А тут и «Ой, то не вечер», и из репертуара БГ...

– Да какое чудо-то? – перебил его нетерпеливый Стариков.

– Ага. Вот и до чуда добираемся. Перекидал я только половину ее поленицы, и вдруг – вот те нате, хрен в томате – собрались тучки, и начал дождь накрапывать. Прямо порядочный. А бабушка-то как в окно увидела это, приковыляла, запричитала, заохала. «Ой, говорит, сынонька ты мой, ведь помешает тебе дождичек!». Позвала она Оленьку, оперлась на ее плечо, меня-то подвинула под навес, а сама – бух на коленки. И давай кресты класть и молиться в голос. Как там она, Оль?

– Аннушке Златоуст – какой-то святой молилась, – снова чуть покраснела Водлакова.

– О! Точняк. Златоуст. И просит: «Аннушка, разгони тучки, дай рабу Божьему Юрочке работу закончить!». И что ты думаешь, Мишка? Тучи вот ровно кто ножом – как по маслу – разрезает, и оттуда солнечные лучи, а потом – радуга! Вот уж чудеса, у меня аж челюсть отпала. Ведь за какие-то три-пять минут сотворилось всё. А затем она опять на Олюшкино плечо оперлась и говорит: «Давай, Юрочка, поднажми, мол!».

– Камеру... На видеокамеру всё это писал? – в волнении прохрипел Лешка.

– Да какая камера – мы, по-моему, даже диктофон-то не включали. Да, Оль? А чё включать-то – не беседуем же, а так – дрова таскаем...

Стариков в ответ протяжно застонал и бросился вон из класса.

– Чегой-то он, Миш? – забеспокоился Юрка. – Съел, может, на обед чего-нибудь не то?

Сланцев сел на спальный, хитро посмотрел на рыжего и Водлакову и сказал: «О, sancta simplicitas!»<sup>5</sup>.

– Ты не ругайся тут, Оля все-таки еще первокурсница, – с тревогой проговорил Котерев.

– Вот что, Юрка, лучше скажи: ты еще к этой Полине Павловне собираешься?

---

<sup>5</sup> О, святая простота (лат.).

– Да ну не знай. Звала вроде... Точно! Пирожки обещала сделать к завтрашнему. Да и телек у нее барахлит, я бы посмотрел, чего там с ним. Сегодня руки просто не дошли.

– Отлично, – Сланцев, зевая, откинулся на спальник. – Вот тебе моя рекомендация: скажи за ужином Старикову, что к бабе Поле опять хочешь пойти.

– Это зачем?

– Ты же хотел посмотреть, как он бабушек про нечисть всякую расспрашивает?

– Ну да. Очень даже.

– Вот скажи ему, что на пирожки пойдешь. А я спать – с полчасика. У меня на вечер грандиозный дед намечается – самогонщик от Господа Бога. Мне надо сил набираться.

## Глава 4. Самогонный джедай

Стариков нехотя плелся со штативом на плече за бойко перебирающим ногами Сланцевым.

– Ну, взбодрись-взбодрись, чемпион по фольклористике, я тебя сейчас с таким дедом познакомлю – всю твою порчу и дурное настроение, как рукой, снимет! – увещевал Мишка друга.

– С чегой-то ты взял, что у меня порча? – встрепенулся Лешка. Воспоминания о недобром взгляде студентки Любы, словно новая порция соли, легли на его коммуникативную рану, полученную сегодня во время беседы с бабой Полей.

– Да на тебя любой посмотрит и скажет, что ты испорченный. А уж фольклористы со стажем так сразу святой водой с «Богородицей» начнут умывать. А дед Юра – так это же просто склад хорошего настроения и рецептов святой воды, то бишь самогона. Развеешься – завтра, как новый, будешь. Я гарантирую. Или ты о потерянном времени уже сожалеешь?

– Сожалею, Мишка, – признался Стариков. – Ведь третий день экспедиции заканчивается.

– Молчи. Темпус фугит<sup>6</sup>, как глаголили наши пращуры. Будешь сидеть, на камеру снимать и душой отдыхать. Не всё тебе про нечисть записывать – можно и про святое один раз. Самогон, брат. Спиритус!

---

<sup>6</sup> Tempus fugit (лат.) – «время бежит».

Они дошли фактически до выезда из села – в сторону Аркаева и свернули направо. Домишко деда Юры притулился рядом с высохшим ручьем, по берегам которого в обилии росли деревья – Лешка их в детстве называл «финиками». Многочисленные ветки усыпали небольшие белые ягодки, оставляющие вяжущее ощущение во рту.

– Аппарат у него в предбаннике установлен. Видишь ли, супруга не больно любила это дело – совсем как Катька моя, – продолжал разглагольствовать поэт, поднимая щеколду ворот и заходя во двор, как к себе домой. – Жена-то у него тогó, померла годика три назад, но он традиции самогоноварения сохранил прежние – как при супруге.

Сланцев навевывался к деду Юре уже в третий раз, и Лешке такая трата экспедиционного времени была непонятна. «Поговорил ты с человеком подробно, расспросил обо всём, что тебе надо, – и вперед к следующим информантам. Зачем мучить своими визитами одного и того же человека по сто раз?».

Впрочем, он оправдывал такую методику работы особенностями Сланцевской темы. «Тут самогон, рецептура, изготовление, тут действительно надо несколько раз ходить», – размышлял он, пока Мишка здоровкался с дедом и знакомил его со Стариковым.

– Эхе-хех, молодые люди! – кряхтел Юрий Евгеньевич, оказавшийся, между прочим, бывшим учителем истории местной школы. – Самогон и баня. Вот две вещи совместные! Попарился и принял. И душа твоя, аки горлица, воспрянула горé, и иже херувимы и серафимы! Так на чём, Миш, мы с тобой в прошлый-то раз остановились? Ага. На хмелевых шишечках. Когда и как собирать и как эту самую закваску готовить. Продолжим, господа!

Рука деда нырнула под стол, за который они все втроем уселись, и вытянула масштабнейшую бутылку, полную небесной влаги.

– Это же «четверть»! Самая натуральная «четверть», – простонал Мишка, словно заядлый театрал, узнавший, что в его тьмутаракань вскоре проездом нагрянет самый большой и самый московский театр.

– Точно так, молодой человек, – отрапортовал историк-самогонщик. – Она самая. Итак, Миша, кто о чем – а мы с тобой о шишках хмеля. Собирать их надо в августе – даже ближе к сентябрю, когда вот пыльца там эта не ушла еще. Сушат их, в кипяточке запаривают, отварик делают и мучки туда, мучки. Вот опять высушишь – и

пользуешь их, как дрожжи. Да только куда там до этого до хмеля обычным-то покупным дрожжам! Не сравнить. Дух не тот. Спиритус, Миша, спиритус!

Лешка играл во время беседы весьма необычную для себя роль: молчал и следил за видеокамерой. Разговор умело направлял Сланцев, весь лучащийся оттого, что попал в стихию своей родной темы. И понемногу от всего этого процесса Стариков начал получать странное удовольствие. Во-первых, с великой радостью он отметил про себя, что старик не повторяет одного и того же по сто раз («Проклятие пластинок сломлено! Правда, дед Юра ведь и не на Озерной живет-то...»). Ну, а во-вторых, рассказчик регулярно отвлекался от самогонного нарратива на более привлекательные для Лешки сюжетные ответвления – к примеру, говорил о потрясающих случаях из своей биографии.

– Ведь я, мужики, самого Георгия Константиновича Жукова видел живьем – вот так же близко, как вас. Дело было в Тоцком в 1954 году. Раньше об этом даже упоминать запрещали, а сейчас за давностью лет можно, – бросает как бы между прочим дед, и следит за реакцией собеседников из-под мохнатых бровей: интересно им или так – лучше на другое прыгнуть?

– Как видели? Расскажите! – не удерживается Лешка и тут же оглядывается на Сланцева: не прервал ли он тонко продуманного Мишкой сценария беседы? Но поэт даже и не глядит на спрятавшегося за видеокамерой друга: он увлечен розливом золотистого «аи» по кубкам и готов слушать Юрия Евгеньевича про что угодно – хоть про переезд жены его двоюродного брата из Бугульмы в Чапаевск.

– В Тоцком тогда испытания секретные велись – оружия ядерного. Ага. Дело мудрёное, скажу я вам. Бомбочка размеру была среднего, взорвали ее метров четыреста от поверхности земли. Народу облучилось уйма, я и сам тогда, наверное, дозу получил – не случайно меня в 1980-е года частично парализовало.

Снова – раз! – и взгляд из-под кустистых бровей. Ага! Можно прыгать на следующий этап. Эй, батарея, наливай!

– Мишка, лей полную! Краев не видишь? Или за деда Юру боишься? Не околеет, не боись, с собственного продукта. Я вас еще в бане, мужики, напарю, а? Не откажетесь? Там только воды натащить надо, а дрова-то готовы. Эх! – и разгулявшийся дед взъерошивает Сланцеву поэтическую шевелюру.

– О чем это мы? Ага... Так вы знаете, что тут раньше барыня проживала? – резко меняет тему говорящий. – У нее были двое управляющих и слуги, а имение уж не сохранилось. И я сейчас вам кое-что покажу. Я историк или хрен собачий? Вуаля! – старый самогонщик лезет в свои закрома под неработающим телевизором и выуживает оттуда чудо: три старинных колокольчика.

– У каждого из них – свой звук. Послушайте! – и в одинокой, пропахшей пылью и духотой избе, спрятавшейся от людского взгляда на берегу высохшего ручья, звенит радостной трелью чистый, высокий звук из дворянских времен. Боже, как хорошо! («Как хорошо, что Сланцев меня сюда вытянул! Начинается экспедиция! Вот она, родимая!»). Захмелевшему Лешке хочется расцеловать деда в обе щетинистые щеки, но он сдерживает себя и лишь улыбается его изображению на маленьком экранчике видеокамеры.

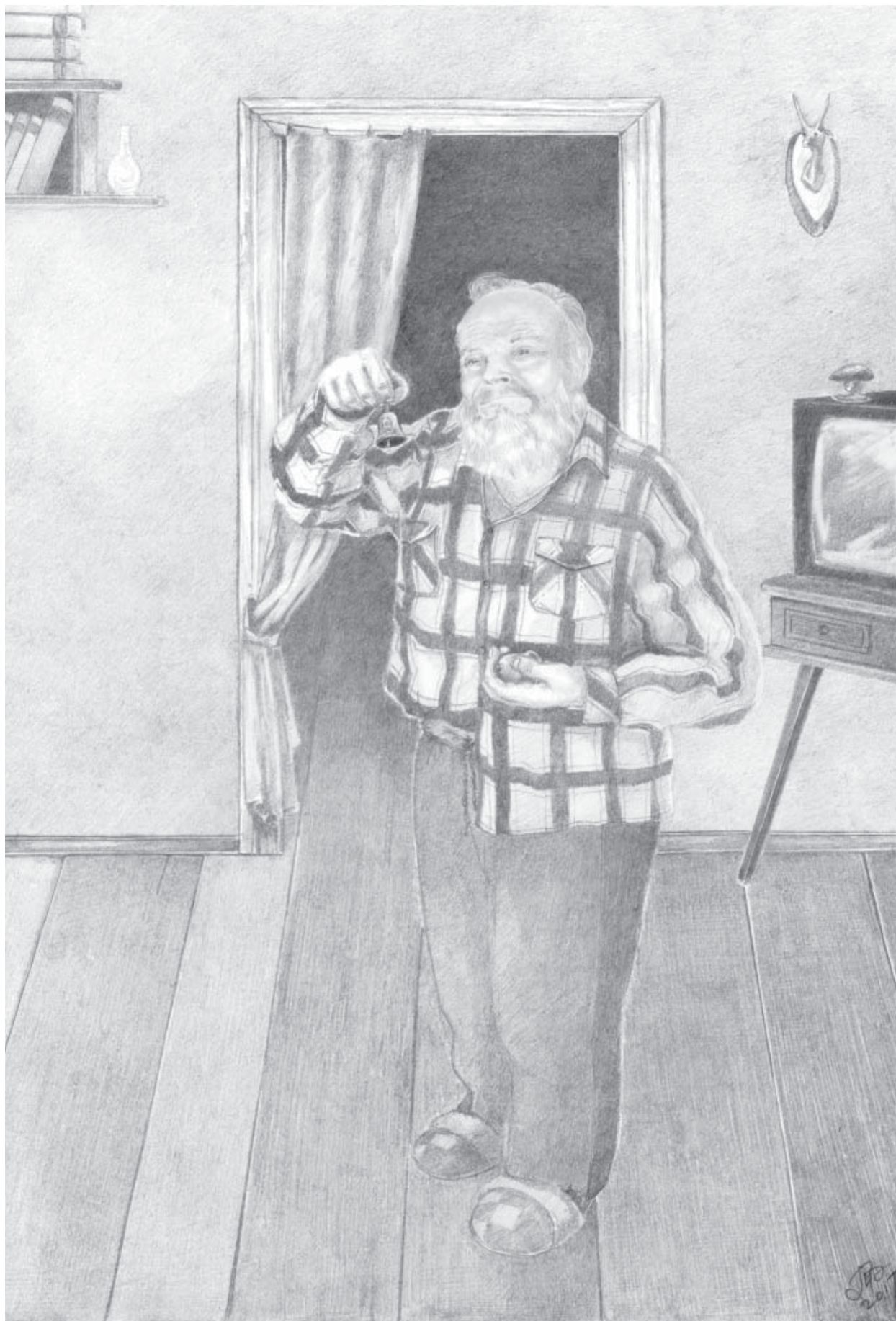
– Вот звук-то у них разный – и слуги с управляющими примечали: ага, если звук потоньше, значит, тебе там, допустим, Васька, бежать надо к барыне. А пониже колокольчик звучит, побасистей – то тебя зовет, Федор там Батькович.

Дед Юра не шутил: заставил друзей натаскать в бак воды и за два часа сотворил шикарную баню – со всеми делами, отдельной экскурсией по предбаннику и демонстрацией самодельного самогонного аппарата шестидесятых годов рождения.

– Ну что, мастер самогоноварения, отвечай: зачем в моем аппарате сия фиговина и из чего она сделана? – спрашивал своего верного падавана бодрый, как ядерный малосольный огурец из дубовой бочки, старик.

– Сия фиговина служит для охлаждения божественной жидкости, а сделана она, – Сланцев пригляделся повнимательнее к одному из элементов странного сооружения, напоминавшего машину времени Герберта Уэллса, – да из стиральной машинки – ну, тех, которые а ля ведро. В них можно было солдатские кирзачи стирать – универсальные машинки, одним словом, как Т-34.

– Точно так, товарищ Сланцев, точно так! – довольная улыбка деда, казалось, одухотворяла весь предбанник и избу, да и всю Астрадамовку. Правда, лоб Старикова на миг раздвоила морщинка: упоминание о солдатских кирзачах навело его на мысль о Будове. («Как он там? Живой, что ли? Надо бы еще раз попробовать ему позвонить – вдруг проявится, дембель отморозенный? Эх, его бы сюда! Вот бы зажили...»).



Когда действие переместилось опять в избу, Юрий Евгеньевич ни с того ни сего вдруг вылез из-за стола, ударил ногой о половицу, развернулся всем корпусом и заголосил – высоким, бабьим голосом:

*«Матка рыжа, батька рыжий,*

*Сам я рыжий, рыжу взял,*

*Вся семейка стала рыжа,*

*Рыжий поп нас повенчал!»* – и пустился приседать и вставать, но тут же крякнул, схватился за спину, и фольклористы бросились ему на выручку: удержали деда от падения, довели до кровати.

– Ничё-ничё! – кряхтел неугомонный старик. – Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»... Так, сержант Сланцев, до кровати сопроводить, деда уложить.

Он зевнул, перекрестил рот, а потом закрыл глаза и захрапел богатырским посвистом на всю избу.

– Однако, – покачал головой Мишка. – Неожиданный поворот сюжета. Чего делать-то будем?

– Одеяло доставай. Дверь закроем, ворота – на щеколду, а сами – в школу. Завтра его проведешь еще разок, – распорядился Стариков.

– Ну как дед? Мировой? – спрашивал на обратном пути Сланцев.

– Угу, – кивал Стариков. – Спасибо тебе, Мишка. Воскресил ты меня из мертвых, точнее Юрий Евгеньич твой. У меня ведь тоже дед в Самарской области был, по матери. Очень похож на него, умер лет семь назад. Такой дед душевный – Ефимыч. До сих пор по нему тоскую.

– Но-но, – авторитетно заметил Сланцев. – Тосковать – оно не гóже, сам знаешь: покойники начинают шастать, если занимаешься подобным непотребством.

Когда они уже подходили к школе, поэт спросил:

– А тебе Юрка ничего не говорил про завтрашние планы?

– Юрка? – переспросил Леша скучным голосом. – Нет. А что?

– Ужинать, ужинать и еще раз ужинать – не помню, кто изрек сей афоризм, – ловко увильнул от вопроса хитрый автор «Домового» и оды про Хаббловский телескоп.



## Глава 5. Свиданье через форточку. С гитарой

На ужин снова были макароны с тушенкой, и Котерев традиционно попросил добавки у Ташки и получил надменный отказ.

– Тю-у-у! – протянул мировой чел, недоедавший должное количество калорий. – Эдак мы, мужики, дорогая Ташенька, скоро ноги протянем.

– Ничего подобного, Юрочка, говори только за себя! Мужики вон едят – лишь за ушами трещит. И хорошие отзывы в столовую тетрадку пишут, а ты даже не удосужился туда заглянуть, – возразила Белорукова и выпрямила спину.

– Как это так? – обиделся не на шутку рыжий. – И у меня за ушами трещит, просто я хочу, чтобы трещало еще громче. А в тетрадке вашей я даже две помидорины нарисовал.

– И что – к чему эти помидоры? Что за символ? – Таша надула губы и стала похожа на советскую куклу.

– Символ чистоты, примирения и поклонения кулинарному искусству здешнего женского населения, – ответил Юрка, сам удивившись своему напыщенному слогу – в духе Библии короля Якова.

Остальная экспедиция с удовольствием вслушивалась в препирательства с завхозом; некоторые обменивались впечатлениями о прошедшем дне.

– Я гляжу: вы самогонного фольклора набрали порядочно! – прошептала Дожжина Мишке на ухо. – От вас так и разит духом Владимира Яковлевича Проппа.

– Ага, – икнул Сланцев. – Мы поэтому и сели к вам поближе – нарушили, так сказать, привычный аккубитус, чтобы Шахова не вводить во искушение.

– Эти-то двое кандидатов наук, – глазки-бусинки указали на Шахчика и Старикова. – Еще в контрах?

Мишка пожал плечами: дескать, не спрашивай меня, муза, о том, что не знаю.

– Какие у кого планы на завтра? – ИП обвел глазами экспедиционный народ, и самые внимательные отметили, что он избегает смотреть в сторону не совсем трезвого Леши. – Мы завтра с Толей и его командой на разведку в Аркаево ходим. Туда недалеко – сорок минут прогулочным шагом. Хотим договориться о записи местного

хора. Если кто желает – особенно из новичков – милости прошу. А старички, – выстрел зеленых глаз в сторону Мишки и Старикова, – сами решат, что делать.

– Мы бы хотели с вами пойти, Иван Петрович, но завтра у нас с Юрой договоренность: к бабе Поле на Озерную, – подала свой серебряный голос Ольга Водлакова, и Стариков ощутил волну подкатывающей трезвости.

– Отлично. Нет проблем – значит, вы остаетесь в Астрадамовке. Кстати, Оля и Юра, я бы вам посоветовал хотя бы иногда присоединяться к более опытным товарищам: стоит посмотреть, как они работают. А то ведь вы оба в первый раз в полевых условиях.

– Точно, Иван Петрович, – мотнул рыжей шевелюрой Юрка. – Вот завтра мы пойдем к Полине Павловне, а уважаемый Алексей Михайлович мог бы к нам присоединиться. Бабушка его ждет, точно говорю.

Стариков буквально просверлил дырку в квадратной голове Котерева и, вдавив нестриженными ногтями себе кожу в ладони, ответил: – У меня другие планы, Иван Петрович. Я у бабы Поли уже был, беседа состоялась исчерпывающая. Повторная запись не нужна – даже теоретически.

– Ошибаешься, Леша, – мягко возразил ИП, и все притихли. – Вот, к примеру, в соседней области – в Самаре – есть такой молодой фольклорист Саша Большаков, отличный парень и исследователь, между прочим («Конечно, не чета тебе, товарищ Стариков!») – раздраженно подумал про самого себя сами знаете кто). Так вот: у него есть пара любопытных статей об индивидуальной вариативности фольклорных прозаических текстов. Почитай на досуге, очень советую. Там как раз про пользу повторных бесед с информантами.

– Угу. Принял к сведению, – угрюмо отозвался Стариков. – Завтра иду к Полине Павловне.

– Да нет, я не к тому, чтобы ты обязательно шел с Олей-Юрой...

Леша уставился в чашку с кофе (он употреблял бодрящую отраву и на ночь) и ничего больше не сказал. Стало совсем тихо, и все постепенно начали расползаться по классам. Стариков ушел первым.

– Дай-ка твою лапу, Юра! – попросил все еще пьяный Сланцев.

– Зачем это?

– Дай сказал! Вот так! – поэт потряс руку фотографа и мирового чела. – Это тебе в знак благодарности от Алексей Михайловича

Старикова. Он просто сухарь от науки и не умеет благодарить, но в душе тянется к тебе, поверь.

– Да ну?! – изумился рыжий. – Видимо, где-то очень глубоко тянется. Боюсь, как бы ближе к концу экспедиции не проснуться мне с перерезанным горлом, как Остапу Бендеру. Есть такой шанс, а, Мишка?

– Ни хрена, – ответил поэт и икнул. – Ты технарь, и душа фольклориста для тебя – потемки, энихма, как глаголили древние греки. Идем курить, мне проветриться надобно.

\*\*\*

Стариков лежал на своем спальнике в темноте с открытыми глазами. Послышалось топание ног и в класс ввалились подсвеченные экранами сотовых телефонов Сланцев и рыжий.

– Опять спит наш кандидат наук, – констатировал Юрка. – Ну и духотень здесь! Давай форточку откроем, а?

Он полез через парты, ударился об оставленный Тонковым футляр от гармони, чертыхнулся, но свое намерение выполнил. Когда двое шумных визитеров наконец-то улеглись на свои места, из открытой форточки вдруг полился серебристый смех Водлаковой, сопровождаемый странным для ночного времени бреньканьем на гитаре. Говорящие за окном выбрали не слишком удачное место – прямо напротив мужского класса.

– Это что еще за редкое явление? – удивился Котерев.

– Подожди-ка, – неожиданно выдал свое бодрствование Лешка. – По-моему, голос Трошина.

– Пашки? – тоже изумился Сланцев. – Точно! Да тут каждое их слово слышно.

– Да тише вы, дайте послушать! – напряженно сказал Котерев.

После перебора по струнам всегда молчаливый первокурсник Пашка спросил:

– Оля, ты чем занимаешься в экспедиции? – треньк-треньк по струнам. – Я вот, знаешь, что хочу записывать? Ну, не здесь, не в селе, естественно, а в городе, – фольклор наркоманов. А ты?

– Ой! – серебристый смешок Водлаковой. – Как наркоманов? Как смешно!

– Да, у них тоже есть свои приколы, словечки разные, – треньк-бреньк, треньк-треньк. – Можно записывать и изучать.

- Ой. Как бы это... самому не втянуться. Опасно это!
- Опасно! – соглашается с легким оттенком удовольствия юный гитарист. – Но наука и должна быть опасной. Я так считаю...
- И где только этот молчаливо-говорливый хрен гитару раздобыл? Наверное, из открытого музыкального класса. Шахчик узнает – голову открутит, – шепчет рыжий.
- Что: ревнуешь, Юрка? – поэт излишне громко гогочет, и на него раздаётся шиканье – одновременно с правого и левого спальника.
- Ничего не ревную. Она всего лишь моя напарница по тяжкому труду фольклориста. Кралю, как поется в частушках, я себе уже другую присмотрел!
- Какую кралю? – Стариков заинтересованно поворачивается в сторону головы Юрки, отливающей и в темноте рыжим цветом.
- Так я вам все карты и выложил! Держи туза в рукаве до нужного момента – так завещал великий... кто-нибудь, – с непонятной важностью шепчет Котерев.
- Лешка морщится и снова начинает прислушиваться к щебетанию первокурсников.
- А вот Иван Петрович сегодня совершенно справедливо заметил, что нельзя новичкам всё время вместе ходить. Надо и к другим присоединяться, – Трошин опять ударяет по струнам.
- Ну да. Я, честно говоря, от этого Юрки устала – шумит, горланит. И никакой фольклорной пользы: записей-то нет! Пока еще не выбрала, с кем бы еще походить.
- Мужики! – вдруг возглашает поэт, и быстрая рука Старикова мгновенно зажимает ему рот. Поэт сникает и глазами показывает, что осознал всю меру свою вины.
- Да чего ты орешь-то? Распугаешь нам всю голубятню! – бурчит с другого бока Юрка.
- Да я от радости так, от эврики, – оправдывается поэт. – Мне вдруг все эти форточные разговоры напомнили один эпизод: помните у Достоевского, кажись, в «Брательниках Карамазовых» – вот тоже кто-то так бречит на гитаре, и разговор такой... с девушкой.
- Ну всё-всё, хватит аллюзивных реминисценций, давай еще слушать, – предлагает Лешка.
- А это разве хорошо – подслушивать? – икает поэт.
- А какого черта еще делать? Форточку, что ли, закрыть? В этой-то духотени! – рыжий вновь наостряет уши.

– А может, завтра – во второй половине дня вместе пойдем по бабушкам? – дрогнувший голос Трошина выдает потаенное волнение.

– Почему бы и нет? – серебристый смешок. – Только ведь наркоманов в селе не найдешь.

– Так мы по твоей теме пройдемся.

– А я интересуюсь детским фольклором – потешки, считалки, всё такое. Это не к старушкам, а к ребятишкам надо.

Треньк-треньк, бреньк...

– Так и у бабушек можно поспрашивать – они ведь тоже детьми когда-то были!

– Ага! Хорошо придумал, Паша. Ну, я спать пойду, а то не высплюсь и буду завтра сердитая-некрасивая.

– Да. Спокойной ночи! – треньк. – Я тоже спать.

– Ах, Ромео! – давясь от смеха, шепчет Котерев. – Не покидай меня! Наша встреча была ошибкой, судьба разлучила нас...

– Тоже мне Джульетта рыжая, – зевает Мишка и поворачивается на другой бок. – Спать давайте, а то я завтра точно не поднимусь. А мне еще деду Юру с утра проведать надо: жив ли после сегодняшних банных утех?

Крадущиеся шаги молодого любовника с первого курса застают уже храпящего Котерева, ровно свистящего поэта и закрытого с головой кандидата наук. Последний не спит и терзается уколами совести: кажется, он всё больше портит отношения с ИП.

## *Глава 6. Баба Поля: прикосновение второе*

– Я тут, Юронька, подумала: как у бабы Поли отстреляемся – я после обеда с Пашей Трошиной пойду на запись. Я ему обещала...

– Водлакова поправила красивую косыночку.

– Ага, – кратко согласился обычно столь велеречивый Юрка и пошел широкими шагами в направлении Озерной. В левой руке его болтался красно-черный пластиковый ящичек с инструментами («Поехать за город без инструментов – это как к бабушке пойти без диктофона!») – однажды изрек он в ответ на вопросительный взгляд Шахова, увидевшего легендарный ящичек; такой ответ навсегда избавил его от любых дополнительных вопросов).

Стариков шел за сладкой парочкой, поддерживая за лямку чехол от штатива. Честно говоря, идти он боялся.

«Что я ей скажу? – думал фольклорист. – Вчера же все вопросы задал, все темы обговорили... Ладно, чай с пирожками попьем, пока рыжий будет с телеком возиться. Может, найдем еще темы для общения».

В избе Полины Павловны мягко, по-домашнему пахло пирожками, только-только снятыми с противня. Маленькая старушка в переднике, перепачканном мукой, вся просто засияла от радости, увидев входящую троицу.

– А я раненько-раненько встала. С вечера тесто затеяла, а спозаранок и за пирожки принялась...

Лешка решил сначала держаться на вторых ролях, но слово за слово, и вот он уже говорит с бабушкой, диктофон пишет, камера на штативе работает. Юрка, вставший в это утро не с той ноги, быстро умял с десяток пирожков, осушил две кружки чая и отправился в зал возиться с телевизором. Оля осталась с беседующими и вела себя тихо, как мышка рядом с отдыхающим котом: даже чай отхлебывала беззвучно.

– Мне ведь, Лешенька, всё чудится – вон с того угла под иконами. Будто детишки какие-то меня зовут: «Поля-а! Поля!» – старушка рассказала о видении, а затем перешла на своих сыновей-оболтусов.

– Ведь вот ты, Леш, на мово старшенького, Петечку, похож. Я тебе еще вчера хотела сказать про то, да всё как-то к слову не пришлось. Он в Курумоче в аэропорту работает. А Юрочка-то – вылитый Феденька, младший сынок. Ведь он вчера как мне помог, как мне помог с дровами-те! – баба Поля всплакнула и вытерла слезы уголком головного платка.

Лешка молчал, чувствуя, как стучит его сердце.

– Вы чайку попейте, Полина Павловна! – всхлипнув, попросила Оля и испуганно оглянулась на строгий глаз видеокамеры, паривший на трехногом штативе.

– Я щас, я щас, дочка, успокоюсь... – она подняла испачканную мукой, потрескавшуюся по краям клеенчатую скатерть и выдвинула ящик в столе, за которым сидели фольклористы. – Вот тут у меня и лекарства, и письмишко его. Феде мово, гармониста. Почитай, дочк! Я уж глазами слаба стала, а услышать сыноньку хочется...

Слезы снова потекли по морщинам, но бабушка встряхнула головой, словно отгоняя назойливую мошкару. Она развернула по-

лиэтиленовый пакет и передала Водлаковой тетрадный листок, пропахший таблетками.

«Мам, здравствуй! Я доехал хорошо, город здесь большой, нормальный», – начала читать Оля, а Полина Павловна едва слышно, одними губами стала повторять за ней выученное наизусть послание оболтуса. Видеокамера пристально и бездушно снимала заплаканные лица бабушки и молодой первокурсницы, годившейся ей в правнучки.

Стариков не понимал, что происходит, отказывался понимать. Всё в этот их приход было другое – и изба, и печка, и руки старушки, и ее глаза. И рассказы. После прочтения письма они говорили и говорили, и никак не могли наговориться. Целая жизнь – огромная, как бескрайнее российское поле, развернулась перед внимательными слушателями.

Вот испуганная шестнадцатилетняя девчонка едет в поезде из Казахстана, а в ее сумке – между маминой черной юбкой и куском хозяйственного мыла лежит фотография ее отца. Там он – совсем молодой, с черными усами, смешно торчащими в разные стороны. Вот она матерится вместе с трактористами – и приходит домой вся черная, как черт, но довольная и усталая. А потом – война...

– Тятка с фронта не вернулся, а у тетки Васены, мачехи-то, не больно на шее повисишь... Лебеду ели, «прянички» – это трава такая, крапиву. Мерзлу картошку бегали искать, а еще сусликов отливали – в норах-те, и прямо в поле их жарили да ели. Такая жисть, детки, была... А про солдата-то я тебе не рассказывала, Леш? В прошлый раз запомятовала, вот ведь старая! Щас расскажу!

Уже после войны, году в сорок седьмом, к ним на порог взошел старый солдат – странно одетый.

– Вот знаешь как, Леш, – вот будто с той войны, еще до фрицев которая. По старинке как-то – в шинельке, фуражка такая. Я уж тогда замужня была, с Петькой нянчилась – года полтора уж ему, наверное... Заходит, значит, этот солдатик к нам, вот так становится на порог, кланяется, ага, прям до земли – как по старинке всё. И просит подать ему чего. И я, Леш, вот Бог на небе свидетель – был у нас рубь припасен, а мужа в избе нету, он у меня тоже фронтовой, раненый пришел. И я, как на духу, солдатику-то энтот рубь и отдала. А он мне и говорит: «Я тебе, девка, всю жисть тебе сейчас распишу – за доброту твою».

И выходило так, по словам Полины Павловны, что старый солдат предсказал все перипетии и извивы ее судьбушки: и что два мужа будет, и что два сына – от разных отцов, значит.

– А как уйти, говорит он мне: «Одинок закончишь старость!» – вот так слово в слово мне сказал. И я век его слова буду помнить: ведь сбылось всё до последнего словечка!

Чтобы отвлечь бабушку, увести ее от горькой темы одиночества, Лешка спросил про предсказателя Ерошкина. И снова получил совсем другой, невчерашний ответ – как обухом по голове.

– Ведь лет пять назад приезжал ко мне один парнишка, вроде тебя, Леш. Какой-то Петя – в Сурском он живет, а работает в газете, ага. Вот он про этого Кузьмича больно много где расспрашивал, даже, говорит, книгу про него напишу. Может, и написал уже. Не слышали?

Стариков отрицательно покачал головой.

– А я ведь ему, Ерошкину-то, вроде как родственница – по папиной стороне. И лечиться я к нему в Кувай вот Петьку сваво возила. Не рассказывала тебе, Леш, вчерась?

Побледневший Лешка снова делает знак отрицания.

– Это уж в семьдесят первом году, наверно. У Петеньки прибор мужской перестал работать, вот, видно, порчу ему перва жена сделала.

Стариков мельком кидает взгляд на Водлакову, которая обыкновенно рдеет по поводу и без оного: студентка насчет «прибора» даже бровью не шевельнула («Хороший знак – может, и приживется девчонка в фольклористике»).

– Поехала я с ним к Кузьмичу-то, а жена у него, Машка, – ну ни в какую нас не пускает. Но я уж тут по-родственному: так, мол, и так, дядя Ваня Кузьмич – он наш, свой, дескать. Ну, добилась – пустила она. А Ерошкин-то посоветовал за Алатырь съездить – сельцо какое-то там, не помню щас. Там вроде баушка одна лечила такую болячку, как у Петечки приключилась, невстаниху-то эту, будь она не ладна, ага. Ну, скатались – наладили. Стал сын – мужик – мужиком! Меня сношенька потом на руках разве что не носила.

При последних словах Полины Павловны в дверях нарисовался повеселевший Юрка: любимое дело подняло и у него настроение.

– Всё, как часы будет теперь, баб Поль. Там припать пришлось чуть-чуть, будешь работу принимать?



– Покажь, Юр, покажь! – старуха спрыгнула со стула и засе-менила следом за широкой спиной Котерева. – А то без телевизора скука смертная: посмотришь – и вроде как с людьми покалякала.

Стариков водил пальцем по остаткам муки на клеенке и слушал, как из зала доносится бас рыжего, говорок маленькой бабушки и прерывающиеся голоса новостных дикторов.

– Какая все-таки бабулька хорошая! – прошептала Водлакова и порозовела. – Правда, Алексей Михайлович?

– Правда, – ответил Лешка и широко улыбнулся.

## *Глава 7. Посвящение от первокурсников*

– Эй, да проснись, что ли, Лешка! Всю фольклористику про-спишь! – Старикова кто-то настойчиво возвращал в бодрствование.

– А? Сколько времени?

– Девять почти, ужинать пора, – Мишка поднялся с колен, на которые он опустился, пытаясь достучаться до спящего сознания своего друга.

– На полчасика ведь только прилег, и посмотри: полтора часа – как корова языком, – пробормотал еще не до конца проснувшийся Лешка. – Что у нас за спальники такие – Обломовские прям: стоит лечь, и – нет тебя для экспедиции.

– Слушай, вопрос на сто рублей: не знаешь случайно, куда молодежь подалась?

– Какая молодежь?

– Ну эти – Ромео и Джульетта, Трошин с Водлаковой – не пришли еще. Котерев вон места себе не находит – уже измаялся, их ожидаючи.

– Так позвоните! – Стариков от души зевнул и потянулся.

– Так звонили: у Оли не доступен, разрядился, а этот молчун, прикинь, свой сотовый в столовой забыл. Юрка говорит, что спрячет его и не отдаст.

– Ревнует твой рыжий, вот что! – Лешка поднялся и засунул ноги в шлепанцы. Уже выходя из класса в сторону сооружения а ля рус, он повернулся и спросил:

– Шахову говорили?

– Нет.

– И не надо. Пока, по крайней мере. Нечего человека беспокоить лишний раз. Если через полчаса не вернутся – пойдем искать. Монтекки и Капулетти, блин!

– Так он заметит, что их нет – ужин ведь скоро, – сказал Мишка.

– Ладно. Курить – и искать!

Беспокойство Старикова возрастало с каждой минутой. Выловив Котерева в столовой, где он отирался, с надеждой поглядывая на дымящуюся сковороду, Лешка сообщил ему, что они с Мишкой уходят на поиски.

– Ты с нами?

– А ужин?

– Потом откушаешь, нам оставят, не бойсь!

– Вот Трошин, наркоман-любитель, – выругался рыжий. – Вот я только найду его – он у меня посмотрит, как человека законного ужина лишать!

Они оделись по-вечернему и решили сначала разделиться.

– Ну да! – возразил Юрка. – По ночному селу в одиночку шастать! Ну у вас и идеи, братья по разуму! Я оборотней боюсь, от тебя, кстати, уважаемый кандидат наук, наслушался. Давай к пруду пойдем – тут даже и думать нечего. Там эта парочка болтается, я задницей чувствую.

Остальные не стали спорить. Троица ускоренным шагом направилась на местный пруд – благо от школы идти было всего минут десять. На импровизированном пляже, слегка присыпанном песочком, тусовалась местная молодежь; поодаль светились габаритные огни двух авто – должно быть, гости из соседних сел.

– Не видно наших? – спросил Стариков, подслеповато щурясь и протирая очки футболкой.

– Вроде нет, – сказал Мишка. – У местной тусни спрашивать будем?

– Надо бы поинтересоваться, – согласился Котерев. – Не утопят ведь нас за это, как думаете?

Местные парни нетрезво и сочувственно покачали головами, потом развели руками, и кто-то из них с разбегу нырнул в воду. Стало ясно, что Ромео увел Джульетту совсем в другое место.

– Что делать будем? – спросил Сланцев и убил комара на шее.

– Щас позвоню Юльке, спрошу: вдруг малыши уже вернулись к папе, – невесело пошутил Стариков и прижал к уху свой потертый

«Нокиа». Выяснилось, что малыши еще гуляют, а папа уже обо всем узнал и волнуется.

– ИП на измене. Дожжина говорит, что он желает нас видеть, – доложил Лешка остальным.

– И правильно, – Юрка погладил свой живот. – Уже одиннадцатый час. Вернуться они – как миленькие, никуда не денутся.

– Пошли Шахову покажемся на глаза, а затем думу думати будем, – предложил Сланцев, и все последовали его мудрому совету...

Лешка никогда не видел ИП в подобном состоянии. Все собрались в столовой; было почти двенадцать ночи. Руки Ивана Петровича, державшие сотовый и блокнот, слегка дрожали, и Старикова это пугало больше всего. Сначала Шахов просто раскричался, обвинил всех старичков, что они позволили уйти парочке без сопровождения старших. Но его колючие зеленоватые глаза чаще всего останавливались во время этого этапа на Лешке. Потом он перешел к стадии обвинения во всем себя.

– Никогда, никогда у нас ничего подобного не случилось! – говорил он пронзительным голосом. «В этой экспедиции вообще много происходит такого, что...» – Лешка не успел додумать эту мысль, как у Шахова в руках завибрировал сотовый. Он не с первого раза попал в нужную кнопку и прислонил телефон к уху.

– Да, – почти закричал он. – Вдвоем. Я обзвонил старост и Аркаева, и Чеботаевки. Осталось Никитино, а затем – Господи Боже мой! – участковый.

Он вскочил и убежал в учительскую, которую делил на время экспедиции с Толькой Тонковым: руководитель «Городца» считал себя слишком взрослым для «мальчишеской».

– Что теперь будет?! – прокартавила Танька Родина. В уголках ее глаз дрожали слезы.

– Экспедиция закончится – вот что будет! – мрачно отрезала завхоз и пошла ставить на ночь кастрюли в холодильник. Юрка с тоской проводил ее взглядом, но ничего не сказал.

– Искать их будем, вот чего! – заявил Сланцев безапелляционно. – Шахчик заснет – и разбредемся по разным направлениям. Ну, кроме девушек, естественно. Кто за?

– Ага! Так ИП тебе и заснет сегодня. Да он всю полицию-милицию на уши поставит, участковый приедет – в Ульяновск позвонят. Мама дорогая! – Дожжина схватилась за голову.

Тут дверь столовой чуть приоткрылась, в щель просунулась сияющая улыбкой голова Водлаковой, которая просеребрила:

– Так вот вы где все! А мы думаем, чего вся школа пустая? Где это все?

Стариков молча поднялся и побежал в учительскую.

\*\*\*

Еще минут 20 длились переговоры в кабинете Шахова, которые слышны были на всю школу. ИП успокаивал всех, до кого сумел дозвониться. До участкового дело, слава Богу, не дошло.

Мужская троица с пристрастием выпытывала у Трошина, как они с Водлаковой умудрились сделать то, что сделали, но выяснили немного. Пашка лежал на своем спальнике с пустыми, бесцветными глазами и повторял одно и то же:

– Да чего такого? Оля в Никитино захотела. Нас туда подбросили на попутке, а обратно поздно было – никто не хотел останавливаться.

– Почему сотовый не взял? – спрашивал Стариков, который был мрачнее тучи. – Почему в селе не нашли кого-нибудь, чтобы позвонить?

– Да говорю же: мы вышли из Никитино засветло. Мельницу заброшенную там посмотрели еще. Темно стало – а мы всё идем и идем. Машин вообще не было почти, а у Оли телефон сел.

В этот момент в «мальчишескую» зашел Толька Тонков, тщательно оглядел их класс – помятые спальники, мусор под сдвинутыми в один угол партами, портреты великих историков на стенах, затем степенно погладил свою черную бороду и пробасил:

– А ничё тут у вас. Жить можно. Я, пожалуй, к вам переселюсь. Завтра.

– А чего не сегодня? – спросил Юрка.

– Сегодня ему, – Тонков кивнул в сторону приглушенного голоса, говорившего по телефону в учительской, – моральная поддержка требуется.

Они уже погасили свет в классе, когда по коридору раздались быстрые шаги и кто-то щелкнул выключателем. На пороге стоял бледный, с растрепанной бородой, весь какой-то взлохмаченно-нервный ИП.

– В общем, так! – сказал он все еще не своим голосом – с пронзительными, пугающими новичков нотками. – Первокурсники без сопровождения старших из школы – ни ногой. Понятно?

Трошин, сидя на спальнике, кивнул. Когда затихли шаги руководителя экспедиции и рыжий снова выключил свет, во тьме раздался спокойный, какой-то прохладный голос первокурсника:

– Я завтра с утра – в Ульяновск уезжаю.

Ему никто не ответил.

Минут через десять, когда Стариков уже почти заснул, его в бок толкнула Мишкина рука.

– Чего? – прошептал Лешка.

– Ну и кто кого посвятил в этой экспедиции? А? Мы новичков или они нас?

Стариков загоготал, прикрыл рот рукой и перевернулся на другой бок – лицом к Сланцеву:

– Да, необычная поездочка, ничего не скажешь!

– Ой, я тебе совсем забыл сказать – с этими Ромео и не такое забудешь! – Мишка оперся на локти. – Меня же дед Юра попросил тебе одну важную штуку передать!

– Жив курилка?

– Еще как! Опять в баню нас с тобой зовет. А сообщение такое: он еще вчера, как услышал, какими темами ты занимаешься, хотел тебе сказать, да немножко не в состоянии был – сам видел. У него есть родственница, ну, или как там назвать – в общем, жена брата его двоюродного. Брат-то помер – года три назад, а жена у него «из молоденьких», это по выражению деда. Лет на 15, наверное, моложе брата его. Так вот: она – местная знахарка. Всё знает, говорит, такого тебе нараскажет – закачаешься!

– Круто! Где живет? Как зовут?

– Да на Озерной всё той же. А зовут... щас скажу, я в телефон записал. Ага, секунду. Теть Марина Рядова, ее там все зна... Ты чё, Лешка?

Стариков смотрел в темноте на подсвеченное сотовым лицо друга и чувствовал, как справа и слева бурлят потоки взбудораженного пространства. Лицо женщины с пальцем у губ, зыбка на скрипучем крюке, вбитом в матицу. Трехколесный велосипед.

– Да ну чего ты? Глаза у тебя сейчас с тарелку, честно слово, и светятся, как у кошки!

– Ничего, Мишка. Завтра скажу. Давай спать. У меня опять синхрония. Нет – вернее, синхронище...

## Глава 8. Шахов

Лешка с утра успел побывать на Озерной и выяснил, что Рядова укатила в райцентр.

– Сегодня суббота – она всегда в Сурское по выходным ездит. А вы кто ей? – солидно осведомился сосед тети Марины. Он курил на крыльце и из-под мохнатых бровей вглядывался в утреннюю дымку, повисшую над селом.

– Да мы в школе вот живем у вас – с Ульяновска приехали, с педуниверситета. Сказки-песни-тосты записываем, о жизни бывалошной спрашиваем, – проиграл Стариков привычную пластинку, которой в любом селе обычно хватало, чтобы из статуса чужого и непонятного перепрыгнуть на уровень: «А-а, здорово-здорово, всё ходите-пишете? Че записали?».

– Эвона как! В общем, фольклор собираете?

Лешка удивленно кивнул: далеко не каждый из тех, с кем Старикову приходилось беседовать в экспедициях, с такой точностью определял цель его прихода – да еще с использованием словечка Уильяма Томса.

– Ага-а, – в раздумье протянул старик и важно почесал свою седую бороду. – К Рядовой ты приходи завтра утречком – часам к десяти: она все равно из райцентра сегодня усталая приедет. А к завтраму она ждать тебя будет: я предупрежу. А как с ней накалякаешься – ко мне загляни на часок. Меня Родионом Петровичем зовут. Может, и я на что сгожусь. Окей?

Молодой препод растерянно улыбнулся.

– Ну, не так, что ли, я выразился? Это меня внучка выучила, я ей часто звоню, а она мне всё: «Ну, дедуля, окей! Поняла я, не болей!» – сосед загрохотал, как отдаленный гром: Лешка и не сразу понял, что у Петровича эти звуки означают смех.

– Ладно, договорились, Родион Петрович. Спасибо. Я тогда побежал!

– А куда торопишься-то?

– Да раз тети Марины нет – с нашими в Аркаево поеду! Они хор там записывать собираются.

– Так много вас в школе?

– Человек пятнадцать! – кричал Стариков, уже наострив лыжи в обратную сторону: он боялся, что Шахов с Тонковым уйдут без него.

– Эвона как! – также кричал ему вослед дед. – Ну, давай-давай, беги, хор там мировой. Екатерине Петровне, есть там такая, привет от меня передавай. От Родиона, дескать!

Лешка кивал, махал руками и, держась за штатив, бежал к школе.

\*\*\*

Никогда еще он не видел такого хмурого, невыспавшегося и раздраженного лица у Шахова. ИП молчал, говорил слова-приказания отрывисто и как-то по-армейски.

– Кто, кроме дежурных, остается в школе? Дежурные – в два часа обед, все собираемся в два. Толя, с тобой твоя бригада вся идет?

– В полном составе, как обычно! – отзывается бас Тонкова.

Вся экспедиция знала, что Паша Трошин уже упаковался и собирается уехать на ближайшем автобусе. Старички в своих утренних диалогах умело обходили эту тему. Узнав, что запыхавшийся Лешка тоже хочет присоединиться к Аркаевской вылазке, Шахов лишь кивнул головой и пошел проверять диктофоны-микрофоны.

– Да и я, пожалуй, с вами пойду! – вызвался Сланцев. – У меня все намеченные бабушки-дедушки заняты с утра – кто на поминки ушкандыбал, а к кому-то гости из города приехали. Одно расстройство для самогонологии.

До Аркаева было так близко, между селами располагались такие задушевные сельские красоты – поля, рощи, родники – что никто не захотел воспользоваться двумя машинами, стоявшими наготове у школы. На одной – белом «УАЗе-патриоте» – возил свою поющую бригаду бородатый Тонков, на другой – «семерке» – приехал Юрка Котерев.

Кстати, рыжий по неведомым причинам решил остаться в школе вместе с дежурными. У Лешки эта идея не вызвала никаких подозрений – как потом выяснилось, зря.

Их шествие растянулось на добрые полкилометра. Возглавлял фольклористов ИП («пять Шаховых в час»), за ним, как всегда нераздельной массой, бойко плыл на разноцветных кроссовках, шлепанцах и даже туфлях «Городец» в полном составе. Стариков и Сланцев плелись сзади.

Лешка глядел через объектив камеры на поля, заросшие где зерновыми, где сорняками, на высокие клочковатые облака, на почти высохшую речку (говорят, по весне она широко разливается).

Когда они набирали воду в местном роднике, до них донеслось басовитое Тонковское: «*Ой да ты, кали-инушка!*». Дамы из «Городца» тут же подхватили: «*Размали-инушка... Ой да ты не сто-ой, не сто-ой, на горе круто-ой*».

– Эх, Мишка, лепота-то какая! А? Сниму-ка я еще пару минут на видео.

– Да, красиво, – согласился поэт и завернул пробку на пластиковой полуторалитровке. – Только видео зря снимаешь: не передаст твоя камера ни звука песни, ни красоты момента.

– А знаешь что, Мишка... Вот если я когда-нибудь возьмусь да и напишу какую-нибудь вещь – большую, художественную...

– Не напишешь, – категорически перебил его Сланцев и пошел за удаляющимися голосами поющего ансамбля.

– Это почему? – догнал его Лешка.

– Да потому что ты – научный сухарь. А художественное требует другого подхода и головы другой – не такой, как у тебя.

– Почему-то не такой? – обиделся Стариков. – Будто только у тебя голова такая, какая надо.

– Да, – важно кивнул Мишка. – Потому что я – поэт. А ты – фольклорист. И не путай мух с котлетами. «*Суум куиквэ*»<sup>7</sup>, как изрекали римляне, пусть им будет всегда хорошо – и в сём веке, и в будущем.

– Да подожди ты со своими «суумками». Ну, хорошо, пусть – пускай ты не веришь, что я способен на что-то художественное, – торопливо говорил Стариков, а сам улыбался: приподнятое настроение не оставляло его всё утро, и он чувствовал, что скоро-скоро должно случиться что-то очень хорошее. – Но предположить же такое возможно – ну, хоть на секунду? Что в одной из возможных вселенных я – поэт или прозаик...

– Ну, хорошо-хорошо, говори про своих «заек», – сдался Сланцев. – Считаю, что я на секунду – но не больше! – смирился с этой дурацкой идеей.

– Ага! – обрадовался Лешка. – Я тогда написал бы роман – самый настоящий роман вот про всё это – про Полину Павловну, про Астрадамовку, про вчерашнюю суету с Трошиной и Водлаковой...

Мишка испуганно сморщился:

---

<sup>7</sup> Suum cuique (лат.) – каждому свое.



– Ну уж нет! Зачем это ты в свой роман этих Ромео желторотых пихать начнешь?

– Да, да, – не слушая его, продолжал фантазировать Стариков, – и даже про то, как мы идем сейчас в Аркаево хор записывать. В общем, целый роман – про экспедицию! А? Как тебе идея? И знаешь, чем бы я закончил эту вещь? Я даже не знаю, что бы там написал-напридумывал, какие у меня там были бы герои, но главное-главное я уже вижу – финал!

– Ну, не томи, как ты любишь сам выражаться, – Мишка приставил ладонь ко лбу, будто богатырь на Васнецовской картине, и посмотрел вперед. – Далекое ведь как Шахов-то убежал! Догонять надо... Я тебя прекрасно понял: роман про экспедицию, Трошин-Водлакова (но лучше без них), баба Поля и – финал. Какой финал-то?

– Во-от, – торжественно протянул Стариков. – Представь: вот там, значит, экспедиция-экспедиция, ну идет она, идет, мы там бабушек записываем, всё такое, потом додумаю, и – финал!.. Вот это поле, вот этот вид на Аркаево потрясающий и – песня (издалека доносится): «Ой да ты, кали-инушка, размали-инушка!».

– Тьфу, – сплюнул в сердцах поэт Сланцев. – Что же за пошлость! Кто так романы заканчивает? Не-ет, так дело не пойдет. Ишь ты, роман он затеял про экспедицию! Это же проза, дело-то тонкое. Ну ладно стихи – тут всё понятно. Мне, по крайней мере. Но проза, проза! Господи, Боже мой! Там трехслойный сюжет, там подводные камни, там о-бра-зы! Это тебе не какую-то жалкую статью научную наваять. Две-три мысли и десять цитат из бесед с бабушками.

– Но-но! – Лешка погрозил в его сторону кулаком. – Ты науку не тронь. Сие – святое.

– Аминь! – зааминил сказанное поэт, и они некоторое время шли молча, прислушиваясь к долетавшим до них обрывкам песен «Городца». Ансамбль перешел на какую-то плясовую и задорную.

– Шахов чего-то сам не свой сегодня, – Стариков поправил чехол от штатива на плече. – Заметил?

– Еще бы не заметить. Малыши-плохиши устроили нам вчера самое настоящее посвящение – в лучших традициях БарСлободы.

– А Водлакову-то видел? Дежурной в школе осталась – наверное, в качестве наказания. А сияет ведь, как новый пятиалтынный,

– хоть бы что. Как с гуся вода. А вот на Трошине – лица нет. По-разному как люди реагируют на одно и то же событие.

– По-разному, – кивнул головой Мишка. – Зря он, конечно, уезжать собрался. Уехал уж, наверно... – он сверился с часами в сотовом. – Но в экспедиции ведь так: уговаривать тебя никто не будет. Кто-то уходит, кто-то остается. Се ля ви.

– А знаешь, есть одна проверенная временем примета, суеверие иль поверье – как угодно обзови. Если экспедиция кого-то одного выталкивает, то она обязательно притянет двух новых. Вот увидишь: обязательно к нам кто-то зайвится в гости. Тем более – выходные ведь наступили.

\*\*\*

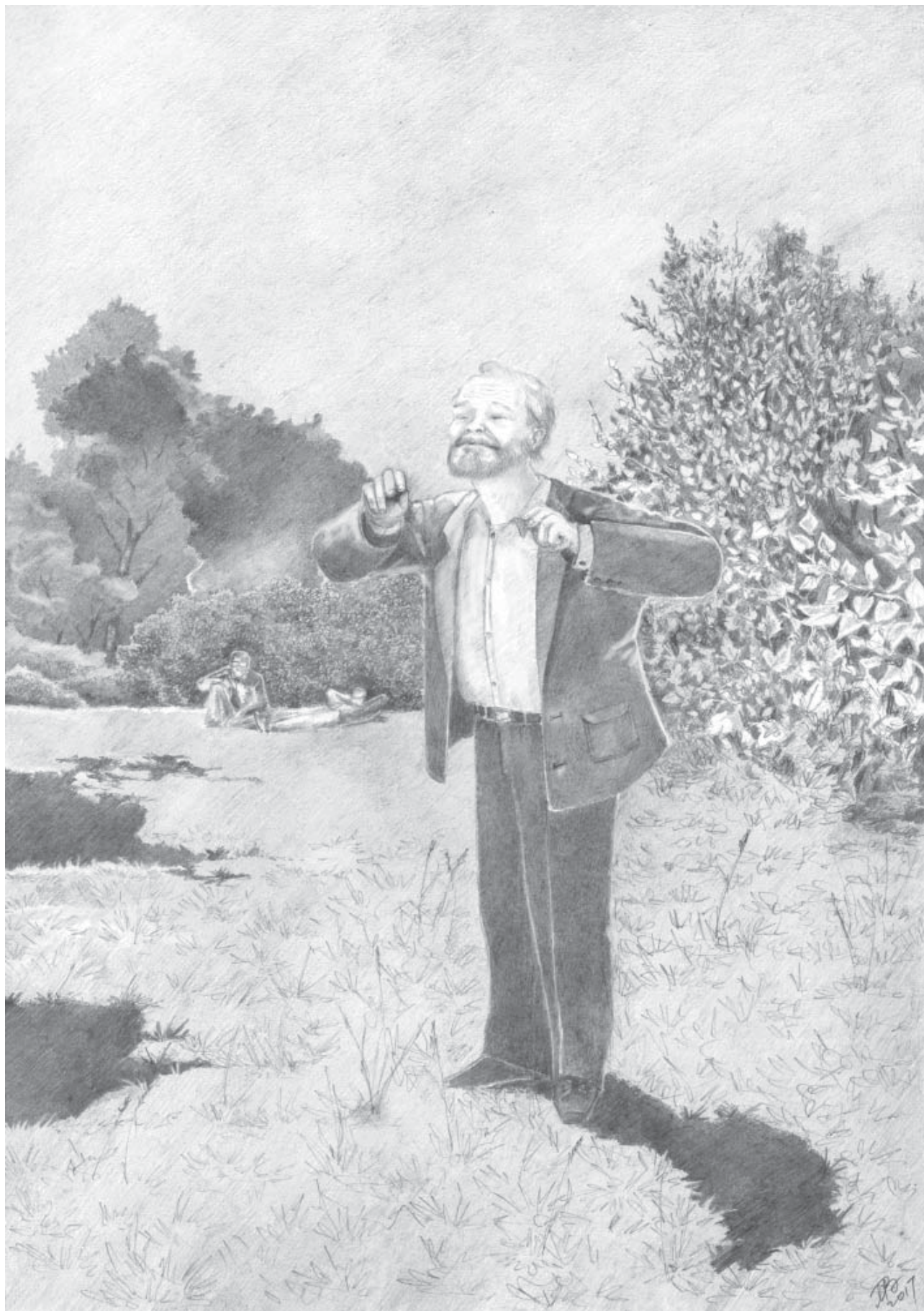
Записывать решили не в клубе, а на зеленой полянке перед ним: на улице распогодилось, ветра не было, да и звук в помещении получался похуже. Пока музыканты расставляли многочисленные микрофоны, тянули от розетки провод для ноутбука, бабушки в количестве семи штук спевались.

– Спевка – это один из самых важных моментов в записи певческих групп. Текст и мелодия – само собой, тут всё понятно и подлежит фиксации. Но спевка, спевка – вот это всегда упускают! – бывало, проповедовал Шахов за чаем в 417-й аудитории.

Леша решил, что пообщается с бабушками по своей теме уже после импровизированного концерта, который те затеяли для фольклористов («Что вы, что вы! Люди из города приехали, а вы стесняетесь, приходите не хотите!») – Стариков чуть ли не в картинках представлял, как вчера происходила «организация» всего этого процесса, которую взяла на себя местный работник ДК). Он установил свою камеру на оставшемся свободном месте – рядом еще с тремя такими же трехногими соседями («больше ракурсов – лучше съемка»). Затем уселся на траву метрах в десяти от расположившихся полукругом певиц – чтобы не путаться под ногами у людей, смыслящих в музыке.

Сланцев примостился рядом, а затем и вовсе улегся на траву, устремив поэтический взор навстречу редким облакам и пронзительно-летней синеве неба. Лешка тоже полулежал, поглядывая в сторону говорящего с бабушками Шахова.

– Сразу видно: в свою стихию попал человек – понемногу раскочегаривает бабулек, – заметил Мишка.



– Да и он тоже, кажется, постепенно в себя приходит – после вчерашнего, – ответил Стариков.

– *«Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я...»* – доносились нестройные звуки со стороны хора.

– Ага, поют. Правда, с попсы начали-то, – продолжал Лешка, будто комментатор во время футбольного матча.

– Ничего, распойются – там и протяжные песни пойдут. А может, ИП и на клад нарвется – какую-нибудь свадебную величальную затеют.

– Та-ак, – слышался со стороны поющих командный и приобретенный прежнюю живость голос Ивана Петровича. – Теперь вы уже немного спелись – можно снова ту же самую песню, но уже спетыми голосами. Ага, вы сидите, а вам все-таки лучше встать.

– Ожил Шахчик-то! – подсмеивался Мишка. – Слушай, а правда, что он в армии сержантом был?

– Вроде как правда, – улыбнулся Лешка, и вновь на его мысленном экране проявился хмурый образ Будова.

– *«А я тебя всё ждала, всё ждала, всё ждала, перевозчика наняла, наняла, наняла...»* – продолжали бабушки всё слаженнее.

– Меня интересует: есть ли в вашем репертуаре свадебные песни? – спрашивает голос Шахова как бы невзначай.

– Оседлал своего любимого конька, – ржет Сланцев. – Пошло дело-то!

Они оба откинули головы в мягкую теплую траву и наблюдали за облаками еще песни три подряд. Затем Лешка поднялся, и его глаза расширились.

– Мишка, Мишка, встань-пробудись, мой сердешный друг! Ты только посмотри на это!

*«Ой, веселится вы, мои подружки, да к нам вёсна скоро, девки, придёт...»* – пели Аркаевские певицы звонко и чисто – совсем как молодые бабы во время гулянки или на работе в поле. А Шахчик – виданное ли дело! – стоял перед хором и с горящими, совершенно счастливыми глазами и блуждающей улыбкой на лице дирижировал бабушками, словно симфоническим оркестром.

Мишка крикнул от удивления и скосил глаза на Старикова:

– А как же... Как там у вас, у кандидатов наук, это называется? Аутентичность или там – «невмешательство в исполнение»? Ну, короче, фиг вас, ученых-моченых, разберешь! Лешка, скажи на

милость, что он творит? Никогда такого не видывал – хотя сто раз вместе с ним песни записывал.

– ИП просто счастлив, – ответил Стариков, чуть улыбаясь, и в глазах его тоже заиграли искорки отраженной шаховской радости. – До самозабвения. Какая уж тут к черту наука!..

Обратно шли уже на закате солнца – усталые, молчаливые, но умиротворенные и просветленные. На обед в школу никто из Аркаевской экспедиционной группы не явился, да и не до этого совсем было.

Поэт и Стариков шли рядом с Шаховым, веселая бригада «Городца» оставила их далеко позади.

– Да, многое ушло в прошлое – и тексты, и некоторые жанры исчезли, а с ними – целый пласт традиционной культуры. Но фольклор-то и традиция никуда не делись: свадебные замочки на мостовых перилах, всякие там «камни желаний», а в Интернете что сейчас творится – там же целая коммуникативная вселенная! – вещал ИП, научно разогревшись после какого-то вопроса Старикова.

Лешка поддакивал, заинтересованно глядел в глаза Шахову, возражал и приводил красивые контраргументы. Сланцев молча слушал их ученую трепотню, блаженно щурился на закат и думал о том, что, кажется, внутренняя жизнь экспедиции входит в нормальную колею. «Слава Богу, можно хоть самогоном по-человечески заняться...».

А впереди их ждала раскинутая по обеим сторонам дороги вечерняя Астрадамовка и... остросюжетная баня.

## Глава 9. Банные бои

Еще до ужина среди фольклористов, как пожар, разнеслась весть о бане. Гордый и важный, будто павлин на продажу, по школе ходил Котерев – главный инициатор и организатор банного действия.

– С дедом одним на Озерной договорился, – повторял он уже в пятый или шестой раз благодарным слушателям. Особенно благодарны были дамы «Городца», считавшие себя к концу четвертого дня экспедиции невероятно грязными. Шахов посоветовал им почитать в связи с этим книжку некоей Мэри Дуглас «Чистота и опасность», и на эту шутку улыбнулся один Стариков.

– Сам я не пойду, так как устал сильно, но вы поступайте по обычной банной традиции: сначала моются девушки, вы их провожаете до школы, а уж сами – это вы как хотите. Ученых учить не буду, – распорядился ИП, обращаясь к мужской части экспедиции. Так и сделали.

Как показалось Лешке, девушки плескались в банных угодьях Фадеевых излишне долго. Фадеевы – благообразные старички, которые искренне радовались нашествию фольклористов, угощали их чем Бог послал (гости тоже в долгу не остались: девчонки захватили с тобой и консервы, и сладостей к чаю). Баба Маша успела пересказать Старикову все сновидения, которые вспомнила, и, между прочим, упомянула о бабке Акулине, родственнице Чириковой.

– Перевертывается она, вот ей-богу. Тетка моя покойна сама видала: у них огороды-те впритык были, а у ихнего сарая вся стена в щелях. Ну и к вечеру дело-то случилось. Глядит она, тетка-то: кто-то там в сарае маячит вроде. Ну, думает, чегой-то? Може, залез кто чужой, дай, говорит, посмотрю. И, Господи, страсти-то какие вот на ночь рассказывать! Смотрит: расставила эта Акулинка ножи. Ага. Двенадцать штук – все, как один, похожие, значит. Острием вверх воткнула-те, окаянна. И – кувырьк спиной к ним. А, мамоньки! И хрючит-хрючит: свинья натуральна выбегает.

Напоминание о студентке Любе не повысило настроение у Старикова, но сам текст был отличный.

Первую партию – всю сплошь состоящую из «Городецких» дам – сопровождал до школы Толька Тонков. Он объявил, что любит мыться в очень горячей бане – «так, чтобы зубы ломило». И поскольку после второй партии девушек ему сие удовольствие не грозило, солист и основатель «Городца» сообщил, что не вернется и останется в школе.

– Ну и хрен с ним: нам места больше будет! – обижался Юрка, который ревниво охранял саму идею бани и считал, что раз он причастен к ее организации, то все должны ценить это из последних духовно-душевных сил.

Со второй партией вызвались идти Стариков и Мишка, а рыжий обещал к их приходу «устроить самый лучший пар в мире». Когда вымытые и румяные девчонки высыпали на улицу, Лешка с поэтом вышли за ними вслед. Они не успели отойти от Фадеевской избы и пяти метров, как сзади раздался громкий и наглый голос:

– Эй, мужики, закурить не найдется? – от забора отделились четыре рослых тени, и в прямоугольниках неясного оконного света (уличных фонарей в селе почти не водилось) Стариков увидел физиономии незнакомых парней. Намерения поджидавшего квартета были яснее ясного:

– Куда столько баб на двух петушков, а? Разговор, бл., есть.

Один из подошедших – самый мелкий из квартета, с черными усиками и руками в карманах, посмотрел в упор на Лешку и продолжил:

– Тебе, очкан, кажись, ясно сказали, чтоб ты на Озерной не появлялся? Ты чё: не понял, да?

Девчонки, не сразу сообразившие, в чем дело, прошли еще метров 30, а затем обернулись в сторону кровавой разборки.

«Ведьмины штучки продолжаются!» – успел подумать Лешка до того, как мир вздрогнул и размылся: черные усики вlepил ему унизительнейшую пощечину, от которой слетели очки («Уж лучше б в глаз дал, честно слово!»). Через мгновение послышался пронзительный визг Дождиной, а картавый, почти лающий голос Таньки Родины возопил: «Оставьте наших мальчиков в покое, сволочи!».

– Защищают, – осклабился второй из квартета, почему-то напомнимый Старикову популярного певца Валерия Леонтьева. – Таких лохов бабы и должны защищать.

– Да что вам собственно нужно? – спросил Мишка таким жалким тоном, что, наверное, и сам понял, как же сильно стиль его вопроса не подходит обстановке.

– А это что еще за клоп? – загоготал черноусый. – Витьк, ну-ка отнеси его за забор, чтоб не вонял.

Самый крупный и, судя по лицу, совсем не самый умный из квартета двинулся в сторону поэта.

– Эй-ей, ребяташки! Вы чего тут на говно исходите? – спросил откуда-то сбоку до боли знакомый Лешке голос. Голос добавил еще несколько очень непечатных слов, и в квадратики оконного света выступил Петька Будов – собственной персоной. Прошло несколько томительных секунд. Стариков, подслеповато щурясь (очки валялись где-то в траве, и он всё боялся на них наступить), ожидал какого угодно развития захватывающих событий, но дальнейший сюжет не смог предсказать даже он.

– Будов, что ли? – спросил черные усики и улыбнулся, как Котерев при виде сковородки с жареной картошкой. – Да ты откуда взялся, падла?

Такой же вопрос мучил и двух еще не оправившихся от нападения фольклористов. Но они решили, что молчание – золото.

– Славка? Ё-мое! А ты откуда? Как встретила земля родная после дембеля? – они крепко пожали друг другу руки.

– Да по-разному... А эти с тобой, что ли? – усики кивнули на банных сопровождающих.

– Точно так, – Будов пожал руки Старикову, Мишке, а затем обошел с этим ритуалом остальных из квартета. – Ты уж, Славка, не доставай великих ученых: они тут ваших бабушек не обидят – на руках носить будут.

– Да я чё – я ничего! Хорошим людям всегда рады. Сеструха вот только у меня больно взъелась на того вон, где очки-то у тебя, ученый?

Минут через пять двое друзей возобновили почетный эскорт уже совсем нерумяных девушек. Будов остался дослушивать витиеватые рассказы Славки о жизни после демобилизации.

– Вы, мальчики, очень смело себя вели, – пискнула Родина. – А Будов – так вообще Брюс Уиллис!

– Да, прям как Бэтмен, – из темноты вышел и спас всех, – подтвердила Дождина.

Стариков молчал, всё еще переживая из-за унижительной пощечины, но радость от неожиданного появления Петьки грела душу.

## Глава 10. Тетя Марина Рядова: прикосновение первое

Юрка и Сланцев спали, зарывшись в спальники, – напаренные, расслабленные, ушедшие в nirvanу. Будов, как паровоз, курил одну сигарету за другой и всматривался в ночное небо. Они сидели на лавке, уже много чего пережившей, – и мимолетные прикосновения коротких шорт Чириковой, и чтение шедевра про телескоп «Хаббл».



– Ну, чего тут крутого-интересного? Вводи скорей в курс дела человека, истосковавшегося по общению! Хочется понять, чем вы тут живете, а то: «Экспедиция, экспедиция!». Все уши мне тогда прожужжал. С чем ее едят, и какой во мне тут смысл? – Петька выглядел намного лучше, чем в последний раз, когда его видел Лешка – обмотанного бинтами, в коридоре больничной палаты. На его щеке остался шрам после обморожения, но он не бросался в глаза: морщины, как известно, украшение мужчины.

– Тут всего не расскажешь, – пожал плечами Стариков. – Тут жить надо, пе-ре-жи-вать. Тогда поймешь. Про сестру твоего армейского кореша мы тебе еще в бане поведали...

– Занятная девица, – Петька выпустил кольцо дыма. – Это любовь, Леха. Однозначно.

– Ты предсказуем, как амеба! – загоготал Стариков. – Спорим, ты собираешься предложить мне куда-нибудь сводить Чирикову да еще и цветы ей всучить?

– Да куда тут сводишь – в этакой глухомани? Про цветы – конечно, подумать стоит. А ты говоришь, бабка у нее – ведьма?

– Да не ведьма, – поморщился Лешка. – Это вообще термин не... нерелевантный какой-то. Вот насчет того, что она – оборачиваться может, это да, и в Астрадамовке, и в Чеботаевке про то гуторят.

– Клёво. Ты к ней ходил?

– К Акулине-то? Первым делом. Из-за этого-то всё и вышло: я сходил к бабке, а потом, видишь, внучка приперлась-нарисовалась. «Вы на Озерную не ходите, мол...». Запретила, блин, – тоже мне указчица! Да там все самые интересные информанты живут.

– Ну а бабка-то, бабка чего? – у Петьки заинтересованно горели глаза.

– Чего бабка? Ты что, думаешь, она при мне через ножи, что ли, скакать начнет? Это фольклор, батенька, тут не всё так просто. Я от нее даже нормальных меморатов-то не записал: отнекивалась ото всего, у меня, дескать, insult, сынонька, а не пошел бы ты... куда ворон костей не заносил.

– Э-э, – разочарованно протянул Будов. – Выходит, ничего интересного здесь и нет, в Астрадамовке твоей?

– Ошибаешься. Много чего. Вот хочешь я завтра тебя к самой настоящей знахарке возьму? Мне даже про нее сон снился – такая синхрония вышла, закачаешься!

– Сон? – Будов помрачнел и выудил из пачки еще одну сигарету. – Сны – это слишком серьезно, Лешка. У меня тут такое с ними творится, что я уже боюсь в психушку загреметь. Всё надеялся, что у меня белочка, да я, как назло, вроде трезвым хожу: больше двух месяцев – ни капли в рот не брал.

– Выкладывай. Что стряслось-то?

Петька помолчал, посмотрел внимательно в глаза Старикову и запрокинул голову к звездам.

– Хорошо тут, тихо... Так бы и остался здесь до самой пенсии. Я, наверно, Леха, тебе только и смогу такое рассказать. Ты один сможешь... понять.

И Будов рассказал. Первый сон ему приснился месяца полтора назад: пожилая женщина, «смуглая такая, волосы длинные, седые, и нос с горбинкой», водила его по большой темной библиотеке.

– Вот устал, Лешка, с ней ходить – ноги все сбил. Огромная такая библиотечница – полки и стеллажи бесконечные. А она всё меня водит-водит, показывает, говорит и говорит. Потом останавливается и смотрит на меня – в самую глубину мою заглядывает. Вот эти волосы распущенные по бокам, и взгляд у нее аж пылает. Жуть берет. И спрашивает: «Хочешь всё узнать? Будешь знать. Ты у меня только попроси, и я дам!»

Стариков почувствовал, как по спине вдоль позвоночника пробежал холодок. Он вздрогнул, но ничего не сказал, а лишь кивнул: «Продолжай, мол».

– Это вот в первый раз. Потом много чего было – много раз она снилась, всё среди книг. Я плохо помню. Но вот неделю назад опять привиделось – тут уж я совсем за головушку свою стал опасаться. Вот веришь, нет: лежу будто я в каком-то ящике, как в гробу, с головой весь укрытый. Но это не гроб, а как вроде люлька. И я – младенец, малюсенький совсем. Сначала ничего не видно, а потом с меня одеяло сползает, и я вижу снова эту женщину. Она меня в люльке покачивает и поет потихоньку. «Сереженькой» меня называет. И всё так реально – вот до детали-черточка. Я, по-моему, даже ощущаю, что в пеленки нассал, как последний... ребенок.

– Велосипеда... – Стариков от волнения перешел на хрип. – Велосипеда там не видел?

– Какого велосипеда? Нет, не видел. Слушай, ты чего аж поси-  
нел – губы прям бледные?



- Фиг с ними, с губами. Рассказывай дальше.
- Да. Вот она в этой люльке меня покачивает, а вверху все скрипит что-то: скрип-скрип...
- Крюк это, в матицу вбит...
- Чего?
- Ничего. Дальше что было?
- Угу. Было. Берет она меня, Лешка, из люльки и давай плакать. К груди прижимает так сильно, что я задыхаться начинаю. А затем отстраняет меня вот так, – Будов вытянул руки перед собой, – снова смотрит на меня и говорит: «Езжай к другу, слышишь? Он тебя ждет. Не поедешь – жалеть всю жизнь будешь!». И всё.
- И всё?
- А-а! Ну как – всё... Мне этот сон раза три еще снился – достало прям до самых кишок. Весь в поту просыпаешься и заснуть не можешь до утра. Вот такая штука, Стариков. Ты по снам спец, вот давай – растолкуй, интерпретируй.
- Ты из-за сновидений, получается, сюда приехал?
- Можно сказать – да. А какой еще меня друг ждет? Думаю: «Ну его на хрен, товарищ Будов, – съезжу, с меня не убудет. Может, сниться перестанет всякая дрянь!». И приехал.
- Лешка молчал, потирая обеими руками занывшую вдруг шею.
- Ну, а у тебя-то что было? Чего молчишь?
- Стариков вздохнул и медленно, в подробностях пересказал другу свою «синхронищу».
- Она это! Она! Клянусь, Лешка! – Будов даже встал с лавки и прошелся из стороны в сторону. – Ты не придумываешь – точно видел эту, как ты говоришь? Зыбку?
- И зыбку, и велосипед.
- Не, я велосипеда не видел. Но это она, эта женщина, точно говорю! Как ее зовут?
- Теть Марина Рядова. Я сам с ней еще не беседовал – как раз завтра к ней собираюсь.
- Идем. Вместе идем к ней, однозначно. Я не знаю, как насчет твоей экспедиции, но вот Рядову мне увидеть во как надо! – Будов показал ладонью на горло. – Называй, как хочешь – фольклористикой, этнографией или как ты там любишь говорить – релевантно-нерелевантно. Пофиг. Я – с тобой!
- Леша протянул ему руку, и Будов крепко ее пожал.

– Петька, я чувствую себя, блин, как Д’артаньян, который уговорил друзей помочь ему с подвесками, – попытался пошутить Стариков. Бывший дембель даже не улыбнулся в ответ.

\*\*\*

– Как раньше чай пили, – это же целая церемония! Вот они сядут, старые люди, тех времен которые. Вот у них самовар тут дымит, на столе. Здесь же – чашки, блюдца. Тут – сахарок кусочками, его щипцами специальными отламывали. И вот – пьют, из блюдца отхлебывают. Всё чин чинарем, степенно. Часа два-три, и всё с разговорами, всё за беседу – совсем как у нас с вами сейчас, ребяташки, правда? – улыбалась Рядова и подливала друзьям заварки и кипяточку.

Тетя Марина оказалась не совсем такой, как ожидали Будов со Стариковым. По крайней мере, внешность точно другая – не было ни волос длинных-седых, ни горящего взгляда. Волосы – подкрашенные, стянутые назад в обыкновенную бабушкину «шишечку», а глаза – с синевой, добрые и усталые.

– Лечу я, сынок, как же: отовсюду приезжают, – отзывается она на вопрос Старикова. – И грыжу у детишек, и запой, и от порчи разной. Научилась откуда? Жизнь, Лешенька, научила. Я вам щас, ребяташки, всё расскажу, по нраву вы мне больно – глаза у вас умные, а лица – светлые. Я хороших людей за версту чую, Бог такой дар мне дал. Это дал, а другое-то... отнял.

Рядова говорила не так, как сельские бабушки: в ее словах, в том, как она «выстраивала текст», хорошо чувствовались и ее высшее образование, и ее бывшая городская жизнь. Да, она говорила неторопливо и литературно-правильно, но постепенно – по мере того, как шла беседа, как она этап за этапом, шаг за шагом пересказывала свою биографию и те события, что привели ее в Астрадамовку и заставили заниматься знахарством, – постепенно Стариков ощущал, что проваливается, теряет реальность под ногами. Его захлестывали эмоции, пространство по бокам вибрировало непрерывно, дрожало и пело, словно натянутые струны, уходящие туда – в бесконечность, к рухнувшему гигантскому зданию, вытянутому вверх.

– Понимаете, Валька будто чувствовал, что мы с ним в последний раз в жизни наряжаем новогоднюю елочку. Я ее волоком пронесла через весь ночной город, пришла – а он не спит. «Мамочка, давай

нарядим, ну, пожалуйста!»). Танцует аж, прыгает от нетерпения, как козлик молодой. Ну какое сердце материнское устоит? И мы с ним украшали эту елочку – шары тогда были такие хорошие, советские. И шишечки. И пластмассовые Дед Мороз со Снегуркой...

А в коридоре – Лешка это, черт подери, знал, точно знал, – еще до того, как об этом рассказала Рядова, стоял треклятый велосипед. Конечно, не трехколесный, а обычный – с рамой, с прикрепленным насосом и яркими катафотками на обоих колесах. А еще: на спицах – примотанная руками Вальки цветная проволочка. Это у мальчишек во дворе повальная болезнь, мода такая была, обматывать спицы проволокой – для шику и красоты. Тетя Марина не упоминала про проволочку, но он-то знал, он видел.

Он собственными руками выводил гребаный велик, когда к нему после школы зашел Федька, его друг из параллельного класса. И он хорошо помнил каждую потертость на кузове, ржавчину на дворниках, резиновый запах колес того «Москвичонка», что выехал из-за угла на зимнюю наледь возле школы: шофер не смог остановить машину. Не смог даже заметить выскочивший навстречу велосипед («Да вы в своем уме, какой велосипед зимой, под самый Новый год-то!?»).

– Вот тогда я и пошла в разнос, мальчишки. Бросила работу, ушла от мужа. Точнее, это он от меня ушел. Как умер двухлетний Сережка, мир стал для меня темный, как гроб изнутри. Но когда погиб Валька...

Тетя Марина отвернулась, и губы ее задрожали. Лешка уставился в чашку, Петька, насупившись, смотрел в окно, и только трехногая видеокамера методично оправдывала свое присутствие – делала то, зачем ее сюда принесли.

– Сначала я таскалась по церквям да по монастырям. Господи ты, Боже мой, где я только не была! Всю Россию-матушку исколесила – от Питера до Иркутска. И вот не помню, мальчишки, в каком городе – где-то на севере: сижу я на лавочке возле церкви и плачу-плачу. Уже без эмоций – просто слезы текут сами собой и всё. Подошла ко мне какая-то бабушка, в руках – кулек семечек. Она бросает на асфальт, и голубей – туча. Они там чуть ли не ручные, никого не бояться. Я гляжу, как они клюют, а у меня сердце готово выпрыгнуть. Вспомнила я про первого сыночка – как он привиделся мне на девятый-то день. Голубочком возле икон парит, а крылья у

него не шевелятся. Повернул он головочку и та-ак на меня посмотрел. А глаза – Сережины...

Рядова схватила чашку, ходуном заходившую в ее руке, и отхлебнула остывший чай.

– Она, эта старушка, под села ко мне поближе и спрашивает: «Что же ты плачешь, миленькая моя? Какое горе у тебя?». И я ей всё-всё, вот как вам сейчас, пересказала. А она говорит мне так ласково и строго одновременно: «Не плачь. Нельзя плакать! Они на том свете мокрые от этого – али ты не знала? Бог забрал твоих детей знаешь почему? Бывают времена, когда на небе не хватает ангелов. И тогда он забирает туда самых лучших, самых безгрешных. А кто безгрешнее дитяти? Поняла теперь?».

Ох, и наплакалась я тогда ей в жилетку. Но ведь это глупость, по жизни глупость, понимаете? Я ведь библиотекарем столько лет отработала, – Петька заметно вздрогнул при этих словах. – Я атеисткой была, я такая начитанная, мероприятия там все эти... Господи, ну зачем Богу моих детей забирать? Какая там нехватка ангелов!?

И снова – по городам-весям пустилась. Но речь ее, слова этой безграмотной старушки запали мне в сердце, ох, как запали... Ведь на сорок-то дней после Валькиной смерти – я вам не рассказала, что случилось? Сейчас опишу, всё расскажу вам. Я, может, только вас и ждала, чтобы вылить душу. Да я будто видела вас где? Вот помню твое лицо откуда-то, Лешенька. И его, – она кивнула в сторону молчавшего Будова, – и его будто знаю. Будто уже не раз встречала...

На поминки по второму сыну Рядова накупила всего, что можно было достать в магазинах, а что считалось дефицитом – все равно раздобыла через хороших знакомых.

– Там всё было: там мандарины-апельсины, куры самого высшего качества – целыми ящиками. Созвала всех, кого могла. Потому что я знала, что делала для своего сына. И что вы думаете? В ту же ночь после поминок снится мне сон. Валенька стоит весь в таком костюмчике беленьком, вроде как на какой-то палубе, на корабле на каком-то стоит и говорит мне – так жалостливо-жалостливо: «Мамочка, как я хочу кушать!». Я проснулась – думала с ума сойду. Побежала в церковь, ко всем соседкам-богомолкам, спрашиваю у них, почему так. А они – как обухом по голове: «Так пост же сейчас идет! Какие куры-апельсины? Навари каши постной, гречневой да суп с грибами. Вот и покорми – помянут». Я прихожу в настоящий ужас!

«Вы что, – кричу им, – с ума сошли? Разве мой сын это ел? Разве я могу такое сделать?». А они отвечают: «Это при живности он не ел, а там – всё по-другому, надо так». Я помянула постным – стало всё нормально, приснился хорошо он мне: доволен, значит.

Постепенно горе отпускало ее, и из интереса к жизни церковной выросло другое желание – помогать людям.

– Я как заметила это за собой? Точнее и раньше что-то было, но я просто, наверное, внимания не обращала, а тут – как-то само собой получилось. Ехала я в поезде в плацкарте, и вот у одной женщины ребенок маленький, девчоночка – вот ручки-ножки прям капелешные, малюсенькие – она расплакалась, разревелась на весь вагон. А мама-то – молодая, неопытная, не может успокоить ее. Минут десять без остановки плакала, аж посинела вся девчонка-то. Я не выдержала, подошла и говорю: «Дайте мне ее, пожалуйста!». Та уж на нервах вся: ведь вагон-то полный, кому понравится крик детский слушать? Она без слов мне ее протянула. И вот я взяла эту капелечку, прижала ее к груди, начала петь ей потихоньку, а из руки вот из левой что-то льется, теплая какая-то сила идет. И малышка – хоп, как выключили ее, замолчала.

Я потом уж примечать начала – особенно вот как луна прибавлять начинает, вот тут у меня – хоть святых выноси! Хочется гладить скотину вот большую, собаки ко мне липнут, кошки – все. Из руки льется теплота какая-то, и я, если ее не отдам, мне плохо становится. Видать, так надо... А вот, кстати, про собак-про кошек-то...

И тетя Марина сама, без всяких дополнительных вопросов перешла на другую тему – и тоже Лешкину. Успевай только записывать!

– Вот, говорят, домовой в каждой избе есть. Правильно – я в это верю. Вот в прежнем доме у меня водилась только черная масть. И кошки, и собаки, и коровы – у всех должно быть черного цвета побольше. Светлые все умирали – разом. Это вот дед домовой, стало быть, черное любил. Он мне и косички плел сколько раз, бесчисленно! Проснусь – ба! Вся голова в тенётах, переплетено, заплетено, прям иной раз выстригать приходилось. Вот любил он такие дела у меня. В этой-то избе не так. Его и не видать-не слышать.

Я, правда, ему кашки даю – вот в мисочке на верхá ставлю, может, он потому и спокойный у меня...



Друзья пробыли у знахарки больше четырех часов и не исчерпали и половину обычных Стариковских вопросов. Задерживаться дольше Лешке было стыдно, хотя тетя Марина уговаривала их остаться.

– Можно мы к вам завтра придем? А то утомились вы! – спрашивал Лешка.

– Это я-то утомилась? Вы, наверное, устали от моей болтовни. Конечно, приходите – в любое время. Очень вы мне по нраву – прямо как родные!

Они только вышли за порог и не успели даже перекинуться парой слов, как от соседней избы донеслось:

– Леха! Мне без тебя так плохо! Не забыл свое обещание? Я вас тут уже битый час жду-дожидаюсь, – а ну – заходи! – Родион Петрович гостеприимно распахнул калитку.

## Глава 11. Дед Родя

Сосед Рядовой в этот раз предстал совсем в другом обличи: на носу у него водрузились толстенные очки с одним треснутым стеклышком; в левой руке он держал покореженную и протертую чуть ли не до дыр балалайку.

– Я ведь и в клубу работал, и бывало молоко по селу собирал. Меня тут все знают, кто постарше – особенно из женского полу – те «председателем» зовут, ага. С собой принесли, что ли, или мне свою доставать?

Лешка испуганно замотал головой:

– Нам нельзя! Мы на работе ведь!

– Эвона как! А мне дед Юра Евгеньич все-ем о другом докладывался!

Лешка скосил, как мог, глаза на Будова и показал Карасеву, что, дескать, никак нельзя.

– Что он язвенник, что ли? Или по убеждению барагозит? – вполголоса спросил старик, улучив момент, когда Петька пошел вперед – в зал, куда их пригласил радушный хозяин.

– Хуже. В завязке, – быстро шепнул ему Стариков.

– А-а, ну тогда другой разговор. Хорошие люди и чайком беседу не испортят. Ну-ка, ребятёшки, налетай-торопись, мы тут щас и

салу, и кофию, и конфет – всё раздобудем. И огурчиков. Пойдем-ка, Лешк, со мной: в погреб за огурцами-грибами слазишь.

– Да не надо, Родион Петрович, мы же не есть пришли, нам побеседовать бы.

– Пойдем, сказал! Кто в доме хозяин! Мне что: огурцов с помидорами для дорогих гостей жалко?

Лешка покорно поплелся за спиной деда, одетой в серую «куфайку» с потертыми локтями. Он проводил Старикова в сарай, раздобыл откуда-то фонарь, вручил его Лешке и указал на квадратную дыру в полу.

– Давай, не бойсь: ни крыс, ни воды там нет, одна вкуснота.

Пока Лешка рыскал по погребу в поисках трехлитровых банок и подавал их одну за другой хозяину, тот успел расспросить фольклориста об их беседе с Рядовой.

– Про лечение, небось, рассказывала? – спросил он с усмешкой.

– Про какое лечение?

– Ну, что лечит она, калечит. Я вот что тебе скажу, Лешка: врет она, эта Марина, ни хрена она не умеет ничего! – Петрович сказал это с какой-то отчаянной решимостью и даже злостью.

Стариков не стал возражать, решив, что тут, вероятно, какие-то давние конфликты между соседями, которые без нужды не стоит ворошить.

– Пойдем, пойдем, дед Родя вам сейчас такого наплетет – знай только успевай слушать!

Они помогли Карасеву нарезать всякой снеди, которая – как ни крути – явно должна была выполнять функцию закуски, а не еды. Но старик больше не пытался предложить что-нибудь из своих запасов: «Завязка – это святое!».

– Леха да Петька, Петька да Леха... Как приступить-то? Вы вопросы задавайте, а я отвечать буду!

Стариков только открыл было рот, но Карасев уж начал сам:

– Поселок Медведевский Куйбышевской области слышал? Вот я оттуда. Дед у меня не хрен собачий – судьей был. Его вот все знали – вся губерния почитала. И пруд у нас до революции был, а в нем лебеди! Знаете, ребятёшки, что такое лебеди? Ни черта вы не знаете: и черные даже плавали, мне батя рассказывал, сам-то я ни шиша не видал. А потом раскулачили нас – власть-то эта, большевики. Эх, устроили они жизнь нам – батрачить в колхозе за «палочки» зна-

ешь, что такое? А последние, мать-перемать, яйца отдавать, знаешь как? Это налоги когда собирали – особенно вот после войны-те: и яйца, и зерно, и мясо – где хошь добудь да отдай. Только вот при Брежневке немного вздохнули посвободнее. А потом опять – лыко да мочало, всё порушили... Эх!

Карасев чокнулся с фольклористами чашкой с чаем и, вздохнув, отпил несколько глотков. И неожиданно затеял новую тему, глядя на друзей сквозь очки-аквариумы:

– Вот вы кельи знаете, что такое? Слыхали? Ага. Сидел и я там – девчонки и вязали, и куделю пряли, а парни-те с балалайками да с гармониями придут – тут оно самое веселье.

– Говорят, оставались ночевать с девчонками в кельях-то?

– Эвано как! – крикнул рассказчик. – Дык зачем туда еще ходить, как не за-ради девок-то? А идем по кельям-те – у нас их в Медведевском много было – и вот соображаешь: чё где сотворить. То коровью говёшку на трубу сверху затащишь, а хозяйка поутру затоплять начнет – весь дым в избе! «Да, матушки! Да чтой-то такое?» – запричитает-запричитает, а говёшка-то разогреется – шмяк на шесток. Смеху-у!

Или вот еще телегу на крышу затаскивали: мужик выйдет – нет телеги! Обыщет всё село, а она у него на крыше торчит. Вот ведь и не лень было... Ну, спрашивай чё-нить еще!

Лешка снова открыл рот, чтобы навести старика на нужную тему – и опять не успел.

– Вот у меня друган – Серега с Забалуйки, он щас покойный уж. Мы с ним по молодости чего только не вытворяли! Вот привяжем картошку за нитку толсту, «сурова» этакая нитка-то называлась, навесим ее над окном, значит, а сами в кустах скоронимся. И вот вечером дергаем – картошка в окно-то: стук, стук! Выбегают хозяева: нет никого! А мы опять! Вот развлеченьице-то. Или баба какая-то, вдова одинокая выглянет в окошко – а мы ей сунем череп лошадиный со свечкой внутри, та – как завопит, слышишь: бух на пол в обморок. А нам, дуракам, – веселье!

Стариков с Петькой, еще не отошедшие от разговора с Рядовой, сначала тихо прыскали в кулак, а потом принялись гоготать, как совхозные лошади. Дед только этого и добивался: он соскучился по зрителям, по роли центра компании и по веселым, с искрою, глазам молодых собеседников.

– А дружкой да полдружкой сколько раз я на свадьбах был! Оё-ёй! Не счесть. Да погоди, у меня даже фотки где-то есть, я там на второй день себе такие груди приляпал – все мужики в Медведевском мои были! – Петрович вскочил и, раскрыв все шкафы и тумбочки в зале, организовал всемирный поиск фотографий.

Будов взял потертую балалайку, оставленную дедом на диване, и начал ее настраивать. Карасев немедленно развернулся к нему:

– Умеешь, что ль, Петр? Бренькать-то?

– Я на гитаре больше...

– Раз на гитаре могёшь, то и тут – подол задерёшь. Ну-ка! Щас вам дед Родя частушек целый дуршлаг наро́дит. Какую знаешь? Давай типа «Подгорной»...

Будов порозовел:

– Да я не знаю такой.

– Э-эх! Давай сюды! Только покемонов по углам ловить можете. Ну-ка! – старик выхватил инструмент и начал приноравливать. Толстые, изуродованные тяжелой работой пальцы не слушались, но он всё равно забренчал, потом вроде как поймал мотив и – пошла плясать губерния:

– *Дедушка, дедушка,*

*Хрен тебе, не хлебушка,*

*Без картошки проживёшь –*

*Плохо бабушку... эх!*

*... Как в колхозе, в лебеде*

*Нашла бабушка муде:*

*Оне такие сорные,*

*Наверно, беспризорные! Э-эх!*

И от этого протяжного «эх!» вздрагивала вся изба, и покачивалась стеклянная советская люстра. Дед, сидя на стуле, умудрялся и играть на балалайке, и петь, и выделывать такие кренделя ногами, что стонали половицы. У Старикова текли слезы от попыток удержать смех, а Петька весь просто сиял – Лешке показалось, что у него даже шрам на щеке куда-то пропал.

– А вы ответну давай! Ответну-у! – кричал Карасев, словно болельщик на стадионе. – Чего сидите, как истуканы, фольклористы хреновы?

Петька кивнул, балаганный дед, которого он десятки раз играл на Масленицу, вдруг проснулся в нем, развернул плечи во всю ширь прокуренных легких, и Будов выдал:

*«Я в калошу насрала,  
А в другую нассала!  
И стою люблююся:  
Во что же я обуюся?!».*

Петрович крякнул от удовольствия и удвоил балалаечные усилия:

*«Раньше были времена,  
А теперь мгновения,  
Раньше подымался хрен,  
А теперь – давление...».*

Стариков потерял счет Карасевским частушкам, у него болел живот от смеха и хотелось встать самому и выдать что-нибудь этакое, да он не умел, не из таких был – и впервые искренне жалел об этом.

– Ну чё, Леха? Хороший тебе дед попался? – спрашивал Петрович, когда всё немного успокоилось, и половицы перестали стонать.

А потом они ели, снова пили чай и неспешно беседовали. И из этого неспешного разговора постепенно выяснилось, что дед Родя – балагур, матерщинник, шут и «председатель» – в свое время повоевал, бежал из плена, отморозил пальцы на обеих ногах, два раза был женат, работал всю жизнь токарем («пятый разряд, ребятёшки!») и много-много чего еще успел в этой жизни.

– Вот вы глядите на меня сейчас молодыми своими глазами и думаете, наверное: «Дурак ты, дед Родя, старый дурак!». А ведь я там, вот там вот, – он хлопнул себя по груди, – еще совсем не старик, Леха, Петька! Как прошли годы – и не заметил совсем. Ведь восемьдесят пятый годок мне, мужики, самому не верится! А на висках и в бороде еще волос черных полно. Другой раз смотришь в зеркало и говоришь себе: «Господи, ведь ты, дурень старый, двух жен скоронил!». Но почему же в душе-то молодость такая, а? Когда, куда утекло всё, куда года подевались? Э-эх! Мать вашу за ногу! Жаль, что вы не пьете!

Лешка испуганно покосился на Петьку, тот никак не среагировал на последнее предложение деда. В этот момент дверь избы тихонько отворилась, и на пороге появилась девушка – в очках и веснушках.

– А я всё стучу-стучу вам, а вы, наверно, и не слышите! – сказала она робко, и воцарилась тишина. Карасев приосанился, провел по вискам руками и произнес:

– Где ж вы, ироды, девку-то прятали всё это время? Садись, красавица, гостьей будешь.

Стариков уставился на вошедшую, ничего не понимая.

– Ольга? – спросил он удивленно. Ее фамилия вертелась у него на языке, но никак не приходила на ум. Зато он точно помнил, что разговаривал с ней о свидениях – в 313-й лекционной аудитории. В другой, далекой городской жизни.

– Так ты чего, Лешка, не заметил ее с утра, что ли? Она же со мной приехала, – Будов пододвинул студентке табуретку. – Проходи, Оленька. А с этого кандидата наук станется: он и розетку-то на одиннадцатый год замечает только.

Шутка была с бородой: как-то Стариков упомянул при Петьке, что он в своей квартире только на десятый год обнаружил одну из розеток, и с тех пор Будов часто подшучивал над ним. Впрочем, розетки, как и некоторых людей, он действительно иногда (видно, по природной рассеянности) просто не видел.

Беседа сразу изменила настрой и стиль: дед не позволял себе ни одного грубого слова, сделался галантным, вежливым и, как показалось друзьям, каким-то скучным. Минут через пятнадцать после прихода Щеголевой (фамилию студентки Стариков все-таки вспомнил) фольклористы засобирались в школу.

– Я ведь еще хотел сказку одну тебе рассказать, – зашептал Петрович Лешке, когда Будов с Олей, попрощавшись, направились к выходу.

– Я вас догоню – через несколько минут! – тут же нашелся Стариков и снова достал штатив. Петька понимающе кивнул и вышел вслед за студенткой.

– Не могу я при дамах, Леха, понимаешь? Ну вот хоть режь! – оправдывался Карасев. – Да брось ты свою камеру, я тебе и так наговорю, а ты запомнишь!

Но опытный собиратель уже давно нажал все необходимые кнопки.

– Ну как, я много такого знал раньше-то. А щас всё забыл, старый пес... Ага. Настроил свою балалайку? Ну, слухай. Шел солдатик, вот двадцать пять лет отслужил – еще, видать, царско время-то было. И двадцать пять рублей заработал за службу свою ратну...

Идет, пригорюнился весь, думу думает: «Двадцать пять лет отслужил – и ни разу не пробовал!». Смекаешь, Леха? Ты уже женатый, поди, тебе можно про такое.

И вот едет барыня – расфуфыренная, куда там! И слышит, как солдатик-то жалуется: «Мол, двадцать пять рублей накопил – а кунки живой не видел!». Барыня его к себе – цоп! – в карету. Ну, привезла его домой – большой домина-то, три этажа с этажерочками. Слуги набежали, солдатика накормили, напоили да приодели. Стоит – молодец молодцом, хрен огурцом!..

Лешка сразу опознал сюжет заветной сказки – но в таких деталях и подробностях ему еще никогда не удавалось записывать подобный текст: Петрович говорил минут пятнадцать – там были и три дочки, и забавное задание для солдата, и много чего неприличного и понаматерного. Одним словом, Стариков точно знал, что предложит сегодня на вечернюю «прослушку» мужскому населению экспедиции.

И уже стоя на крыльце и пожимая Лешке руку (Будов с Щеголевой прошли половину пути до школы), Родион Петрович неожиданно остановил фольклориста за плечо и сказал самое важное – наверное, то, из-за чего он, собственно, и позвал их к себе в избу.

– Рядова больна, Леш. Тяжело больна: по женской части там, рак груди, кажется. Ей совсем немного осталось...

Стариков застыл на месте, не зная, что сказать и куда идти.

– Я тебе затем говорю, чтоб ты знал. Она – очень, очень хороший человек. Многим помогла, да и меня спасла однажды... Я ведь этот дом только из-за нее на Озерной купил, чтобы к ней поближе быть. Лечила она и лечит, да вот себе помочь никак не может! Мать вашу в качель!..

Он отвернулся, но Лешка успел заметить, как сильно задрожал у него подбородок.

– Вы придите к ней еще раз, обязательно, слышишь? Она рада вот таким гостям – которым от нее ничего не нужно, только чтобы побеседовать-поговорить. О ее жизни да обо всем, что было. Придете?

Стариков закивал.

– Ну, иди-иди. Заждались вон друзья твои. А Ольге – привет от Родиона! – дед подмигнул, снял треснувшие очки и уселся на ступеньку. Лешка несколько раз оборачивался в сторону Карасевского крыльца, откуда шла тоненькая сизая струйка сигареты Петровича. Будов призывно махал рукой, чтобы Стариков ускорился: по всей видимости, торопил на ужин.

Он пошел быстрее, штатив бился о его спину при каждом шаге, но молодой препод этого не замечал. Сознание его парило где-то вверху, над Астрадамовкой, над крышами двух домов, сиротливо стоявших в стороне от остальных изб на Озерной. Что-то сильное давило изнутри – там, где грудь; судорога в горле никак не проходила, и ему совсем не хотелось в школу – в шум, суету, туда, где поют и смеются.

«Вот это и есть настоящее, – думал Лешка, наблюдая, как последние закатные лучи подкрашивают шифер сельских крыш. – То самое, чего нельзя передать в научной статье, записать на видео или сдать в расшифрованном виде в архив. Несколько часов разговора – и вся жизнь как на ладони. Но попробуй рассказать об этом, описать кому-то и – сотрется, опошлится, заболтается. Уйдет».

– Чего задумчивый какой? – Петька тронул его за плечо, и Лешка вздрогнул.

– Это, наверно, из-за меня? Я помешала вам... – расстроилась Щеголева.

– Нет, совсем нет, – улыбнулся Стариков. – Всё было очень... релевантно.

## Глава 12. Картофельный бунт

Любая типичная революция начинается с мелочи. Ташка и всего-то решила вместе с дежурными сотворить на завтрак драники (они же – белорусские драчёны). Имя страдальца, который, измождая длани, смог на всю экспедиционную ораву натереть должное количество синеватой консистенции, науке неизвестно. Зато всем запомнилась предсказуемая реакция Котерева.

Рыжий с большим удовольствием умял три-четыре золотистых лепешечки, порядочно обмакнув их в сметану местного происхождения. Затем потянулся за следующим поджаристым сокровищем, но тут же получил по рукам – в буквальном смысле.

– Куда тянешь лапки, Юрочка? – Белорукова прищурила глаза и привычно выпрямила спину. – Не видишь, что ли: еще не все даже со спальников изволили подняться. Сам Шахчик не завтракал.

– Да не любит ИП с утра жареное-то, – попробовал возразить



Котерев (Юрка успел выведать кулинарные пристрастия многих), но в ответ услышал ледяное молчание.

Рыжий вздохнул, пожаловался окружающим на жизнь и ушел с Будовым курить. Через десять минут Юрка заглянул в класс, где застал Старикова за расшифровкой. С утра небо затянуло серой пеленой, повеяло холодом, а затем по школьной крыше застучал затяжной неприятный дождь. Лешка решил переждать непогоду за обработкой записей.

– Михалыч, можно тебя отвлечь для важного совещания?

Стариков освободил одно ухо от наушников:

– С кем это?

– Со мной, конечно! – глаза рыжего подозрительно блестели – ровно такую же искру они выдавали в памятную ночь разбитых витрин. – У нас с Петькой родилась замечательная идея. Просто сногшибательная. Она положит конец мужскому кухонному рабству!

– Да ты, по-моему, на кухне-то полтора раза помогал, – ответил Лешка и вынул второй наушник. – В основном, ты там просто, как бы это помягче... просто жрешь!

– Да я не про дежурство, – терпеливо объяснял Котерев. – Гениальная идея в другом: видел, как сегодня ничтожно мало было драников? Без добавки! Как это унижает человеческое достоинство! И вот Будов предложил: давай, говорит, к обеду сделаем свои драчёны, так сказать, в мужском варианте. И сметаны купим трехлитровую банку! Так, чтобы на всех! Чтобы все ели от пуза и по рукам их не бил кое-кто с выпрямленной сьпинкой! Ну? Ты с нами?

Стариков вынужден был признать, что предложение и впрямь рациональное: кухонный Ташкин тоталитаризм нуждался в ограничительных процедурах.

– Ладно. С вами. Но от меня-то чё надо?

– Слушай, – голос Юрки стал умоляющим, – ты же больше всех по бабкам ходишь – у кого из них можно мясорубку стрелнуть? А то столовская тёрка – ты видал ее хотя бы издалека? Ржавая и покореженная в десяти местах. Сотрешь руки в кровь от трудов праведных. Да и таз бы побольше добыть – какую-нибудь тарелищу для тертой картохи.

Лешка задумался: кого можно побеспокоить? Так, чтобы и местное население не напрячь, и ходить недалеко. Пожалуй, здешнюю повариху – он от этой веселой и полной смуглянки с каштановыми кудрями записал пару прекрасных сновидений.

– Есть шанс добыть мясорубку и таз! Живет сия волшебница в синем доме направо от школы. Зовут Зоя... Зоя. Не помню, как по бабушке.

– Сходишь? – рыжий сделал глаза, как у Шрековского кота. – Тебя-то она знает, а мне, может, и открывать не станет? А? А всё остальное – мужественную работу по производству продукта – мы с Петькой берем на себя. Правда, еще на сметану скидываться придется.

Стариков тяжело вздохнул, воткнул ноги в шерстяных носках в калоши, купленные много лет назад в одной из экспедиций, и поплелся в синий дом.

– Драчёны жарить будете? – повариха Зоя разулыбалась. – Конечно, дам. И приносить назад ничего не надо – я потом из школы сама заберу. А картошка-то у вас есть?

Лешка почесал голову и признался, что в такие подробности не вдавался.

– В подробности он не вдавался, – хмыкнула веселая смуглянка. – Вот мужики все такие – в подробности не вдаются, а бабе ребенка роди, накорми, в садик отведи, с уроками помоги. А для вас – всё подробности.

Стариков развел руками в знак примирения и согласия.

– В погреб-то лазить умеешь? Или тоже – «подробности»?

Фольклорист послушно полез в прямоугольную дыру и, подавая ведра с картошкой наверх, рассказал, что он уж не в первый раз в Астрадамовке по погребам лазит.

– А у кого еще-то? – спросила Зоя, раскрасневшись и встряхивая кудрями. Лешка выбрался на поверхность и уже примеривался к почти полному мешку.

– Да вот у деда Родиона Карасева! Мы с ним дня два назад беседовали... Больно много картошки – куда нам столько?

– Так я родня Петровичу-то, дальняя, правда. Да не много, а в самый раз! Или надорваться боишься? Давай я донесу! – повариха захохотала, отталкивая Старикова, и действительно ухватила за верх мешка, собранный гармошкой.

– Нет-нет, – засуетился фольклорист. – Позвольте мне. Я дотащу.

– Ну-ну, смотри! Таз и мясорубку в пакет тебе засуну, нож там мне только не ломайте.

Стариков, покачиваясь, вышел в раскисший от дождя двор: на его плечах покоился мешок, а на локте шуршал повисший пакет со

всем остальным снаряжением. Повариха открыла ему калитку и, видя, как его калоши скользят по уличной грязи, смеялась и кричала ему вслед:

– Не поскользнись, фольклорист! Горе луковое! Женат ты аль нет? Приходи вечером ко мне – может, и сообразим чаво!

Она покатила со смеху от собственной шутки, Лешка из-за последней ее фразы и впрямь чуть не грохнулся, но сумел удержаться. Когда он обернулся в сторону синего дома, калитка уже захлопнулась.

\*\*\*

– *Voni pastoris est todere pecus, non delubere*<sup>8</sup>! – возгласил Сланцев, увидев бредущего с тяжелой ношей Старикова. Поэт стоял на крыльце и любовался школьным садом, посвежевшим после дождя.

– Помоги лучше, чертов латинянин, – прохрипел Лешка, и Мишка принял на себя часть его груза.

– Я знаю о тайном плане по накормлению тремя драниками всех страждущих в экспедиции. Только возникла одна проблемка: не хватало картохены. Теперь и она благополучно разрешилась, – сообщил Сланцев новые детали творимой здесь и сейчас революции.

– Скажи, Мишка, – юный препод тяжело дышал с непривычки к физическому труду. – Ты латинский специально учил или как?

– Родители натаскивали с детства, – скромно признался поэт. – Давай затащим мешок внутрь и призовем на помощь сильных телом...

На кухне орудовали только мужики: Будов со Стариковым сидели за чисткой картошки, Сланцев и Котерев возились с мясорубкой. Толька Тонков медленно обводил всё действие победоносным взглядом генералиссимуса. Еще с утра рыжий выведал у основателя «Городца» страшную тайну: оказалось, что по первому образованию Толька – повар. Это и определило его сегодняшнюю судьбинушку – стоять у большой разогретой сковородки и румянить драчёны.

– Яиц-то в таз покололи? – басил Тонков. – Без яиц никак нельзя.

Все мужики согласились с этой сентенцией, и Рыжий бросился к холодильнику за просимым. Затем под руководством несостоявшегося повара синеватая основа для драников была немного приправлена мукой и солью.

---

<sup>8</sup> Хороший пастырь стрижет овец, а не обдирает их (лат.; изречение приписывается Светонию).

Из-за дождя на запись ни утром, ни днем никто не пошел, хотя Стариков уверял, что именно в такую погоду получаются лучшие беседы.

– Сколько раз такое было: сидишь с бабушкой, за окном – хлещет, а ты разговариваешь и разговариваешь. И никто тебе не мешает, не достает... – мечтательно вспоминал Лешка, роняя кожуру на пол.

– Ничего-ничего, наразговариваешься ты еще со своими бабушками! – Юрка летал по столовой, как голодная комариха, заметившая стайку полуголых сельских ребятишек, идущих с речки. – Между прочим, сегодня экватор экспедиции! Можно и отметить.

– И то правда, – кивнул Сланцев. – Как это мы с тобой, Лешка, упустили? А он, вишь: первый раз в экспедиции, и всё примечает. Вписался ты, Юрка, в экспедиционный быт – своим человеком стал.

– Точно! – самодовольно отозвался Котерев. – Будто сто раз уже ездил.

– *Ой да ты, кали-инушка, размали-инушка!* – донеслось из-за шкварчащей сковородки. – *Ой да ты не сто-ой, не сто-ой, на горе-е крутой...*

– *Ой да не роня-яй листься во синё-о море-е,* – подхватил неожиданно сильный, глубокий баритон Будова. И дальше на всю столовую, а через открытые окна – и на весь школьный двор, и на всю Астрадамовку понесся неслаженный, но искренний и душевный хор из пяти мужских голосов.

Стариков, стеснявшийся петь даже в одиночестве, тоже принялся подтягивать отдельные «е» и «о» и смотрел на всех по-настоящему счастливыми глазами.

На звуки песни и на запах свежешаренных драников высунули носы дамы из «Городца». Они побросали надоевшие ноутбуки с расшифровками и заняли часть стола. Вскоре оттуда также донеслись песни и смех.

– Котерев! – командным голосом забасил кухонный генералиссимус. – Пора и за сметаной дуть. Тебе на твоей «семерке» – раз плюнуть.

– Так точно, – приложил мокрую ладонь к рыжему виску Юрка. – Только без меня есть не начинайте, лады?

Будов со Стариковым уже завершали свою часть работы: огромная кастрюля с водой была до краев набита скользкими желтоватыми овалами почищенной картохены, а мусорное ведро ломи-

лось от очистков. Поэт, оставленный рыжим на произвол мясорубки, методично и не спеша перемалывал овальные тела картохен в желтоватую субстанцию.

– Всё хотел тебя спросить, – вполголоса проговорил Лешка, хотя его и без того никто не услышал бы: столовая была переполнена звуками – гремела об раковину струя воды, шкварчала сковородка, пел «Городец». – Ты с Щеголевой-то как пересекся? Она на тебя сама вышла, что ли?

– Ага, – согласился Петька. – Вышла. Мы в соцсетях обрели друг друга. Знаешь, хештег: «экспедицияШахов» – порождает просто неслыханные чудеса и синхронии.

– Поня-ятно, – протянул Стариков. – Ну, а чего она тебе сказала, как объяснила-то? Ведь она раньше не ездила с нами.

– Как, как – очень просто. Хочу, говорит, поехать, а то Алексей Михайлович нам столько рассказывал про экспедиции! Тудым-сюдым, лясем-трясем. Ну как обычно у девушек: болтовня одна. А ты что – стремишься ее, что ли? – Петька потер нос тылом мокрой ладони и схватил предпоследнюю нечищенную картошку.

– Да нет. Просто в этой экспедиции столько народу... неожиданного.

– Так это ж хорошо!

– Хорошо да не больно!

– А что же?

– А всё то же!

– А как же?

Они захохотали на всю столовую и прервали песню ансамбля. В наступившей секундной паузе голос Шахова произнес:

– Таки-так! Чем это у нас так вкусно пахнет? А не пора ли обедать?

Когда вернулся Юрка с банкой сметаны, вся экспедиция в полном составе вкушала произведение мужского искусства.

– Ну вот! – застонал рыжий. – Так и знал, что без меня начнете!

Тонков с серьезным видом начинающего официанта вышел из кухонного отделения с громадной тарелкой, заваленной драчёнами.

– Это только для тебя, Юра! Доля короля!

Котерев, как фокусник, откуда-то из рукава выудил бутылку кетчупа с надписью «Шашлычный» и водрузил на стол. Затем, вымыв руки, уселся возле своей королевской доли. Все задержали ды-

хание, посматривая на пару, сидевшую как раз напротив друг друга, – Юрку и Ташку. Белорукова медленно подняла взгляд на рыжего, важно осмотрела стол, усыпанный результатами мужской щедрости, и провозгласила:

– Ешь-ешь, Юрочка, но только из своей тарелки. И добавки не проси!

Смеялся даже Шахов – вскидывая руки и покачивая бородой. Так прошел экватор.

## Глава 13. Тетя Марина Рядова: прикосновение второе

Идти все-таки решили вдвоем: Будов сначала вообще отказывался, сумрачно глядя в сторону. Стариков пожимал плечами и настаивал на своем.

– Петька, я не понимаю тебя: почему не хочешь-то? Вчера всё было нормально, сегодня вечером она нас с тобой ждет. В чем дело?

– Леш, чувствую я себя не слишком... Иди один, а?

Затем бывший дембель резко изменил свою позицию:

– Слушай, а давай втроем – Щеголеву с собой прихватим? Как смотришь на это?

– Да пойми ты: я же не прихотью своей руководствуюсь! Мне нужно, чтобы собиратели были те же, что и в первый раз. Тогда можно будет сравнить две беседы с одним и тем же информантом. Ты разве не помнишь, что произошло, когда Оля вошла к Карасеву? Он мгновенно стал другим: и речь не та, и поведение, и какая-то галантность-вежливость посыпались из него прямо фейерверком. И с Рядовой то же самое случится. Неужели непонятно?

– Понятно, – пробурчал Будов. – Понятно, что для тебя наука – прежде всего. Девчонка, можно сказать, из-за него приперлась сюда, а он – брат не хочет.

Лешка сильно покраснел, встал со стула (они разговаривали в своем классе) и начал собирать технику.

– С чего ты взял, что она сюда из-за меня приехала? – наконец выдавил он.

– А из-за кого? Из-за меня, что ли? Тут семи пядей во лбу не надо иметь, а у тебя их все восемь. Вот и пораскинь мозгами-то, – Петька откинулся на спальник и закрыл глаза. За окном вечерело. Дождь закончился, но из форточки сквозило холодом и идти действительно никуда не хотелось.

– Да куда я сейчас ее потащу? – оправдывался вполголоса Стариков. – Завтра – пожалуйста. А сегодня мы должны идти вдвоем – тут и дискутировать нечего.

Лешка накинул свою потертую джинсовую куртку и вставил ноги в знаменитые калоши.

– Так идешь или нет? Я ухожу.

– Подожди, – хмурый Петька тоже засобирался...

По дороге Стариков еще несколько раз пытался добиться от Будова причины, по которой он не хотел повторно навестить Рядову. Но тот лишь ссылался на плохое самочувствие и плелся сзади.

Еще издалека фольклористы увидели около дома тети Марины припаркованную иномарку.

– Клиенты приехали, – мгновенно догадался молодой препод. – У нее родственников не осталось, значит – точно кто-то лечиться прикатил.

– Вот видишь! – обрадовался Будов. – Давай завтра нагреем, а? Человек занят, мы ее ещё вчера достали своими вопросами.

– Посидим на лавочке и подождем, – отрезал Лешка и пошел вперед.

Сидеть пришлось недолго. Из калитки стремительно выскочил молодой парень, мельком взглянул на хмурых друзей, притулившихся на мокрой лавочке, кивнул им головой, в машине пискнула сигнализация, и клиент был таков.

– А-а, заходите-заходите... – осунувшееся и невеселое лицо тети Марины немного просветлело.

– Может, мы не вовремя? – забеспокоился Стариков, заметив ее состояние.

– Нет-нет, в самый раз: сегодня больше уж никто не приедет.

Она проводила их в зал за стол – на прежние места. Всё было прежним – и большие настенные часы, тикающие как-то жестко и громко, и небольшой телевизор в углу, и иконостас, и стулья, и мягкий диван. Только вот их собеседница была другой – тысячи мелочей были иными: глаза не излучали больше света, уголки губ

опустились вниз. Изменилась и прическа: старушечья шишечка сзади исчезла, и поседевшие волосы висели по бокам. Сегодня она удивительно напоминала женщину из сна – ту, что качала зыбку со скрипучим крюком вверху. Лешка почувствовал неприятный озноб по всему телу.

– Кто к вам приезжал? Полечиться? – спросил фольклорист, чтобы затеять разговор.

Рядова кивнула, затем вздрогнула и быстро прижала левую руку груди. Лешка обеспокоенно оглянулся на Будова. Между их стульями стоял штатив с включенной видеокамерой. Петька уставился себе на кроссовки и молчал.

– Вы точно себя нормально чувствуете? Может, врача вызвать? Или нам уйти?

Она внимательно посмотрела Лешке в глаза, и морщины на лице у нее расправились.

– Вчера заходили к нему? К Карасеву-то, кавалеру моему престарелому?

Стариков улыбнулся и кивнул.

– Тогда он наверняка разболтал про меня – у него язык без костей... Знаешь ведь, Леш? Про болезнь?

Стариков кивнул, а Петька с недоумением покосился на него.

– Я тебе сейчас соврала, Леш. А мне лгать нельзя – запрещено. Вот и приступ случился. Парень этот не лечиться приезжал сюда, а присушить кое-кого. Знаешь ведь, про что толкую? Я, мальчишки, заниматься не хочу этим – нехорошо так делать. Но они, – Рядова неопределенно махнула рукой, – приезжают всё равно, просят. Я – не отказываю.

Молчание. Жесткие звуки тикающих часов.

– Давайте я чайку затею, что ли? Не принято у русских людей просто так беседовать. Поди, и этот – Карась-то мой, тоже угощал?

Стариков облегченно улыбнулся: слава Богу, можно сменить тему, и принялся рассказывать про то, как он лазил в погреб к деду Роде.

– Он такой, – подтвердила тетя Марина, зажигая плитку. – Гостеприимный. Хрыч старый... Хороший он человек, но поздненько больно мы с ним... познакомились.

Снова тишина. К звуку часов добавляется стрекотание старого электросчетчика. За окном – темнота.



– Вот вы в прошлый раз приходили, и я о себе много чего понарасказывала – горюшко вам свое выплеснула, хорошей представиться захотелось. Мы ведь, мальчишки, все так устроены: плохое прячем, а хорошее на показ выставляем. В этом зазорного-то вроде нет ничего. Но и правды – мало. Я вот, Леш, такой случай еще вспомнила, чтобы ты не думал... Чтобы понял, что я такое – Рядова тетя Марина.

Я ведь до Астрадамовки еще в Ульяновске успела пожить-поработать. А уж туда как попала – не важно, долго больно вспоминать-то. Устроилась не по специальности – продавцом-бухгалтером в магазинчик один, ну как: фотосалон. Рамки, фотографии, батарейки – всё такое. Салон небольшой – в коллективе-то всего четыре человека трудились. Это у нас как филиал был, а головной-то офис – в центре, на Гончарова, знаете, наверно.

И вот сдружилась я с одной там – моложе меня, белобрысенькая такая, худенькая, на шпильках всегда ходила. Каждое утро слышишь: цок-цок по вымытому кафелю, ага, значит, Аля идет. Мы с ней в одну смену постоянно. Так-то у нее «Альфия» имя, но все: «Аля, Аля» – и я тоже привыкла. Она мне про домашних своих, я ей про свои скитания-мотания – а чё: работали-то с девяти до семи, весь день вместе, наболтаешься до мозолей на языке. И пригляду со стороны начальства поменьше, не как в центре-то.

И вот так – слово за слово, она мне как-то и говорит: «Марин, я вот по человеку одному переживаю, мол. А он женатый, детей двое. Да мы любим друг друга сильно, уехать даже в другой город хотим. Ты что посоветуешь?».

Ну, понятно, вроде дружили – я ей про себя-то много чего понарасказывала: и лечу, мол, и гадаю. Тут ведь разве скроешь: обе бабы и подруги как бы. А сама-то Алька тоже вроде как замужем, но детей у них не получилось, и, видишь, – на сторону ходить начала. Да я так поняла, что у нее уж не первый роман-то приключился. Ну да ладно. Вечером как-то сидим – метель, покупателей никаких. Она подседа ко мне и фотографию его достает: ага, погляди, мол, какой красавчик! Я посмотрела: мужик видный, галстук, выбрит чисто, руки холеные – из богатеньких, видно.

«Хороший, говорю, Алька, мужик. Статный». Она кивает, а сама, чую, хочет мне сказать еще чего-то. А затем деньги кладет передо мной: пять тысяч. «Ты, – говорит, – можешь, Марин. Я точно

знаю. Сделай так, чтобы он от жены ушел. Он любит меня очень, но и жену из-за детей не бросает. Мы с ним измучились просто, он уж высох от тоски-то – смотреть больно на него». И в глазах – слезы.

Я ей говорю: «Убери деньги, дурочка. Я никогда деньгами не брала и не буду: грех это непрощеный. Ты лучше ее фотографию, жены-то его, мне завтра принеси». Та головой замотала, обрадовалась и – всё. А я уж ночью лежу – квартирка у меня была на Полбина – лежу и думаю про себя: «Да на что же я согласилась-то? Детей с отцом родных разлучать? Мне же потом до самой смерти думаться будет, а на том свете – за космы повесят!».

И пришла на работу-то, а Алька шепотом ко мне, конфеты сует и фоточку – сверху. Я дождалась, когда никого в салоне не осталось, и всё ей сказала: «Нет, говорю, Алечка, не могу я так. С отцом детей разлучать!». Она посмотрела на меня, поулыбалась, значит, а глазки позеленели аж. Ну, думаю: «Ничего-ничего. Подуется и – перестанет».

Но кто же сердце человеческое до конца исчерпает? Не угадаешь, мальчишки, на что способны люди. И вот через полторы недели у нас – недостача крупная. Почти 25 тысяч рублей. А у нас в смену-то – всего по два продавца. И недостача – как раз на нашу с Алькой пришлась. Стали выяснять, раскричались, разругались с ней, ага. И проверку прислали из центрального офиса. Главбух приехала: посчитали, поговорили, уехали.

Как остались мы с ней вдвоем, Алька и говорит: «Ты, Марин, не думай – я главбуха нашего сто лет знаю, мы с ней однокурсницы. Ты и недостачу выплатишь, и с работы еще полетишь с записью в трудовой!». Я молчу в ответ: а что тут скажешь? Злая баба – хуже бандита. Ну, думаю, пора, Мариночка тебе: и здесь не прижилась-не пригодилась. Снова урок на будущее – не доверяй никому и лишнего не болтай.

Ладно. Проходит неделька-другая, возвращаюсь я домой, а темно уж, зима была. Идти, кстати, там недалеко было – минут десять от работы-то. И вот слышу сзади снег хрустит – хруст-хруст, быстро-быстро. Обернуться не успела, а у меня сумку рванули, я от неожиданности грохнулась и прям – на руку. Боль страшная, сломала руку-то, вот где запястье. Ну, добрые люди там помогли – подняли, я не знаю, сколько я там провалялась: ведь еще и затылком долбанулась-то. Ага. И в больницу, в травмпункт на Богдашку.

С месяц почти на больничном пробыла, а я и рада: не приходиться, с Алькой лишней раз не встречаться.

А сама уж подумывала: квартиру продать да в село какое податься. Годков мне уже порядочно тогда настучало – через полтора года на пенсию. А к городу душа никогда не лежала, хоть всю жизнь по городам и промаялась.

Выхожу на работу, а там – Алечка с зелеными глазами. Так-то поначалу ничего, я уж думала: может, отошла она да забыла за месяц-то. Ничего подобного. Подходит вечером ко мне и на прилавок, где у нас фоторамки лежали, кладет мне фотографию женщины этой – жены-то. «Ну что, – говорит, – одумалась? Сделай, что прошу – и всё образуется, дескать. И недостачу требовать с тебя не будут, и сумку твою вернут». Ага. Даже не скрывалась, ничего! А в сумке-то, вот которую вырвали у меня, там что – ни документов, слава Богу, никаких, да и денег – кот наплакал. Даже ключи от квартиры и те – со мной остались.

Я ей отвечаю: «Аленька, ты потерпи немного, я скоро уволюсь. Да и из Ульяновска уеду. Ты уж прости, не могу я такого сотворить».

Молчит. Фотографию цапнула с прилавка. И уцокола домой. Я уж сторожа дождалась, он за мной закрывать дверь начал, а мужик-то хороший, видать, попался – пенсионер, с усами и полненький такой.

– Ты Альку-то чем так достала? Берегись ее – она на тебя злая! – шепчет мне, а сам оглядывается: вот до чего боялись ее.

Я киваю. А он опять: мол, разговор ее слышал, по сотовому с кем-то болтала:

– Хотят они тебе дверь подпалить, Марин. В квартире твоей. Вот ей-богу не вру!

Я домой-то иду, а самой не верится прям: ну как так? За что такое мне? Ведь злого-то я ей ничего не сделала, не желала даже. Ну, помешалась она на своем мужике, я-то тут причем? И как-то такое зло меня взяло, ребятишки, вот такой гнев, я прям не знаю! То ли рука еще не зажила, то ли настроение подошло, но охрани нас всех, Господи, от такого настроения... Иду я домой, в подъезд поднимаюсь – и сама: цок-цок, цок-цок – каблуки вбиваю в бетонные ступеньки. Совсем как Алька, ага.

Пришла, открыла книжки-тетрадки свои, за многие годы накопленные, достала там всё – и земляца у меня припасена была, и

свечка специальная. Сделала я ей, ох, прости Господи, такое я ей сделала, Лешенька, что и представить страшно!

Рядова схватилась за грудь, побледнела и замолчала. Потом отпила из кружки несколько глотков и провела ладонью по лицу.

– Вот сейчас страдаю из-за этого самого: зло-то – оно всегда возвращается. Если ты привел в мир злое, просто так не уйдет оно. Ему надо забрать побольше с собой – всех, кого можно и кого нельзя.

Тетя Марина отвернулась в сторону окна, прикрытого сероватой занавеской, и стала всматриваться в вечернюю темноту за окном.

– И как оно... дальше-то? – неожиданно подал голос Будов. Он редко встречал в разговор с информантами – по крайней мере, при работе в паре с Лешкой. («А больше-то он, кажется, ни с кем пока еще и не ходил в экспедиции...»).

– Дальше-то? – эхом отозвалась тетя Марина. – На другой же день слегла она, ребятишки, Алька-то. К двери моей в квартире никто не прикоснулся. Вот не вру ни единого слова, Господь свидетель. А я сама-то уволилась через две недели – там по закону надо было отработать. Я две недели маялась, ходила в магазин, нам на замену прислали продавщицу из другого филиала, я ее не запомнила.

Алька слегла, и я даже не пыталась узнать, как да что с ней. Продала квартиру, по объявлению нашла вот этот дом – и вот живу тут уж почти десять лет. Век коротаю. Так-то, ребятишки...

Она встала, чтобы еще раз поставить чайник. Открыла холодильник, поставила на стол колбасы, холодца, варенья.

– Уж поздно, тетя Марин! – тихо сказал Лешка. – Нам пора.

– Сидите. Успеете в вашу школу, – ответила Рядова и собрала волосы сзади заколкой. – Вы ведь ко мне больше не придете – я это точно знаю: у меня ощущение есть такое... Что, Леш, как оно – другую сторону-то мою узнать?

– Вы ведь просто защищались... – попробовал было начать Стариков, но тетя Марина его резко оборвала.

– Ничего подобного! Это гнев, Леша. Есть люди, которым можно и злиться, и дурное совершать. Можно, понимаешь? Им – позволено. А есть те, которым нельзя. Им много дано, много и спросится. Вот ты думаешь: научилась я чему-то из того случая с Алькой-то? Да? А почему же тогда вот этому парнишке – ведь из Самары сюда прикатил! – почему не смогла отказать? Ведь всё ему рассказала сейчас вот, до вашего прихода, и на фото почитала – всё, как полага-

ется. Присушила ему девку-то. А счастлив он будет с того? Никогда! И я – тоже... Дар мой – это страдание, Леша. Крест. И не каждый его нести сможет.

Они все трое пригубили чай, Стариков передал Петьке бутерброд, взял себе ложку варенья.

– Еще один случай опишу вам, ребяташки. Это со мной лет двадцать назад приключилось. Я ведь еще в Чувашии – там за Алатырем жила. В своем дому, угу. В школе в библиотеке работала – спокойная, хорошая жизнь была, я тогда душой отдыхала вот от этого всего. От гостей бесконечных, от страдальцев и душой, и телом. Скрывала тщательно ото всех, что могу и знаю.

И как вышло – у соседки ребенок, мальчишечка, Витенькой звали, заболел. Они и туда, и сюда – и в Москву даже ездили. С глазками у него там случилось – как-то вот «отслоение сетчатки», что ли. Вот совсем слепой мальчик должен был сделаться. А я у них, бывало, и молочка брала, и денег пришлось у них однажды подзанять – всяко случалось. И прихожу однажды: рыдает Ниночка, в голос голосит. «Как? Что?» – спрашиваю. «Неутешительный, говорит, диагноз». Врачи ничего сделать не в силах, есть какая-то операция дорогущая – в Германии делают. Но сумма там такая, что, если бы они всё до последней нитки продали, – и то половины не наскребли. Я смотрю на нее, жалость такая меня охватила, вот не могу с собой справиться – как вот в поезде тогда, девчоночка-то плакала, я вам рассказывала.

Взяла я ее за обе руки и шепчу: «Ниночка, ты завтра на закате Витеньку ко мне приводи. Помогу я. Двенадцать раз ко мне нужно прийти с ним. Поняла?». Та безумные глаза на меня вытаращила и кивает, ага, кивает. До последнего ведь, до отчаяния когда материнское сердце доведено – тут любой соломинке обрадуешься.

Привела она на закате, умыла я его с молитвой там, над глазами почитала. Там непросто, там читать долго надо – под иконами лежит мальчонка-то, матери чтобы в избе вообще не было. Так двенадцать раз. Ага.

И через две недели – у него изменения. В лучшую сторону. К врачам ездили, те так сказали. Там лекарства какие-то еще накупили и капали ему в глазки, и так давали. В общем, через два месяца – Витек бегают, жив-здоров. Уж как она меня благодарила, Господь один знает. Чего только не сулила, чего не приносила – я отказывалась и об одном просила: не говорить никому, не рассказывать.

А через полгода Витеньку этого машина насмерть сбивает – вот прям возле школы. Совсем как Валеньку моего. Ох, как наревелись мы с родителями, ох, наплакались – не описать всего.

Самое-то главное, что муж ее, Ниночкин-то, он вот с самого начала ко мне не больно-то, да. Не любил, когда я приходила к ним, и вообще – даже не разговаривал со мной особо-то. А вот когда глазки-то у мальчика на поправку пошли, он, Боря-то, вроде помягчел, ага. И здороваться начал, и даже помощь предлагал – там с газом у меня проблемы были.

А когда приключилось всё это – убил там его на машине лихач один (нашли его, судили, угу), и вот у Бори-то тогда... Я не знаю даже, как это... Бзик, что ли, на нервной почве. Сына-то единственного задавили! Мне ли этого не понять, Господи!

Рядова тяжело вздохнула и принялась убирать пустые чашки, а затем снова села, совсем забыв про них.

– Он возненавидел тогда меня люто: «Ты, говорит, виновница его смерти. Если бы ты со своими черными книжками не вмешалась – жив бы был мальчишка. Слепой, но – живой!». Вот каково это, мальчишки, выслушивать, а!? Я всем сердцем, всею душой помочь хотела, а он... Ниночка его и уговаривала, и по-всякому. А он – совсем ополоумел. И ведь мы же соседи – вот забор в забор прям.

У меня как-то раз, это уж после сорока дней, как Витеньку похоронили, сарай загорелся. Ну я спохватилась – сама справилась, ага. Там только вот черенки у лопат обуглились. У меня и ума нет, что да как. А уж как лето-то настало, еще сушь страшная была – вот тогда и спалил он меня, Боря-то этот. Доказательств никаких, но я-то знаю, чьих рук дело.

Спала ночью, и – запах. Открываю глаза, а дом уж занялся, и на крыше уже, и внизу! Я вот только документы, да деньги какие-то успела схватить, выбежала на улицу – а там уж и пожарным звонить поздно. Дом-то деревянный, из сухого бруса. Машина приехала – тушить стали. Борька выбежал и знай поливает из шланга вокруг своей избы да на забор. Дотла всё выгорело у меня...

Рядова собрала чашки и отнесла в раковину. Друзья переглянулись и стали складывать технику. Тетя Марина вышла и встала перед ними посередине зала – с мокрыми руками и выбившимися из-под заколки прядями седых волос. Стариков почему-то вспомнил

Суриковскую боярыню Морозову – не из-за ее облика, а что-то в глазах у тети Марины горело такое же – потаенное, невысказанное, жгучее.

– Поздно уж, – согласилась она. – Еще только два слова, Лешенька. Дорасскажу – самое главное-то. Я перебралась тогда временно в Алатырь, и как-то уж по осени меня потянуло на прежнее место – к своей бывшей избе. Сошла я с автобуса, подхожу к выгоревшему фундаменту, и вот что-то вот тут, – тетя Марина показала на лоб между глазами, – что-то вот тут у меня щелкает. Как переключатель. И дальше – чудеса да и только! Захожу я в свою калитку, открываю дверь в избе, всё – прохожу дальше. Вот коридор, кухня, зал. Вот сажусь на диван, вот у меня окна. Жуть, короче! Никакого пожара будто и не было!

А Ниночка-то меня заметила – сначала из окна, а потом и на улицу выбежала (слава Богу, мужа, Бори-то, дома не случилось). И вот она мне потом и докладывала – завела меня к себе в дом, на кровать свою уложила, я только тогда в себя пришла. А потом она рассказывает мне:

– Ты, – говорит, – подошла к горелому-то, к остаткам этим и давай по ним ходить – вот, ей-богу, что она рассказывала, то я и повторяю. Будто по полу ровному среди этих развалин ходишь и садишься, и будто дверь закрываешь, и ни разу ведь не споткнешься, не запнешься! Среди этих гвоздей, стекол и вывороченных из фундамента кирпичей! Вот что удивительно-то!

Так я и в самом деле не по горелому ходила, а по избе целой. Понимаешь, так мне истово захотелось, чтобы не произошло ничего этого – ни пожару, ни Витенькиной смерти, что, наверно, в голове моей сдвинулось что-то и – как наяву всё. Как наяву...

\*\*\*

Друзья шли по темным улицам Астрадамовки и молчали. Село дышало, шелестело ветром, отзывалось сверчками и лаем собак, отдаленными разговорами и смехом, мерцающими в черном небе звездами-глазами и призывно желтеющими окнами школы.

– Может, ты и прав: не надо было ходить к ней сегодня! – Лешка чувствовал себя подавленно. Совсем с иным настроением он возвращался от Рядовой вчера.

– Нет, – замотал головой Будов. – Надо. Надо было сходить. И тебе, и мне... Я ведь, Лешка, боялся к ней идти-то...

– Что так?

– Я не хочу... ее. Этих ее знаний.

Стариков потрясенно посмотрел на друга: лицо женщины из сна снова всплыло, закачалось на его мысленном экране и начало понемногу тускнеть.

– Ты про сны, что ли? – спросил фольклорист осторожно.

– Угу. И не только. Какое-то ощущение у меня нехорошее, Лешка. Понимаешь? Будто предлагает она мне что-то. Ты, именно ты с ней говоришь, беседуешь, а предлагает она – мне! Допетрил, наконец?

У Старикова мурашки побежали от затылка до самых пят.

– Брось! – сказал он и вздрогнул всем телом. – Это сны твои... Про книги и библиотеку. Ты сам настроил себя...

– Настро-оил... – передразнил его Петька, затем сплюнул и стал копаться в карманах в поисках сигарет. Закурил. Кончики его пальцев чуть вздрагивали. – А почему ты мне вчера не рассказал про ее болезнь? Что у нее?

– Рак. Грудь. Карасев... Он сказал, что она умирает.

– То-то. Я это и чувствую, вот всем чувствую – жопой, сердцем, чем хочешь – но ощущаю. И она предлагает мне, понимаешь, ты, черт ученый? Или мне тебе до детальки всё разжевать и в рот положить?

– Понимаю... – Стариков снова вздрогнул. – Да придумываешь ты всё, Петька! Сам придумал – сам и поверил. В конце концов – даже если и так, как ты сказал. Если предположить то, в чем ты меня сейчас убедить пытаешься, – так ведь ты не согласен на это! Так? Так чего же тебе опасаться-то?

– Никого я ни в чем убедить не пытаюсь! – отчеканил Будов. – Ты только на один вопрос мне ответь: сон тебе про нее снился?

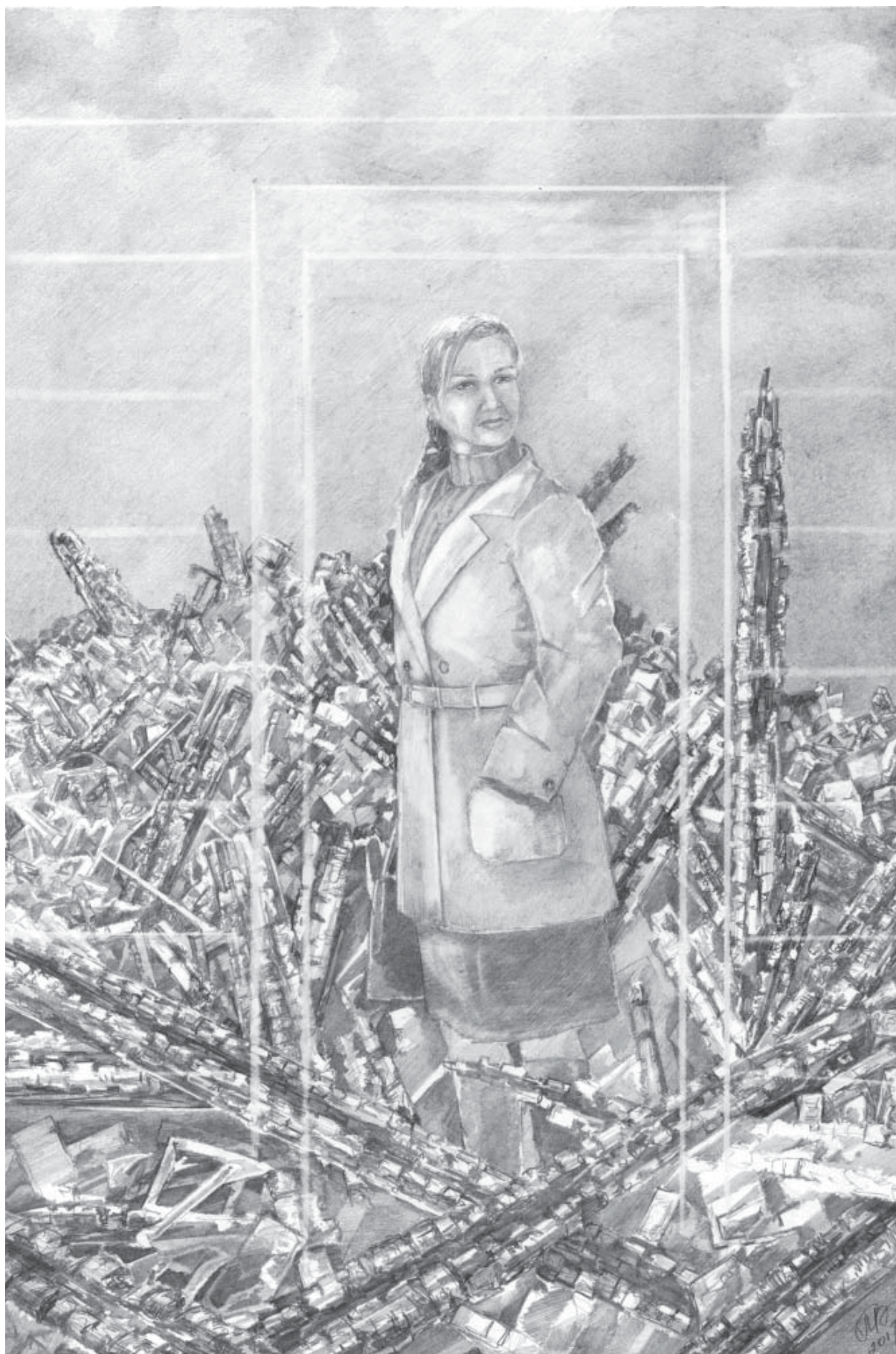
– Снился.

– И мне снился. Значит, двоим нам – перед тем, как мы с ней вообще познакомились – снился один и тот же сон. Про зыбку, – помнишь?

– Ну, помню... – у Старикова исчезла уверенность в голосе. – И что?

– Ничего. Пошли поужинаем. У меня голова жуть как разболелась. Щас поем – и баиньки.





## Глава 14. Сельские переплясы

Лешка сидел в наушниках спиной к двери, расшифровывая отдельные фрагменты из записанного. Именно поэтому он подскочил от неожиданности, когда кто-то положил ему руку на плечо. Фольклорист обернулся, и челюсть его отвисла от изумления. Перед ним стоял Котерев, рука которого обнимала за талию... Любу Чирикову!

– М-м... – промычал Стариков. Он сам точно не знал, что именно хотел произнести: «Матерь Божья!» или «Мать твою... вчера я видел по телевизору!».

– Я тут Любочке наши владения показываю – так сказать, экскурсия! – сообщил рыжий, очень довольный произведенным эффектом. Студентка была уже не в топике и едва заметных шортах, а в джинсах и спортивной куртке поверх какой-то блузки.

– Здра-авствуйте, Алексей Михайлович! – по своему обыкновению протянула она, и Лешка прямо-таки видел, как внутри этой девчонки потягивается от удовольствия молодая кошечка с нестриженными коготками. – Мы с Юрочкой осматриваемся. Так-то я тут каждый уголок знаю: училась я в другой школе, но летнюю отработку проходила здесь почти каждый год.

Она окинула взглядом мужской класс – помятые спальники, разбросанные кроссовки и тапки; парты, заваленные техникой и проводами.

– Да-а. Неплохо вы тут устроились, как я погляжу. Руки только женской не хватает – прибраться бы тут.

На одну страшную секунду Лешка вообразил, как Любочка убирается в их классе – с засученными рукавами, шваброй в руках – и ему захотелось выть.

– Здравствуй, Люба... – произнес он наконец. И на этом темы возможного разговора исчерпали себя. Тут дверь их класса снова отворилась, и оттуда, как назло, выглянула голова Оли Щеголевой, однокурсницы Чириковой.

– О! – сказала Любочка – с интонацией, напомнившей Старикову возглас Волка из советского «Ну, погоди!». – И ты тут... обнаружилась.

Щеголева порозовела и, сказав: «Можно обедать идти!», – ретировалась.

– Ладно... Пойдем, Юрочка! – Люба по-хозяйски развернула рыжего к выходу. Уже на пороге она снова обратилась к бледному Старикову:

– Кстати, Алексей Михайлович, у нас сегодня в клубе – ну, это здание бывшей церкви, вы знаете, конечно. Так вот – дискотека у нас сегодня. Приглашаем, так сказать. От лица темной сельской молодежи уполномочена вас пригласить. Юрочка вот, – она улыбнулась рыжему, и тот разве что не расцвел, – полностью согласен. А вы?

– Я... подумаю, Люба, – Лешка старался придать голосу преподавательскую уверенность, но выходило совсем плохо.

– Ага, подумайте-подумайте, – и джинсы Чириковой уплыли за дверь.

Стариков почти полчаса после этого визита пытался сосредоточиться на обработке записей, но неожиданная парочка всё не шла из головы.

– Ну и Юрка! – проговорил он и откинулся на спинку школьного стула. – И как они смогли... найти друг друга. Вот ведь наш рыжий пострел – везде поспел!

Про дискотеку он, естественно, и думать бы забыл, если бы во время обеда не произошла весьма примечательная сцена.

– Иван Петрович! – серебристый голос Водлаковой прозвенел над всем столом. – Мы бы хотели сегодня с девочками на дискотеку пойти! Это после девяти вечера. Вы не против?

Шахов нахмурил лоб и в недоумении поглядывал не столько на первокурсницу, сколько на девчонок-старичков.

– Это... Да мы как-то ни разу так... У нас и не принято... – ИП пребывал в совершенной растерянности. – Оленька, у нас тут ведь не клуб по интересам, а научная экспедиция. Да и мало ли что там может с тобой... приключиться? И кто будет за тобой следить? Кстати, кто-то еще хочет пойти?

– Я, – пискнула Танька Родина, и у Лешки расширились глаза: совсем вразнос девчонки пошли. – И вот Дождина не против. Да и из «Городца» хотят.

Дамы из ансамбля согласно закивали головами.

ИП почесал бороду и задумчиво осмотрел экспедиционный народ: – Я даже не знаю. Парни, а вы что же молчите? И вы туда же... направитесь?

– Мне придется, – пробасил Тонков. – Куда девчонки – туда и я. Будов промолчал, Сланцев скосил глаза на Старикова, а Котерев поднял обе руки вверх в знак несомненного «за!».

– Мда-а... – протянул Шахов. – И куда только катится мир!

– O tempora! O mores<sup>9</sup>! – озабоченно подтвердил поэт и снова посмотрел на Лешку.

– Так я что-то не пойму: идут все или кто-то останется со мной в школе? Понятно, что против такого количества желающих мне не устоять. Главное поручение – это я к мужской части обращаюсь – чтобы все вернулись живыми. Часам к двенадцати, пожалуй.

– Надо пойти, – сдался и Стариков. – Хотя бы в качестве охраны. Впрочем, охрана из нас, как показала практика – так себе.

Родина и Дождина бурно запротестовали против такого самоуничужения. Щеголева потупилась и почему-то порозовела.

– Тогда и я – за компанию! – поддержал большинство поэт.

Будов молча поднял правую руку.

\*\*\*

– Девчонки расфуфырились, как новогодние елки! – докладывал Котерев, ежесекундно приносящий свежие новости из соседнего класса. – Я просто тащусь.

– А твоя-то краля где? – лениво спросил Сланцев. – Там тебя будет поджидать? Ты хоть запястья вокруг красными нитками обмотал? Говорят, от ведьм помогает.

– И вовсе она не ведьма! – обиделся рыжий. – Очень даже клёвая чувиха! Знаете, сколько про местную всякую традицию знает!? И про всяких оборотней-домовых – полным-полно! Тебе бы, уважаемый Михайлыч, побеседовать с ней.

– Спасибо. Я уже побеседовал! – ответил Лешка, валявшийся на спальнике с книгой в руках. – Вó как набеседовался.

– Тю-ю! Скучные вы! Чего не переодеваетесь-то? Скоро пойдем уже! – сам Котерев уже достал свою лучшую футболку с изображением мультяшного волка и надписью: «Бог в помощь!». Его джинсы были неведомым образом отутюжены – чуть ли до стрелок, кожаные туфли блестели, как зеркало.

Тонков давно исчез из класса и обитал, вероятно, где-то рядом со своим «Городцом», готовившимся предстать во всем своем

---

<sup>9</sup> О времена! О нравы! (лат.).

блеске. Не разделяли всеобщего преддискотечного ажиотажа лишь трое – Стариков, поэт и Будов. Последний вообще уже почти сутки ходил мрачнее тучи, погруженный в молчание.

Сланцев вчера вечером, после их возвращения от Рядовой, хотел выведать у Лешки, что произошло, но тот лишь отнекивался. Зато сам Мишка с удовольствием и в подробностях живописал свою последнюю находку – бабу Васёну с Новой линии.

– О, если бы вы только ее слышали и внимали ей! – восклицал Сланцев. – Это же самогонщица от Господа Бога. И на травах, и на кедровых орешках, и на веточках смородины! Самогонная богиня овладела моей душой и скрижалями несмываемыми выбила все эти рецепты на бабочке поэтиного сердца.

Стариков решил пойти на сельские переплясы в том, в чем обычно ходил в экспедиции, – за исключением калош и чехла от штатива. Мишка, поразмыслив, все-таки сменил единственную футболку на единственную же клетчатую рубаху. Будов вообще закрыл глаза и принялся храпеть.

Котерев, в очередной раз вбежавший в мужской класс, увидел всю эту несобранность, серость, неактивность и возопил, подняв руки к трем лампам дневного света:

– И что же это вы за люди такие!? Их, понимаешь, приглашают на сельский праздник – пообщаться с остатками сельской молодежи, чудом сохранившейся на здешней ниве, – а они? Тьфу на вас! Девчонки, кстати, все уже собраты, кони запряжены. Ждут только вас. Подымайся, народ, сельский клуб вас зовет!

Петька перевернулся на другой бок, распахнул один глаз и снова закрыл. Лешка отложил книгу и стал зашнуровывать кроссовки.

– Ты что? – ужаснулся рыжий. – Так и пойдешь? В этих замызганных футболке и джинсах! О ужас! Я не с вами, я отдельно!

Котерев выбежал. Сланцев тоже зашевелился и поднялся.

– Петька, ты как – идешь?

– Не, мужики. Что-то опять мутит. Без меня справитесь? Там если этот Славка объявится – так он за нас теперь горой! Всех обещал порвать. Лады? А я посплю.

Лешка пожал плечами и вышел. Поэт упорхнул за ним...

Стариков не мог поверить глазам: привычные экспедиционные девушки, такие простые, не очень заметные и совсем-совсем домашние, вдруг превратились в полубогинь. Напомаженные, зату-

шёванные, залаченные, пахнувшие всеми оттенками духов и дезодорантов, в брючках, юбочках, белых блузочках и кофточках – всё это великолепие высыпало на школьный двор, волновалось, пело, смеялось и хотело лишь одного – на праздник, к клубу, в глушь, на танцы. И танцы произошли.

\*\*\*

В фойе клуба надрывалась единственная колонка в человеческий рост высотой. Местной тусни было человек двадцать, еще десять любителей подрываться под попс-ритмы подтянулось из соседних сел. Экспедиционное братство заметно увеличило число танцующих, и слух об этом, кажется, распространялся со скоростью сотовых звонков по всему Сурскому району.

Центром танцпола навеки овладела самая странная парочка нынешнего вечера – Юрка и его краля. Люба обрядилась во что-то столь незаметное на ее почти голом теле и одновременно такое яркое, что Старикову было больно смотреть в сторону этого вихляющегося, рыжего, блестящего союза.

Местных девчонок было почти вдвое меньше, чем парней, поэтому экспедиционные оказались нарасхват – особенно дамы из «Городца». Юлька Дождина отхватила себе какого-то рослого, лысого и длинноногого и с ним протанцевала большую часть вечера. Ташка без церемоний поплыла куда-то в сторону, и уже через минуту Лешка увидел ее прямую спину рядом с памятным по бане квартетом. В тех же краях вскоре проявилось воздушное платье Водлаковой.

Перед этим четверо из ларца обошли с ритуалом рукопожатия всех экспедиционных; черные усики с особым значением тряс руку Старикова, спросил про Будова и, узнав, что тот приболел, зацокал языком в знак крайнего огорчения.

– Если чё – к нам обращайтесь! Если проблемы какие! – сказал ему с нагловатой растяжкой гласных Славик и ухмыльнулся. Лешке, никогда не страдавшему мстительностью, до слез захотелось несколько раз звездануть ему промеж глаз. Но он благоразумно перенес реализацию этого варианта в другую – скорее всего, воображаемую – вселенную.

Через минуту он думать забыл о квартете и его усатом главе: Щеголева подошла к нему и... В общем, дальше они танцевали вместе. Ольга себя ничем особо не украсила – так, где-то чуть пома-

да, где-то – тушь на ресницах, но главное было в причёске: волосы обрели какую-то пышность и невесомость, от них чудесно пахло.

Через бесчисленное число треков танцпол дождал до давно ожидаемого медляка, и парочки закружились в приглушенном свете светомузыкальных переливов. Ольгины очки оказались совсем близко к окулярам Старикова, и он, обняв ее за талию, впервые за последние полтора года вспомнил о бывшей жене. Эти воспоминания совсем не улучшили его настроение.

Во время второго медленного танца Ольга, прижавшись к партнеру, спросила:

– Вам совсем со мной скучно?

– Почему же? – искренне удивился Лешка.

– Вы где-то там, в другом мире каком-то. О чем-то думаете всё время. Но только не о танце и... не обо мне. Так ведь?

– Так, – согласился Стариков и поцеловал ее в самые губы...

Во время перекура (курил Котерев; Сланцев и Лешка вышли из клуба за компанию – освежиться) к ним подошел один из знаменитого квартета. Молодой препод даже вспомнил его имя – Марат.

– Можно тебя на секунду? – спросил он Старикова и отошел с ним в сторону. Фольклорист не особо встревожился, но и хорошего ничего не ожидал от такого неожиданного приглашения.

– Я тут... Как сказать. Ну вы, говорят, с Будовым к тетя Марине Рядовой ходили. Было дело? – между словами у Марата регулярно образовывались какие-то странные паузы: вероятно, обычно там располагался мат. Лешка мысленно посочувствовал непривычным коммуникативным усилиям своего собеседника.

– Да, ходили – позавчера и вчера. А что?

– Да я это... Я вот это – к ней всё собирался, а это... Вот думаю: подлечить надо. Вó, смотри, – и Марат одним движением задрал рубаху почти до шеи. Сбоку, недалеко от подмышки, виднелся странный шар кожи – чуть посиневший.

– Чирей, что ли?

– Хрен знает! Как думаешь: поможет?

– Сходи, конечно. Должна вылечить. А у врача был?

– Какой там! Это в Сурское надо, а там, один фиг, – в город направят. Мне щас не до этого: дела!

– Ну, сходи. Она – самая настоящая знахарка!

– Во! – участник банного квартета заулыбался. – Вот и я думаю: настоящая!

Он долго тряс руку Старикову, как будто тот уже исцелил его от всех смертельных болезней, а затем ускакал на танцпол.

– Чего нужно этому смертному? – спросил Мишка.

– Фольклором заинтересовался! – отшутился Лешка.

– Да ну? Просвещение – в массы. Идем еще подрыгаемся. Я, знаешь, кого подцепил?

– Кого?

– Соблазнил Водлакову. Прелесть что за ножки! И у тебя, гляжу, все хоккей?

– Да помаленьку. Хорошо, что пошли. Развеелись. Вот и Будову полезно было бы.

– Ага.

– А ты видел, что Котерев вытворяет? Это же надо на видеокамеру снимать – они просто порвали весь зал!

– Котерев? – отозвался с пренебрежением поэт. – Даже не смотри туда. Ты лучше оторви немного глаза от своей Щеголевой и зацени Ташкины выкрутасы! О-о, что они делают вместе с усатым главарем банной банды! Это же просто первый бал Таши Ростовой! Это достойно оды или гомеровского эпического штиля...

И друзья снова пошли бодрить тела под громыхающие звуки одинокой клубной колонки.

## Глава 15. Похороны Шута

– И вот почему всегда так! – жаловался Стариков обитателям мальчишеского класса, двое из которых еще спали. – Просто совершенно алогичная закономерность...

– Это на тебя, что ли, Ташка орала – на всю школу слышать? – перебил его Мишка, поглядывая на юного препода сквозь щелки еще не до конца проснувшихся глаз. Утро только наступило, предстояли нелегкие экспедиционные будни, и Сланцев дозированно расходовал отпущенную ему свыше поэтическую энергию.

– Ну да! – сокрушенно признался Лешка. – Вот ты мне скажи, Мишка, у тебя бывает так: стоишь над чайником, стоишь-стоишь, а он, зараза, ну не закипает – и всё тут! А стоит только отойти на пять минут и засесть за расшифровку, приходишь – и уже ни воды, ни чая...



– Значит, опять чайник весь обуглил, – сделал вывод Мишка и зевнул. – А отмывать – Ташке.

– Так не дает ведь мыть! – виновато вздохнул кандидат наук. – Говорит, что у меня руки не из того места растут...

Их философские размышления о радостях повседневности прервала квадратная голова Котерева, проявившаяся в дверях. Он, как всегда, был выбрит, свеж, лохмат, и глаза его горели очередной сногшибательной идеей – правда, на этот раз авторство принадлежало не рыжему.

– Мужики! – возопил он. – Кончай спать! Шахов грандиозную штуку выдумал.

– Шахов? – настороженно переспросил Лешка. – Он вчера вроде не говорил ничего...

– Забыл! Забыл наш мудрый старец ИП! Из памяти вылетело. А щас вспомнил! – продолжал радостно голосить Юрка. В ответ сначала заворчал спящий Будов, затем забасил Тонков. Оба помянули предков Котерева до седьмого колена, а Толька прошелестел что-то про всех рыжих земного шара.

– И что же вспомнил мудрый старец? Амбарец, китаец, голландец... – Сланцев поморщился. – Не одной нормальной рифмы с утра.

– Ре-кон-струк-ция! – Юрка перекатывал это слово во рту, словно леденец. – Чучелу будем ваять, а потом жечь прилюдно!

Упоминание о чучеле расшевелило даже Будова. За завтраком он улыбнулся пару раз, и это весьма обнадежило Лешку: тот не мог дожждаться воскрешения Петьки после последнего похода к Рядовой.

– Много людей на реконструкции, конечно, не надо, но если есть сильное желание – пойти с нами можно, – проводил предобрядовый инструктаж ИП, принимая утреннюю дозу кофе. – Однако главное условие – не мешать! Беседу должны вести два-три опытных собирателя, остальные фотографируют, снимают на видео, но близко – не подходят!

– А что за чучело-то, Иван Петрович? – прокартавила Родина. – Котерев вон все буки нам забил, а толком ничего объяснить не может: «Реконструкция-реконструкция...». (У нее получалось: «Геконстгукция-геконстгукция», так что все невольно засмеялись).

– Мой грех, не Юркин, – улыбаясь, сознался Шачик. – Ведь два дня назад договорился с бабушками, и совершенно из памяти

выпало, что на сегодня назначили. Кстати, в этом деле директор школы очень помогла: она рассказала, что ее мама помнит одну уникальную астрадамовскую традицию. Тут на проводы весны рядили шута, называли его «Андрюшкой». Потом с песнями несли через Задуваловку на гору – ну, на местный холм, там на выезде из села, видели, наверно. И вот сжигали его на горе. Мы попытаемся с помощью бабушек это всё действие повторить.

– Крутота! – оценил новость Юрка. – Я чур несу Андрюшку на гору. Не бойтесь, Иван Петрович, ни под каким видом не подведу!

\*\*\*

– Вот, Андрюшка, был да состарился! Эх, едрёна-матрена!..

– А ты-то, ты-то, я погляжу: молода больно! Ой, я не могу! – баба Лида засмеялась, держась обеими руками за колыхающиеся бока своего объемного тела.

На пару вместе с Ниной Ивановой, матерью школьной директрисы, они мастерили шуточку. Сначала из подручного материала – забытых Богом перекладин от полусгнившего забора – была сколочена крестовина. Затем помогавшая бабулькам двенадцатилетняя внучка прибежала со старой рубахой и какой-то темной тряпкой, из коей впоследствии состряпалась голова шуточки-батюшки. И тут из-за угла дома раздались побряхтывание и знакомый возглас: «Эвона как!».

Три видеорекамеры, установленные в разных местах импровизированной съемочной площадки (полянкой перед двором Нины Ивановны), развернули, как по сигналу, всевидящее око в сторону новоявленного.

– Что же вы творите, бабочки мои сизокрылые? Тут же солома нужна да портки какие-нибудь! – начал давать указания Карасев, еще не дойдя до старушек.

– Вот он, председатель наш! Явился не запылится! И уж распоряжения раздает! – недовольно запыхтели чучеловаятели. Впрочем, недовольство было напускным: бабушки его сами известили о предстоящем действе, и дед Родя, поблескивая треснутым очками, рьяно подключился к рождению Андрюшки.

– Давай-давай, Иванна! Вели внучке брюки худые сыскать! Али от деда не осталось? У нас же Андрюшка все-таки – парень, а не девка какая-нибудь гуляща. Без порток – срам да и только! – под-



зуживал председатель, скептически оглядывая кривовато сколоченную крестовину и цокая языком: дескать, бабы есть бабы, ничего толком не могут.

– Ишь ты, брюки! – смеялась тетя Нина. – А сам-то чего свои не принес?

– А я вот что ему дам! – старик достал из-за пазухи черную вязаную шапочку с надписью «Nike» на левом боку и театрально бросил к подножию прислоненной к забору крестовины. – И очки свои пожертвую! Учтите: от сердца ведь последнее отрываю!

С помощью Дожжиной и девчонок из «Городца» внучка притащила небольшой снопик соломы и побежала за остальным – брюками и веревкой. Притаившийся за видеокамерой Шахов строго сморщился и махнул рукой, чтобы экспедиционный народ побыстрее

отошел от творимого чучела. Помощники мгновенно ретировались на прежние смотровые площадки – метров за десять от главного действия.

– Вот это другое дело! – Карасев принялся набивать брюки соломой, Нина Иванна тоже стала подсовывать соломки в надетую на перекладину рубаху. Потихоньку щелкали затворы цифровых фотоаппаратов – трудились Юрка и Будов. Только Тонков и Сланцев полулежали на небольшом пригорке в отдалении; от них струился сизый дым сигарет. Лешка всё норовил пристроиться поближе к шутушке, чтобы получше записать переговоры чучеловаятелей. И вдруг весь этот веселый шорох прервал причитающий голос бабы Лиды:

– Вот ведь Андрюшенька-то наш умер! Да какой красавец-то был, а зароем – ведь больше и не увидим! И ведь, бывало-те, утром встанет – и в лес сходит. И с грибами-ягодами завсегда-то я была! А теперь уж некому за мной приглядети, и уж больше не придешь ты к нам, милый Андрюшенька. И ведь не хворал ведь нисколечки...

– Но-но, старая, ты уж больно-то не увлекайся! – дед Родя насупился и поправил очки. – Ты уж это... Как на похоронах, ей-богу.

От причета баба Лиды – с возгласами, со всеми характерными интонациями – Лешка ощутил, как у него защипало в носу, и легкий холодок пробежал по спине.

– А чё... – виновато и как бы опомнившись, оправдывалась причитавшая. – Ведь схоронила я сколько – и сыночка, и мужика сваво...

– Вот как надо! – Родион Петрович закрепил набитую соломой голову на торчащий из крестовины шесток и натянул на нее «найковскую» шапку. – Пошли шута коронить, во большой колокол звонить! Дидь-дон, динь-дон, загорелся козий дом!

Карасев быстрым движением руки сорвал с себя треснутые очки и прикрепил их с помощью тесемки на голову Андрюшки. Старушки развеселились.

– Больно гожий! – баба Лида уперла руки в боки и старалась заглянуть Андрюшеньке в едва намеченное очками лицо. – Ему бы еще папироску и гармошку в руки. Устал, верно, стоять-то, милай? Ноженьки-рученьки притомилися! Эх, ведь, бывалоча, сколько народу-то провожало вёсну. И сами нарядимся в шоболы всякие, как русалки. И с песнями через Задуваловку на гору пойдём! А щас нету

ничего, всё быльем поросло. И молодежь-то ничего не знает, ничего им не интересно. Вот всё только: бум-бум-бум, ездят на машинах да бумкулку свою слушают день-деньской...

Сотворенный шут теперь напоминал уэллсовского человека-невидимку и одновременно походил на какую-то тревожную, словно вывернутую наизнанку копию деда Карасева.

Фольклористы сразу и не заметили, что зрителей за их спинами прибавилось: появилось несколько соседей, а потом подошли и человека четыре из местной молодежи. Некоторых Стариков узнал по запавшим многим в душу клубным переплясам. Астрадамовские парни и девчонки тихонько прыскали и перешептывались.

– Ну чего ж теперь, старые? Коронить надо идти – на́ гору! – Карасев гордо оглядывал собравшуюся публику и старавшихся слиться с травой фольклористов. – Я ведь бывало как: залезу в телегу, на шест колесо подвешу, Андрюшку – с собой и вот езжу по селу, кручу колесо и наярываю только: «Дрин-брин, ягуны да мигуны, Кузнецовы – б...дуны!». Всех кряду переберу! А смеху-то, смеху-то было!

– Да куда ж мы, Петрович, пойдём? – забеспокоилась Иванна. – Ты ополоумел, председатель? У нас ноги-то и не ходят совсем!

– А чё ходить? У молодежи вон тачки есть? Есть тачки, Леха? – Стариков, сияя глазами, закивал в ответ: ему до дрожи в коленях нравилось всё происходящее. – Вот, вишь, старые: отвезут вас на гору! Как принцесс заморских.

– А шута-то как? Вот выдумщик-то! Седина в бороду... – баба Лида улыбалась и поправляла платок на своей голове.

– Андрюшку-то? Так молодежь потащит! Вон их сколько! – Родион Петрович указал на местную тусню: их толпа увеличилась человек до десяти, причем среди них Стариков, кажется, увидел Славкины черные усики. («Только бы Чирикова не объявилась – не дай Бог такого счастья...»).

– Вы только тогда скажите молодежи-то, как им себя вести! Чтобы всё правильно было – как раньше, в соответствии с традицией! – раздался по-сержантски четкий голос ИП. В нем звучали те же нотки скрытого удовольствия, которые Лешке запомнились по Аркавской вылазке. – А то ведь они, наверное, и не видели ни разу, как это делается.

– Скажем, скажем, не беспокойтесь! Бабочки мои сизокрылые на тачке поедут, а я с молодежью пойду, учить стану! – Карасев

отодвинул шуточку от забора и, приобняв чучело, закричал: – Молодежь, подтягивайся, чего там третесь по углам, как чужие?

Юрка без лишней команды бросился к школе за своей драгоценной «семеркой». Толпа местных сгустилась, потом немного разрядилась и выплюнула из себя Славку и какую-то девушку – в длинном сиреневом платье и аккуратной косой сзади головы. Стариков не поверил собственным глазам: студентка Люба в очередной раз сменила облик и плыла к ним, окутанная сиреневым туманом и духами.

– Во! – одобрил дед Родя. – Нашлись смельчаки. Молодцом! Только ведь нам нужны носилки, коронить Андрюшку-то понесем – тут дело сурьезное.

– Так из того же забора, что у меня прошлой осенью весь подал, и сколотим! – нашлась Иванна. Черные усики свистнул своих, и закипела работа по изготовлению носилок.

– Снимаем! Снимаем! – шептал Шахчик Будову и Лешке, которые следили за остальными видеокамерами. – Петр, ты бери крупные планы. Алексей, разные ракурсы пробуй! Я – на стационарной съемке. И никаких, слышите, никаких пауз в записи!

ИП мог и не понукать: фольклористы и без того были захвачены действием, приобретающим всё большие масштабы и уровни, – зрители и местные участники обряда всё прибывали. Казалось, уже четверть Астрадамовки пришла к дому матери директора школы, чтобы увидеть давно невиданное зрелище.

К чучелосоздателям присоединились еще несколько старичков – среди них выделялась полная бабушка с живым и быстрым взглядом, простоволосая, в халате на босу ногу.

– О как! – сказал чуть измененным голосом дед Родя, все так же обнимавший чучело. Он слегка наклонил голову шута и от его лица затеял игривый разговор:

– Вот и баба Катя Арсеньева пожаловала! К Андрюшеньке-молдцу в гости!

– Как поживаешь, Андрюша? – тут же включилась в игру подошедшая. – Не болит ли, не колет где? Дай-ка я тебя поцалую!

Арсеньева прислонилась лицом к набитой соломой тряпкой под треснутыми очками, и в толпе зрителей раздались одобрительные смешки. Здесь были все – и стар, и млад: давненько Астрадамовка не собиралась в таком составе.

– Ты спроси, как у него здоровьице-то? – подсказывали откуда-то справа.

– Пошли шута коронить, во большой колокол звонить! – отзывались слева.

Фольклористы, обвешанные микрофонами, диктофонами и видеокамерами, едва успевали ловить происходящее. Фотоаппараты давно переключались в руки Тонкова и Сланцева, и они щелкали затворами почти без перерыва.

Гомон толпы заглушил звук двигателя подкатившей «семерки» Котерева. Иванна, баба Лида и Арсеньева тут же загрузились к нему на борт, и Юрка включил первую передачу, взяв курс на гору.

– Подымай носилки, честной народ! Шутушку-батюшку коронить идем! – закричал Карасев, как рыночный зазывала, и тут же заголосил не своим, тонким, почти бабьим голосом:

– Андрюшеньку, упокой! Человек-то был какой: умер не спокался, в баньке не попарился!

Спереди носилки подхватили Славка и Чирикова, а сзади – еще двое из банного квартета.

– Пошли шута коронить, во большой колокол звонить! Дондон, далидон! – подхватили сзади, и Лешка с удивлением расслышал в общем хоре и молодые голоса поющих.

Тут откуда-то сбоку действительно раздался звук колокольчиков. Сланцев и Лешка одновременно повернули головы, на миг забыв о видеосъемке. В бредущем за носилками народе каким-то чудом оказался самогонный джедай Юрий Евгеньевич, который держал в руках самый большой барский колокольчик и трезвонил им в такт шагам идущих. Стариков счел это появление за настоящее чудо и только потом догадался, что дом историка-самогонщика стоял в двух шагах от выхода из села, по которому сейчас и перемещалась процессия. «Услышал нас, наверное, да выбежал... Но как он догадался взять с собой колокольчик? Уму непостижимо!».

Юный препод следил за перемещающейся демонстрацией, поглядывая на небольшой экран своей видеокамеры. Как и всегда, космическое ощущение вибрирующих слева и справа потоков пространства захватило его неожиданно: Стариков на мгновение сменил точку зрения, и оттуда, с иного ракурса, он вдруг ясно увидел, что лежавший на нелепых, кривых носилках Андрюшка с растопыренными руками и идущий рядом с ним, поющий его голосом и от

его имени дед Родя Карасев – это одно и то же. Шутушка был и во всей процессии – веселой, горланящей толпе, в которой на очень короткое время объединились оторванные друг от друга поколения стариков и их продвинутых потомков.

Еще один прыжок и еще один ракурс – и Стариков с расширенными от ужаса глазами узрел в процессии тех самых, в желто-грязных накидках с копытцами вместо ног. Вся толпа из них и состояла, ими двигалась и руководилась. Струящиеся по бокам потоки ускоряются – и снова другой ракурс: грязно-желтые оттенки плащей-накидок меняются на зеленоватые, белые и красные – те цвета, которые преобладали на иконах бабы Поли. («Это – Аннушка Златоуст с мужем», – всплыли в измененном сознании Старикова слова Полины Павловны).

Потом струи замедляются, потоки убавляют свою мощь и – пропадают. Всё становится на свои места, и Лешка с облегчением выдыхает воздух из легких.

– А вот и тачка вашего рыжего. Прибываем, товарищи, на место – третий путь вторая платформа! Выход через подземный переход, нумерация вагонов с хвоста поезда! – завопил неугомонный Андрюшка пронзительным голосом деда Роди.

Процессия засмеялась, начала распадаться на несколько ручейков, которые окружили небольшую полянку. Из «семерки» первой выбралась Арсеньева.

– Вот тут обычно и жгли шутушку. Попляшем, попоем, сожгём – вот и вёсну проводили. Вот и урожай, значит, хороший будет. Так-то... – комментировала баба Катя, наблюдая, как поднимают Андрюшу с носилок. Один из концов крестовины, торчащий снизу из брюк чучела, воткнули в землю. Вокруг шутушки сам собой образовался круг из притихших местных и фольклористов, стоявших в самых разных местах поляны. Стариков пробрался поближе к центру – к Андрюше.

– Тут оно серьезности, може, никакой и не надо! – негромко сказал своим обычным голосом Карасев, и все его услышали; стало совсем тихо. – Но ведь вон голосила, причитала бабка Лида – это тоже, робятёшки, не проста всё. Тут думать-размышлять надо... Ну, чего, бабоньки, молчим? Научите молодежь – запевайте давайте!

– Да уж не помним ничё, председатель! – отозвалась Иванна. Лицо ее было серьезным.



– Я вам дам – «не помним»! Теть Кать! У тебя-то память хороша – всё помнишь. Как там пели послая Троицы-то? Ну?

– Вёсну когда провожали? – отозвалась Арсеньева. – Я ведь сама княжухинска. Как у вас тут – не знай.

– Ой, да ладно, теть Кать, – ты в Астрадамовке уж вечность отжила! – отозвалась баба Лида. – Давай, вспоминай!

*– Вдоль я бережку похаживала, да*

*Чернобыль травку да заламливала.*

*Чернобыль травку всё заламливала –*

*На серых на гусей я погаркивила, – запела Арсеньева хорошим, чистым, на удивление молодым голосом.*

*– Чай, вы, гусеньки, да наплавались,*

*А я, девица, я наплакалася, – нестройно подхватили Иванна и ее полная подруга. Затем постепенно, не спрашивая на то разрешения Шахова, в хор вступили дамы из «Городца» – осторожно, стараясь не выделяться:*

*– А я, девица, наплакалася,*

*А я нажила себе вечну сухоту,*

*Нажила я себе вечну сухоту –*

*Да в сухоте себе мужа-дурака...*

К поющим голосам присоединялись всё новые и новые – особенно там, где строчки повторялись. Пели все – и молодые, и старые. Старикову слышались в этом круговом хоре и серебристые нотки Водлаковой, и бас Тонкова, и звонкие трели Карасева-Андрюшки, и даже – один раз – до него донеслись узнаваемые, с нагловатой протяжкой гласных звуки пения Чириковой.

Шут смотрел на всё это действие строго, но спокойно: он хорошо знал, что его ожидает, но нисколько этого не боялся. Так было и так будет, каждый год – из века в век. Ему ли бояться огня, когда он сам – огонь?

И огонь был – Андрюшка загорелся быстро, пламя в сухом летнем воздухе поднялось высоко, а затем также скоро сникло. Шутушка догорал. И Стариков понял, что всё было сделано правильно – так, как надо. Так, как хотел и ждал его величество Шут-время.

## Глава 16. Футбол с Чириковой

Вечером на крыльцо высыпало почти всё мужское население экспедиции. Петька и Котерев курили, пуская кольца дыма в постепенно темнеющее небо. Поэт и Стариков переговаривались и щурились в сторону растекшегося по всему горизонту красного металла заходящего солнца. Тонков позевывал и почесывал бороду, раздумывая закурить ли еще одну сигарету или бросить окончательно: дамы из «Городца» ругали его и уверяли, что курение портит ему связи.

Лешка где-то в глубинах своего бессознательного переживал подбирающееся, как тать из-за угла, чувство финала – окончание очередной экспедиции. И гнал его подальше: «Уходи-уйди, во вчерашний день, во болота лесные, на восточную сторонку, в чисто поле, синё море. Тьфу-тьфу, аминь-аминь...».

Вдруг из школьного поворота вынырнули пять фигур. Одна из них держала что-то круглое в руках – что именно, разобрать было невозможно, так как в спины идущим било заходящее светило.

– Кажись, банная банда пожаловала – в полном составе! – пробасил Тонков, который отличался стопроцентным зрением.

– Так их четверо должно быть – еще и пятого где-то подцепили, – заметил поэт. Стариков вскинул голову и начал подслеповато всматриваться в непрошенных гостей.

– Э-эй! – завопил черные усики и поднял вверх круглый предмет. – Фольклористы недобитые! В футбол не желаете? До пяти голов – успеем до темноты как раз.

Основатель и солист «Городца» почесал бороду, огляделся по сторонам и произнес:

– Давненько, господа, не разминал я кости. Перед сном – оно полезно. Каково ваше мнение?

– *Citius, altius, fortius*<sup>10</sup>! – ответил поэт и немедленно стал разминаться, начав с растирания подушечки левого указательного пальца руки.

– Да мы их порвем в клочья! В первые же минуты! – заявил рыжий и стянул с себя футболку, обнажив изрядный волосяной покров на груди и четко намеченное пивное пузо.

---

<sup>10</sup> Быстрее, выше, сильнее! (лат.).

Будов отправился на переговоры с квинтетом и сообщил им о всеобщем одобрении их неожиданной инициативы. Вскоре все потянулись на школьную спортплощадку с недавно покошенной травой. Возле забора располагались слегка покореженные металлические ворота (одна штука), другое, как выразился Сланцев, «сооружение для забиванья голов» сделали из подручных кирпичей.

– Главное, так сказать, символически пометить штанги! – радостно болтал поэт, водружая кирпич на кирпич.

– Ты хоть когда в последний раз в футбол-то играл? – спрашивал его Стариков, с тревогой посматривая на противников, которые уже осваивали противоположные ворота: развесили на них свои футболки и кепки. – Я вот совсем не помню того дня, когда нога моя мяча касалась.

– О-о! «Нога моя мяча касалась!». Лешка, ты растешь над собой в поэтическом смысле! Вот что значит общение с прижизненными классиками, – поэт улыбался и, по всему видно, был в предвкушении схватки. Стариков этого радостного возбуждения не разделял, хотя и его понемногу заражал давно забытый спортивный азарт.

К краям школьного стадиончика стали подтягиваться экспедиционные девушки, неведомо как узнавшие о футбольных баталиях. Лешка, положивший очки («от греха подальше») на дальнюю скамейку, смог, однако, узнать среди них Щеголеву, Водлакову, Дожжину и, кажется, кого-то из ансамбля. Чуть позже их разбавили несколько местных девиц, среди которых, наверняка, нарисовалась и сестра разбойника Славки. Точно Лешка этого сказать не мог, да и некогда было рассматривать болельщиков: началась игра.

Противники выстроились друг против друга и с серьезными лицами обменялись рукопожатиями. Черные усики задержал на секунду руку Лешки в своей и, насмешливо глядя на него, высказался:

– Куда очки-то дел, ученый? Это тебе не по бабкам ходить – тут глядеть в оба надо!

Мячик выпало разводить местным. Толька прикрыл своей большой спиной и бородищей их кирпичные ворота. Сланцев держался ближе к середине поля и без конца кричал: «Пасуйте! Ну же!» – даже когда мяч находился у противника. Котерев носился, как лось, от ворот к воротам и по победному виду его голого торса Лешка догадался, что Чирикова точно заявила. Стариков играл в полузащите.

Первый гол прилетел в ворота фольклористов от длинных ног Марата, который, судя по точным движениям и умению обводить соперников, явно практиковался в футболе чуть больше, чем Лешка. Правда, минут через пять в результате какой-то немыслимой комбинации пасов между рыжим и Сланцевым поэт умудрился залимонить мяч в правый угол покореженных металлических ворот. Наградой им был восторженный визг экспедиционных болельщиц. Юрка приосанился и бегал уже не так быстро, с пренебрежением глядя на противников: видимо, впереди ему грезилась победа и заслуженные лавры.

Стариков с непривычки вскоре начал задыхаться и берег силы. После Мишкиного гола обозленный квинтет бросился в контратаку. Лешка двигался в каком-то замедленном темпе и словно чего-то поджидал. В голове появилась точная картинка, у кого через две-три секунды окажется мяч. И точно: пас, еще пас, и к их воротам мчится Славка. Вся его фигура говорит о победном ударе. «Обломишься, гад!» – Лешка вбрасывает в мускулы сэкономленную именно для этого звездного момента энергию, чуть приседает и со всей силы лупит Славку в щиколотку, подрезая его как стебель-переросток. Лицо с черными усиками исчезает в недавно скошенной траве, а Старикова охватывает какое-то сладкое чувство исполненного долга. Но длится оно ровно мгновение – до первого стога поверженного врага.

– Вот черт! – Марат останавливается рядом и с любопытством смотрит на маленькое, скрюченное в траве тельце своего главаря. – Уделал ты его по самые гланды!

Парни – и местные, и экспедиционные – поднимают Славку на ноги и ведут его к лавкам, врытым в землю по краям стадиончика. Лешка с ужасом замечает, что у поверженного и отчаянно хромящего противника текут от боли слезы.

– Продолжаем! – кричит Марат, как только главарь с черными усиками устраивается на лавке. – Счет: один-один.

– Я пока тоже посижу... – бормочет Лешка. – Пятеро против четверых – нечестно будет.

Он бредет в сторону черных усиков, рядом с которым замечает девушку в спортивной куртке. Игра продолжается.

– Да-а, зазвездил ты ему порядочно, – спокойно говорит Чирикова, когда он подходит к ее брату. Славка всё еще отходит от боли и

осторожно держится за травмированную ногу. Он и впрямь теперь кажется совсем маленьким – каким-то мальчишкой-семиклассником.

– Слушай, Славка, я не нарочно! – Стариков стоит перед парочкой бледный и подавленный. – Очень больно?

– А-а, черт! – сквозь зубы выдыхает черные усики и молчит.

– Да садись рядом, чего навис-то над ним? Всё со Славиком в порядке будет, – предлагает Чирикова, и Лешка совершенно не замечает, что Люба переходит с ним на «ты».

Стариков не может оторвать взгляда от ноги поверженного противника. («А вдруг я сломал ее? Или – еще хуже – он хромой останется на всю жизнь?»).

– Да нормуль всё, ученый! – хрипит черные усики, который, вероятно, перехватил Лешкин испуганный взгляд. – Щас еще в строй с тобой вернемся, доиграем матч.

– Сиди, игрок нашелся. Жертва аборта, блин. Никуда сегодня уже больше не пойдешь! – тон Любы так категоричен, что Стариков понимает: точно не пойдет.

– Может, к врачу свозить? В Сурское? У нас машины есть! – мямлит кандидат наук.

– Да в первый раз, что ли! – Чирикова беззаботно встряхивает головой. – Отойдет. Посидеть просто надо... Вот, черт, промазали!

Люба следит за игрой, Стариков сидит рядом с ней на лавке и тупо смотрит в ту же сторону. Без очков ему все равно почти ничего не видно, да и весь спортивный азарт куда-то улетучился.

Последние лучи солнца пропадают за горизонтом; быстро темнеет. Черные усики спрыгивает с лавки и делает несколько неуверенных шагов вперед, затем возвращается к лавке.

– Порядок вроде! – говорит Славка. – Случалось похуже. Ладно, играть сегодня не буду, пойду хоть последние моменты поближе посмотрю.

Стариков остается с Любой наедине. Лешу почему-то охватывает озноб – то ли от вечернего холодка, то ли после пережитого.

– Он ведь неродной мне брат. Сводный, – произносит Чирикова, всё так же глядя на играющих. – Славка очень хороший. Добрый. Просто хочет казаться таким вот – атаманом, блин.

Лешка с интересом исследует Любино лицо, внимательно рассматривает ее брови, глаза, нос – благо это можно делать без опаски, так как девушка глядит не на него, а на ворота.

«Ведь она даже красива. По-своему как-то. Или это вечерний свет так обманчив?» – Стариков сам себя ловит на этих мыслях и улыбается.

– Вы с ним немного похожи. Носы одинаковые.

– Все так говорят, – Чирикова тоже улыбается, но взгляда от ворот не отрывает. – В Астрадамовке про то, что мы с ним неродные, никто уж и не помнит, наверно...

Она снова делает паузу и, не смотря на Старикова, по-будничному спрашивает:

– Вы меня сильно ненавидите, Алексей Михайлович?

Лешка вздрагивает и отводит от нее глаза в сторону финальных сцен футбольной баталии.

– С чего вы взяли, Люб...

– Не отнекивайтесь! – обрывает она его резко. – Да или нет? Я вам всю экспедицию ведь испоганила? Так? Я отлично знаю, что она, эта поездка, для вас значит...

– Люба... – Стариков волнуется, трет свои ладони о шершавую поверхность лавки и не знает, что отвечать. – Мне кажется...

– Ненавидите?

– Да нет же! Ну что ты заладила: «ненавидите», – он срывается на «ты» и краснеет. – Да, конечно, мешала. Поначалу, по крайней мере. Но потом как-то всё само собой... разрешилось. Я не чувствую...

– Чего... не чувствуете? – Чирикова впервые поворачивается к нему; ее глаза отливают зеленью.

– Злости. Настоящей. Мне кажется, ты не хотела... навредить, что ли, – Лешка не выдерживает ее взгляда и глядит на свои руки.

– Ошибаетесь. Хотела. Но потом передумала... Гол! – кричит Чирикова, и Лешка чуть не подскакивает на лавке. – Готово! Молодцы! Мо-ло-дцы!

– Три-два! – слышится радостный вопль Славки.

– Закругляться, мужики, надо! – басит откуда-то со стороны Тонков. – Ни черта не видно уже.

– Посидите здесь! Я сейчас! – Люба срывается с места и через минуту приносит Старикову очки. Он водружает их на нос, и мир сразу становится другим, а лицо Чириковой остается прежним.

– Знаете что, Леша... Можно я вас так буду называть? – Люба внимательно и серьезно смотрит на сидящего юного препода сверху

вниз – стоя перед ним с перекрещенными руками. – Все-таки очки вам к лицу. В них вы на Гарри Поттера похожи. Но даже с очками вы ничего, ничегошеньки не замечаете. Дальше своего носа. Спокойной ночи, проигравшая сторона!

Чирикова машет ему ручкой и идет к прихрамывающему братцу. Футбольные баталии закончились. Три-два. В пользу Астрадамовки.

\*\*\*

– Чего – опять не спится? – Сланцев снова беззвучно выплыл откуда-то сбоку. Звезд на этот раз не было: ночное небо закрыли облака.

– Ага, – ответил Стариков. – Курить что-то хочется. Будов, блин, приучил. У тебя нет?

– Не-а, – поэт уселся рядом с ним на лавочку, стоявшую возле забора, что окружал школьный огород. – Я курю лишь в долг – стреляя у окружающих. Чтобы не приучать организм к травке. Вот я всё удивляюсь: и как это мы раньше до Колумба жили без табака и картохи? Трудно представить.

– Ага. Трудно! – согласился Стариков и отвернулся от него.

– Ну чего сейчас-то не так? Вот зараза! – поэт треснул себя по щеке, убив комара. – Чем сейчас недовольна твоя экспедиционная душенька? Смурный ты опять.

– Мишка, скажи честно: ты заметил? – Стариков встал с лавочки и прошелся из стороны в сторону.

– Чего?

– Ну, сегодня – когда играли в дурацкий футбол этот...

– Как ты мило беседовал с Любой? Все заметили, поверь. Особенно – Оленька Щеголева.

– Да причем тут... Щеголева? – Лешка раздраженно махнул рукой и сделал еще один рейс: три шага к школе – три к лавке. – Неужели ты не видел, как я Славку... саданул?

– Только слепой не узрел бы твоего знаменитого удара. Ловко ты вывел из строя главаря! Только нам это не помогло.

Стариков вздохнул и снова угнездился на лавке. Они помолчали.

– Так ты специально его? – в тоне Мишки появилась серьезность.

Юный препод неохотно кивнул.

– Месть – тонкое блюдо... – начал цитировать кого-то поэт, но Стариков не дал ему закончить.

– Ничего тонкого! Страшно это, понимаешь? С каким чувством... С каким удовольствием я это сделал! Просто ужасно.

– Не бойся. Жив он останется. Погоди: завтра придет к школе – и хромоты даже заметно не будет.

– Это не важно! – возразил Лешка. – Важно то, какую гадость я в душу запустил. А он – отличный человек...

– Ну уж прямо так? – засомневался Сланцев. – Как быстро он у тебя в отличные люди попал! И Чирикова – замечательная?

– Люба... – Лешкино лицо темнеет от краски, но он надеется на то, что в темноте поэт ничего не заметил. – Она не замечательная, а просто – нормальная девушка. С выпендрежем, конечно. Не без этого. С тараканами в голове. Но у кого их нет?

– Ага-а, – протянул Мишка. – Любопытная эволюция отношений. То ли еще будет в конце экспедиции!

– Да ничего не будет! – Стариков снова соскочил с лавки. – Никакой эволюции. Просто нельзя людей однозначно оценивать, ярлыки на них сразу навешивать. Вот сегодняшний день мне это снова доказал. Пошли спать!

– Не сегодняшний день, – поправил поэт. – А сегодняшний футбол. Поносились мы по стадиончику действительно неплохо, хоть и продули. Крутотышка крутота, как выразился бы Юрка.

## Глава 17. Вечер сказок

– Ну чего, Леш? Как там у нас с посвящением? – заговорщицки спросил ИП, искоса поглядывая на дверь, словно за ней столпились все новички и первокурсники, жаждущие приобщиться сакральных тайн. В учительской, где располагался одинокий спальник Шахчика, Стариков бывал за всю экспедицию раза три. Армейская чистота, в которой содержал свое временное жилище Иван Петрович, резко контрастировала с пропахшей грязными носками, запыленной и замусоренной «мальчишеской».

– Да пока что-то еще и не думали про это, Иван Петрович. Всё как-то некогда...

– Опять некогда, – вздохнул Шахов. – Ну да ладно. До финала осталось три дня, так что нам в любом случае растягивать удоволь-



ствие не стоит. У меня к вам с Мишкой и Толей есть одно предложение – если согласитесь, то в этом году посвящение пройдет не совсем стандартно.

Лешка согласился не раздумывая: во-первых, и впрямь не до того было, а во-вторых, вся поездка получилась «не совсем стандартно»: почему бы и посвящение не настроить на тот же лад? И Шахов коротенько, минут на сорок, описал ему подробности своей невероятной затеи...

Всю материально-техническую часть, слава Богу, взяли на себя Белорукова и Толька. Они с утра укатили на Тонковском «Патриоте» в ульяновские супермаркеты и вернулись лишь к вечеру.

– У меня от девчонок заказов было на покупки – выше крыши! Так что съездили точно не зря, – говорила Ташка, будто оправдываясь перед кем-то.

Мишка и Стариков принялись за шлифовку «идеологии» посвящения. Уже потом, много дней спустя после экспедиции, поэт изрекал, поглядывая на тончайшую пленку золотистого самогонного «аи»:

– Вечер сказок... Да, господа, вечер сказок! Если и искать тут какие-то реминисценции и потусторонние влияния, то смело можно приплести и какого-нибудь завалывшегося Кастанеду, и Мариам Петросян, и фаулзовского «Волхва». Я бы сюда и Гоголя с Булгаковым добавил, и масонско-толстовского Пьера, и «Очерки бурсы» Помяловского, и...

На «Очерках бурсы» его обычно благополучно прерывали, заставляя произносить тост. Сам Стариков, ежели бы кому-нибудь пришла в голову дурацкая мысль спросить его о потусторонних влияниях на их Вечер сказок, разразился бы длиннейшей и скучнейшей тирадой про никому не нужного Мирчу Элиаде и мифологическое время, и ось мира, и даже скандинавское дерево Иггдрасиль. Но боги милостивы – и никто у него про сии диковинки не вопрошал.

На самом деле ни Мишка, ни Стариков даже за час до Вечера сказок и думать не думали ни о каких Помяловских и Иггдрасилях. Всё творилось само собой, как и должна происходить настоящая инициация – таинственное и неизреченное приобщение новичков к кругу посвященных.

\*\*\*

Труднее всего было скрывать от остальных процесс подготовки к главному действию. Юрка, будто кот, почуявший свежзамороженную рыбу, терся то возле «идеологов», то рядом со школьным спортзалом, где в поте лица своего трудились Тонков и Ташка.

– Котерев не отходит от нас ни на секунду, – жаловались Дожжина и Родина, которым Стариков поручил отвлекать новичков. – Всё чего-то вынюхивает и выспрашивает. Мне кажется, что он раскусил нас.

– Да чего тут особо раскушивать? – возражал Сланцев. – У нынешнего посвящения совсем другой характер и вкус: мы же их не водим за нос, а готовим к Великому.

Танька в ответ восторженно пищала, а Юлька недоуменно морщила цыганистые брови. К сонму приобщаемых к Великому относился весь «Городец» (за исключением его бородатого основателя), Будов с Котеревым, да две Оленьки – Водлакова и Щеголева.

Кстати, с веснушчатой партнершей по переплясам у Старикова на завтра намечались грандиозные планы – поход к Арсеньевой. С подвижной, как ртуть, полноватой и говорливой бабой Катей Лешка успел немного побеседовать во время похорон Шута. И понял, что не сходить к ней на полноценную запись – означает преступить все законы полевой фольклористики.

– Я ведь еще ни с кем и не записывала по-нормальному, – жаловалась Щеголева. – Должна же я это увидеть...

И Стариков клялся, что Оленька непременно всё услышит и увидит – в лучшем виде. С ними напросился и Петька, который, как тогда показалось Лешке, вернулся к норме и снова стал самым обыкновенным – наибудовейшим из известных ему Будовых.

Ужина ждали все: старички – с томлением артистов перед премьерой нового спектакля, новички – со смутным ощущением предстоящего духовного обрезания.

– Я бы попросил всех без исключения подойти в половине десятого в спортзал. Мы проведем там очень важную планерку – обсудим детали завершающей части экспедиции, – сухо и по-деловому объявил Шахов в тот момент, когда многие перешли на чай, а Котерев допивал третью кружку этого священного китайско-индийского напитка.

– В спортзал? Почему в спортзал? – заволновались «Городецкие» дамы, и рыжий с удвоенной подозрительностью ощупал глазами лица поэта и Старикова.

– Там удобнее, – тут же нашелся хитрый седовласый экспедиционный командир. – И чего мы там раньше не собирались? Простор и благодать!

Дамы – все, как одна – обернулись в сторону Тольки, как бы спрашивая, остался ли еще здравый смысл за столом. И Тонков важно качнул бородой, как бы свидетельствуя: дескать, на том стояло и стоять будет Шаховское здравомыслие. Для «Городца» этого оказалось вполне достаточно. Обе Оленьки отнеслись к неожиданной идее ИП спокойно, почти равнодушно; Будов, по мнению Старикова, даже не обратил внимания на изменение места планерки. И лишь рыжий с недоумением потер губы тылом правой ладони и побежал курить – весь в предчувствии того, что свежзамороженная рыбка вскоре обретется в его стоявшей всегда наготове кошачьей миске...

– Делай, что хочешь, но они не должны попасть в спортзал раньше моего сигнала! И у каждого должна быть повязка! – цедил сквозь зубы Лешка, передавая Таньке платки, полотенца, шарфы – все то, что сгодилось бы для покрытия излишне любопытных очей.

– Да как мне их удержать-то? – от испуга и волнения Родина картавила сильнее, чем обычно. – Особенно этого Котерева! Он куда хошь просочится! Я не смогу...

– Сможешь! – гипнотизировал Стариков маленькую Таньку, и она в ответ действительно выпрямила спину – совсем как экспедиционный завхоз – и даже стала чуть выше ростом. – Верь в себя, Родина моя!

И Лешка исчез в темных недрах школьного спортзала... Неумолимо приближалось назначенное Шаховым время.

\*\*\*

Огромные, закрытые специальной сеткой окна чернели ночным небом. Деревянный скрипучий настил на полу красили в прошлом году, но местами коричневая краска до сих пор так хорошо сохранилась, что отражала свет от полной луны, льющийся с крайнего окна – того, что рядом с баскетбольной корзинкой.

Посередине зала – постеленные в два слоя спортивные маты. Вокруг них – расставленные кругом скамейки. На матах находится единственный источник освещения этого самого большого помеще-

ния в школе – мерцающий экран ноутбука, откуда мягко доносится музыка. Над подбором звукового фона поработал Тонков: тут и едва слышные шаманские барабаны, и шум океана, и приглушенные голоса бабушек Аркаевского хора.

Родина одного за другим заводит смеющихся и спотыкающихся новичков – сначала дам из ансамбля, затем остальных. Шествие замыкают Будов и Юрка, по традиции улыбающийся во все 32 зуба. У каждого на глазах – повязка. Танька шикает на всех, шепотом подсказывает, куда идти, но смешки прекращаются сами собой: по ее команде посвящаемые стягивают полотенца и шарфы с глаз. Сильнее всех вытягивается лицо у рыжего, когда он видит подготовленные маты и скамейки вокруг.

– Пытать будут? – шутит Котерев, но никто не смеется в ответ.

– На маты, все садитесь на маты! – велит Танька и начинает пятиться куда-то в темноту – в сторону подсобки, где хранятся баскетбольные мячи и другой спортивный инвентарь.

– А ты куда? – спрашивает Родину Водлакова, и в голосе ее слышится плохо скрываемый испуг.

– Садитесь и ждите! – повторяет Танька строго, и все подчиняются.

Сидящий на мягком мате Юрка вертит головой во все стороны, пытаясь уловить движущиеся тени, но ему мешает свет от экрана ноутбука. Он понимает, что, если затаившиеся люди и могут откуда-то выйти, то только из подсобки, но постоянно смотреть туда не в силах: ему всё кажется, что тени прыгают и кривляются под окнами, скользят по стенам и по потолку. Наверное, именно поэтому он, как назло, пропускает момент Их прихода. Вот только что вокруг матов никого не было – и вдруг... Они.

– Вечер сказок, – шелестит Черная маска справа, из-под которой выглядывает седая борода.

– Вечер... – подтверждает бас справа.

– Сказок! – раздается слева.

– Точно он!

– Вечер! Вечер!

«Господи, сколько же их? Они повсюду, что ли?». Никто не смеется. Подсиненные светом компьютера лица тех, кто сидит на матах, серьезны и какие-то одинаковые. Отличаются лишь глаза: у Котерева они искрятся и треуголятся, у Водлаковой испуганно рас-

ширены. У Будова глаз не видно совсем – он прячет их под опущенными ресницами.

– Итак, рассказываемся! – приказывает голос в Черной маске. Остальные пять фигур в разноцветных масках послушно кивают и занимают свои законные места («аккубитусы») на лавках, возвышаясь над теми, кто затих на матах.

– Я буду говорить первый! Моя сказка вначале, – объявляет Черный.

– Его в самом начале! – картавит Красная маска, сидящая всех ближе к Котереву.

– Его сказка первая! Он – Мат.

– Он – Мат. Его первая! – соглашается Белый.

– Первая!

– В самом начале! – снова и снова шелестят остальные, и Юрка, который всё пытается улыбнуться, вдруг чувствует, что от бесконечного эха слов, текущих по кругу, его голова раздваивается и расстраивается, а волосы на загривке встают дыбом. Звуковой фон в ноуте – прибой океана.

– Вначале был Хаос и Океан... – продолжил Черная маска.

– Океан и Хаос, – подхватил Зеленый.

– И там плавало Яйцо, из которого возникло всё.

– Всё? Всё! Всё! – зашептала Желтая.

– Океан и Хаос.

– Всё!

– Оно плавало! – подвел итог Синий.

Юрка почувствовал, что еще немного, и он руками закроет себе уши – только бы не слышать этих удвоений и утроений. Но Те, словно вняв его молчаливому крику, унялись, и дальше Черный рассказывал без эха. Почти без эха.

– Из скорлупы – суша, из желтка – солнце, из белка – облака. Так было. Почему на Пасху красят яйца? Где прячется смерть Кощева? Ответы тут, все тут... Но сказка не про то. Моя сказка о другом. О том, как было в самом начале...

– Начале? – спросила Желтая маска.

– Сказка про Поупа? – предположил Зеленый.

– Да, она! – подтвердил тот, кого назвали Матом. – Версии тут разные – Поуп ли, Проуп ли. Не столь важно. Важно, что он был. С него-то всё и началось.

– Он поехал первый? – радостно прокартавила Красная.

– Нет! – в голосе Черного сквозит легкое недовольство. – Он вообще не ездил. Просто сидел и говорил обо всем, что знал. А знал он всё.

– Как же так? – удивляется Зеленый. – Не ездил, но знал обо всем?

– Чудеса! – соглашается Синий.

– И ведь не из наших был! – повествует сказочник Мат.

– Как так? – басит Белый.

– А вот так! Немец какой-то, из ихних. Вот всегда так получается: как русский фольклор или живой великорусский язык – так всё немцы попадаются! – под Черной маской – невидимая улыбка.

Котерев совсем запутался в Кощеевых яйцах и великорусских Проупах, но в размеренном ритме голосов Масок, рокоте отдаленных барабанов из ноутбука и окружающей темноте спортзала – во всем этом чудится ему что-то до ужаса приятное, похожее на эмоциональное поствкусие от страшных историй, которые он когда-то давным-давно слушал в пионерском лагере – лежа под одеялом.

– Вот он-то и сотворил эМПэ! – со значением провозгласил Черный и подпер кулаком бороду.

– Как это «сотворил»? – с сомнением переспросил Зеленый.

– Да! Как это? Может, она из Яйца вылупилась! – предположила Желтая. Красная маска закудаhtала картавым смехом.

– Нет! – решительно отверг эту версию сказочник. – Точно не из Яйца. Просто сотворил и всё. МП – это Майя!

– Майя? Иллюзорность всего сущего? – заметался на лавке Зеленый.

– Хорошее толкование! – одобрил Черный. – Но я вижу, что мы нашим птичьим клетотом утомили аудиторию. Возвращаюсь к сказке. Итак, МП. Некоторые расшифровывают сию аббревиатуру, как «мифологический персонаж», но я всё же склонен считать ее «Майей». Вот она-то всё и зачала.

– Она ездила? – радостно спросила Желтая.

– Еще как! – ответил за Черного Синяя маска. – Годков сорок в поле отпахала.

– Я всё равно не понимаю, как можно знать всё, ни разу не побывав в экспедиции? – вмешался Зеленый. – Вот МП – та и знает всё!

– Не спорь! – мягко сказал Мат. – Теория и работа в поле – вещи разные. Не об этом сказка. Важно то, что не будь Майи, – не было бы и всего остального. И нашей нынешней экспедиции – в том числе.

– В том числе! – пискнула Красная.

– В том числе! – свидетельствовал Синий.

– МП в свою очередь породила троих... – Черный показал три пальца.

– Авраам родил Исаака? – с надеждой подсказала Желтая.

– Отставить шуточки! – по-сержантски одернул Желтую сказочник. – Потерпите немного – я уж скоро закончу свою мифологию, и вы расскажите что-нибудь поинтереснее и попонятнее моего.

– Куда уж нам! – вежливо засомневался Зеленый, и Мат погрозил в его сторону пальцем.

– Так вот троих. Говорят, что был еще и четвертый – с хвостом сзади. Но он – предание туманное, о нем вам мало что известно. Первый и второй ушли в литературоведение: кого в Карамзина, кого в Ознобишина с Языковым затащило. Остался третий.

– Шах? – спросила Желтая.

– Мат! – ответил Зеленый.

Красная маска опять закудахта.

– Средний был и так и сяк, ну, а третий сын... – прошептал Синий. И все Маски затряслись от смеха. Из сидящих на матах чуть улыбнулся только Будов, но своих глаз из-под ресниц не показал. Остальные новички сидели с недоуменными и серьезными лицами, подсиненными ноутбуком.

– Я гляжу: с вами мифологической каши не сварить! – с приторным недовольством произнес Черный, который кудахта за секунду до этого не хуже остальных Масок. – Давай-ка ты, многоумный Старый, перенимай у меня эстафету.

– Да пребудет с нами сила! – важно ответил Зеленый. – Моя сказка будет не сказкой, а игрой. Точнее: я хочу рассказать о правилах игры. Слушайте внимательно те, кто на матах, ибо это важно.

– Не важнее, чем мифы о первоначалах! – возразила Желтая.

– Кто же с этим поспорит! – пожал плечами Зеленый. – Сильнее сказочника Мата в первоначалах нет никого, разве что МП его может обставить, но тут еще бабушка надвое сказала. Итак, вот моя

игра: она называется ШахМаты. Первыми, как известно, ходят белые пешки. Это – вопросы собирателей. Самые осторожные – для настроения беседы. Тут нельзя идти в лобовую атаку, ну, знаете, только подошел к бабушке и сразу: «А у вас домовые не водятся?». Или: «А вы случайно не оборачиваетесь в сарае по ночам?». Нет и еще раз – нет. Первые ходы белых должны быть предсказуемы и просты. Дайте черным ответить вам так же просто – про жисть бывалошну да про колхозы, да про семью. Пусть человек выговорит вам всё, что у него накопилось на душе. А то ведь новички так и норовят сразу с коней начать – с неожиданного прыжка буквой «Г».

– Напал на своего любимого конька! – съязвил Синий.

– Пошла чесать губерния! – добродушно вздохнул Черный.

– Пусть-пусть. Для молодых – полезно! – встала на защиту Зеленого Желтая.

– Тяжелую артиллерию – ладьи да ферзя – пускать надо в последнюю очередь, – невозмутимо гнул свое сказочник Зеленый. – Ладьи – это не вопросы. Ладьи – это тексты, которые вы знаете по своей теме. Ну у музыкантов, понятно, – тексты и мелодии песен. Когда вы воспроизводите текст, информант отвечает вам тоже текстом. Ну вот как при рассказывании анекдотов: ведь в компании во время беседы анекдот появляется не в ответ на какой-то дурацкий вопрос, а чаще всего – как реакция на другой анекдот или просто – по ассоциации. Короче: на ход сильной фигурой – ладьей – тоже отвечает ладья.

– А как же ферзь? – пискнула Красная маска.

– Да и король, – подсказывает Черный. – Не забудь про короля.

– Ферзь и король... – щели Зеленой маски задумчиво смотрят на Будова. – Тут история посложнее. Ферзь – это лучший информант экспедиции. Он обычно бывает один – за всю поездку. Его ждешь, как манны небесной, и никогда не угадаешь, где он скрывается. А король – король вообще бывает один раз в жизни. Можно ездить всю жизнь в экспедиции и так и не встретить своего короля. А можно, – и сказочник чуть качает зеленым подбородком в сторону Петьки, не смеющего открыть глаза, – можно и с первого раза наткнуться на него.

– Шах? – тихо спрашивает Синий.

– Мат! – задумчиво подтверждает Черный. – Кто следующий?

– Я желаю! – объявляется Желтая. – Мне хочется дополнить



сказку Зеленого. Конечно, его игра в ШахМаты хороша, но она какая-то... какая-то слишком рационалистичная, что ли.

– Релевантная! – услужливо подсказывает шутник Синий.

– Иррелевантная! – поправляет его Черный.

– Говорите по-человечески! – недовольно басит Белый.

– Ладно-ладно! – заторопилась Желтая. – На мой взгляд, в правила игры в ШахМаты следует добавить эмоций. Да, я согласна: белые – собиратели, черные – информанты. Но не просто информанты. Это наши собеседники, в них влюбляться надо! Понимаете? На их рассказы, песни надо реагировать: я вот плачу часто, когда бабушки рассказывают, как они лебеду да крапиву ели после войны. Или про похоронки. А молодежи сколько – сыновей да дочерей – у наших бабушек-то погибло... – Желтая начала всхлипывать под маской, Красная начала ее утешать и сама всхлипнула.

– Ну-ну, – забеспокоился Мат. – Чего вы тут сырость устроили? Давайте-ка фон сменим! Вот пусть бабушки веселые в ноутбуке поют. Белый! Может, ты возьмешь слово?

– Да я, Ив... – запнулся Белый. – То бишь, товарищ Мат, хорошо говорить не умею. Давайте лучше спою, а?

Черный согласно качнул седой бородой.

И от Белой маски полился густой приятный бас:

– *А ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял мужик дугу, потерял мужик дугу на зелёном на лугу. Шарил-шарил, не нашел, к государыне зашел...*

– *Государыня чай пила, себе сына родила, – тихо отозвались сидящие на мате дамы из «Городца». – Сына Максима – четыре аршина! Кума Пелагея, отрежь полотенце, отрежь полотенце – покрыть молодёнца...*

У Котерева от заунывных, космических звуков фольклорной колыбельной снова начала двоиться и троиться квадратная голова. Будов впервые – с тех пор, как приземлился на мат, – приоткрыл глаза и чуть покачивал головой в такт песне ансамбля.

– Ну, а ты что скажешь, Синий? – спросил убаюканный Черный. – Пора заканчивать, наверное, словесную часть. Мы и так, по-моему, затянули. Завтра вставать рано.

– А можно я – по старинке, по-своему, по-стихотворному? – спрашивает Синий, и все Маски торжественно кивают. – Это прямо в экспедиции сочинилось.

– Слушайте внимательно – те, кто на матах! – напоминает Черный. Синий, вдохнув побольше воздуха в грудь, неспешно, будто странник после долгой дороги, начинает свое стихотворное повествование:

*– Солнце закатное тает над домом угрюмым.  
Трещины, словно морщины. Резьба тут осталась.  
Мошки под вечер роятся навязчивой мыслью:  
дом престарелый на землю присел от усталости.*

*Стук наш в окошко с вопросом: «Хозяева дома?».  
Дверь захрипела ржавых петель суставами.  
Бабушка просто встречает нас, словно знакомых.  
«Ой, ну чаво, проходите, сынки, чай, устали...»*

*Вот мы и в комнате, сели на лавку. Достали  
ручку, тетрадь, диктофон – это всё пригодится.  
«Может быть, чаю с вареньицем, вы, чай, устали?»  
Вертится кот под ногами, скрипят половицы.*

*«Мы – собиратели, мы – фольклористы, бабуля.  
Интересуемся, как раньше жили в деревне,  
праздники как отмечали, про домовых и колдуний,  
раньше-то было не то что сегодня, наверно...»*

*Как вас, бабуля, зовут?» – «А зовут меня Лизой,  
Елизаветой». – «По батюшке как вас?» – «Пятровна.  
С двадцать восьмого я года...». Котьяра-подлиза  
думает, чем поживиться, мурлычет утробно.*

*Бабушка чай наливает дрожащей рукою,  
А со стены смотрят лица неблизкой родни.  
«Ладнать, сынки, ну чаво там, была молодую,  
сколя годов-те, мои убежали деньки.*

*Всю-ту бывалошну жизнью работала в поле.  
Тяжко, робяты, в войну было, ели крапивушку.  
Девочкой бегала за колосками, такое  
нам не прощали, ловили нас шибко там».*

*«В кельях сидели?» – «Робяты, сидела и в кельях,  
пряли, шутили, гадали там под Рожаство».  
Если взглядеться – глаза ее не постарели,  
так же хранят молодое свое естество.*

*«Как вы гадали, бабуля?». – «Известно, как: зеркало, свечка.  
Суженая-ряженая, так и калякашь – приди!  
Ну, свояво увидала я в зеркале...». – «Правда?». – «Конечно!  
Замуж пошла за няво, вот, на фоту его погляди».*

*Долго беседуем. Хлынуло время обратно.  
Сваты, венчанье – и ярку назавтра искать...  
Катится солнце усталое тихо к закату.  
Бабушка жизнь продолжает свою вспоминать.*

*«Я-те сама не видала, но люди видали:  
прыгнет одна чрез двенадцать ножей – и свинья.  
Ухо свинье той отрезали, ну, как пымали,  
глядь – а наутро у ней-те башка забинтована вся».*

*«Вот говорят, что покойник приходит, коль плачут...». –  
«Как же, робяты, вот муж мой ко мне прилётал.  
Лётат и лётат! Как шар этак огненной, значит.  
Еле отвадила матом, посла он лётать перестал...».*

*Про домовых, про чертей и про порчу, и сглаз, и  
Троицу, Масленицу, привороты и вещице сны...  
Мы погружаемся в прошлое, как водолазы,  
плаваем там и не чувствуем глубины.*

*«Ладно, робяты, досыта я наговорилась.  
Этак чаво уж мне, старой, одна да одна...».  
Сказки закончились. Вышли – и дверь затворилась.  
Вновь не увидим мы бабушку ту никогда...».*

Синий замолчал. Наступила тишина. Только тут и посвященные, и посвящаемые заметили, что из ноутбука снова доносится прибором далекого океана. Засидевшиеся на матах «Городецкие»

дамы и обе Оленьки стали ежиться (в спортзал проникла ночная прохлада) и хрустеть задеревеневшими суставами.

– Терпение, немного терпения! – прокаркал голос Красной маски. И привычная ее картавость, в обычной реальности вызывавшая лишь улыбку, заставила вдруг всех вздрогнуть и насторожиться. – Предстоит последний этап – коротенький, но важный. Вас проводит Привратница («Пгивгатница»)!

Пребывавшие на лавках Маски встали, за ними начали с трудом приподниматься и те, кто засиделся на матах. Из темноты спортзала навстречу Котереву выступила еще одна фигура – седьмая. Ее лицо закрывала двухцветная – черно-белая – маска.

– Идите за мной. Не толпитесь, по одному! – произнесла Привратница и выпрямила спину.

В углу спортзала притаилась дверь, ведущая во внутренний, неприметный школьный дворик, огороженный какими-то сараями и кирпичной стеной трансформаторной будки. За время экспедиции туда мало кто заглядывал: попасть во дворик можно было лишь через дырку в заборе либо тем способом, которым они выходили сейчас. Однако в обычное время спортзал закрывался на ключ.

Будов немного отстал от остальных, и Зеленый успел перекинуться с ним парой слов.

– Ты как – нормально? Чего глаза-то не открывал весь вечер?

– Не люблю я всех этих посвящений! – признался Петька. – С армии ненавижу все эти... отношения: старички-новички, блин...

– Чего: совсем, что ли, не понравилось? – у Зеленого проскользнуло разочарование в голосе.

– Да нет, нормально. Молодцы вы... Колыбельная – особенно...

Их шепоток прервал строгий и властный голос Привратницы:

– Вставайте с этой стороны. Вам предстоит пройти врата!

Новички сбились в кучу у двух старых толстых берез, растущих так близко друг к другу, что верхние их ветки сплетались в одну крону, похожую на кокон гигантской бабочки. Маски потянулись дальше и встали полукругом по другую сторону деревьев.

– Это ворота, – повторила Привратница. – Сейчас вы еще те, кто вы есть. Да, вы многое слышали – разные тайны, неведомые остальным. Но только тот, кто прошел ворота, – тот и посвященный. С этой стороны, там, где стоите вы – привычный мир: школа, Астрадамовка, а через каких-то два-три дня – город, квартиры, машины,

обычная суета сует. Но по ту сторону, – Черно-белая указала на проход между деревьями, где выстроились разноцветные Маски, – вас ждет иной мир. Там всё возможно и всё есть – и оборотни, прыгающие через 12 ножей, и домовые, ухающие по ночам, и колдуны, наводящие порчу, и знахарки, умеющие лечить...

Зеленый, который стоял у самого края полукружья, образованного фигурами Масок, успел заметить, как Будов вздрогнул и начал потихоньку пятиться назад – к выходу из спортзала.

– Да нет проблем! – сказал Котерев и шагнул к деревьям. На него выход из школьной темноты, откуда доносились звуки океанского прибоя, оказал самое бодрящее воздействие. Голова раздваиваться перестала, при свете луны дешевые китайские маски, купленные Ташкой в «Фикс прайсе», совсем перестали гипнотизировать его.

– Вуаля! Готово! Я теперь посвященный, да? – рыжий с удовольствием пожимал руки старичкам, еще не снявшим маски. За Юркой гурьбой последовали «Городецкие» дамы; тут же возникла суматоха и смех, так как девушки из ансамбля попытались протиснуться между деревьями все вместе.

Зеленый под шумок скользнул к Будову.

– Ты куда-то собрался, Петька? – тот уже стоял в двух шагах от приоткрытой двери, за которой чернела темнота спортзала.

– Я не пойду, Лешка! Не могу, хоть режь.

– Да ты чего? Это же игра! – Стариков сдвинул зеленую маску себе на макушку. – Ты хочешь испортить всем посвящение?

– Лешка, да пойми ты! Ну неужели ты не видишь, что там, за деревьями?

– Что?

– Пустыня. И они...

– Кто – они? – в тоне Старикова послышались озабоченно-испуганные нотки, как у врача, заметившего на рентгеновском снимке легких плохие для пациента новости.

– Они, черт бы их побрал! В темно-желтых накидках! – Петька уже взялся за ручку двери.

– Будов! Не пугай меня, – предупредил Лешка. – Это я тебе про них рассказывал, да?

– Не помню. Может, и ты. Да только они – там!

– Слушай, давай просто подойдем еще раз к этим дурацким березам? Смотри: все наши уже на той стороне и ждут только тебя.

Будов яростно замотал головой.

– Петька! Я прошу тебя как человека! Просто еще раз подойдем – и всё. Не хочешь между деревьями проходить – фиг с тобой. Чего-нибудь придумаем и наврем остальным. Только взглянем! Ну?

Бывший дембель сумрачно, из-под бровей посмотрел Лешке в глаза и обреченно отпустил ручку двери.

– Напяливай свою маску обратно. Сам увидишь – если, конечно, сможешь.

Зеленый вернул маску на место, и они побрели к деревьям. Смеющаяся, перешептывающаяся, нетерпеливо переминающаяся с ноги на ногу толпа ждала их по ту сторону ворот. Маски перемешались с посвященными; луна освещала дворик не хуже прожектора.

– Ну что вы там? – раздался недовольный голос Черного. – Все уж баиньки хотят. Потом ваши вселенские вопросы обсудите – проходи, Петька, не томи!

Будов с Зеленым встали перед деревьями плечо в плечо. Сквозь проход виднелись улыбающиеся лица Юрки и Тонкова, стянувшего белую маску. За их спинами серела кирпичная стена трансформаторной будки.

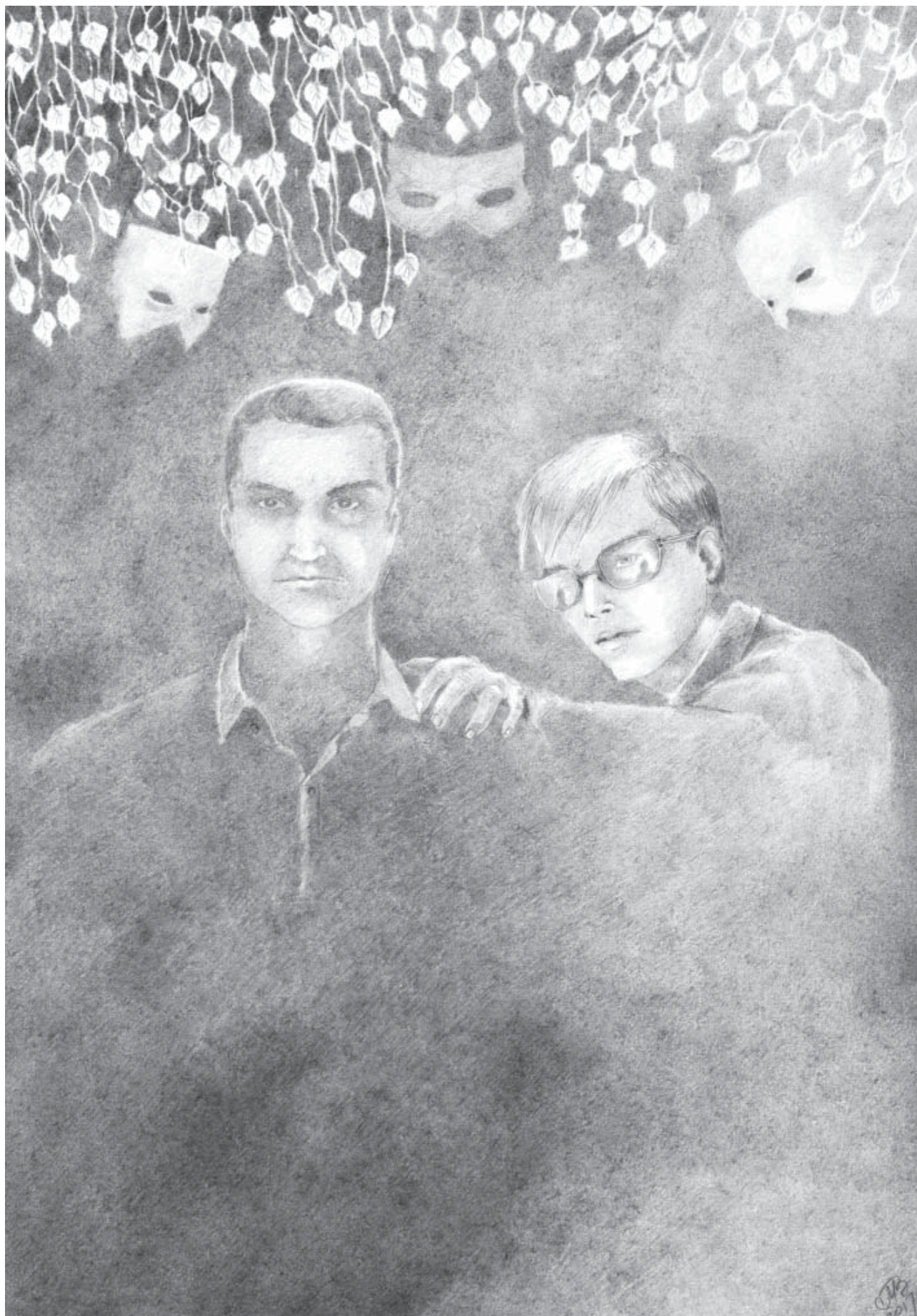
– Ну, видишь, что ли? – с тоской прошептал Будов. – Там – песок до горизонта, какие-то бараки в отдалении. И они – грязно-желтые плащи с красными глазами. Как ты не замечаешь их! Ты же не слепой!

– Петька, дур-рак! – сквозь зубы рычит Зеленый. – Нет там никого, только рожа Котерева и борода Тольки. Хочешь я с тобой пойду? Ну?!

– Хо... хочу! – Будов сжал кулаки так, что нестриженные ногти, словно ножи, впились в мякиши ладоней. – Пошли, черт, раз так надо! Но потом не говори, что я не предупреждал.

Вдвоем протиснуться между березами было невозможно. Они шли вместе до самых ворот, но, когда до деревьев осталось меньше метра, Зеленый немного отстал и пустил Петьку вперед. Тот зажмурил глаза и поднял ногу для того, чтобы сделать последний шаг. И лишь тогда Стариков увидел.

Солнце там еще только подкрадывалось к горизонту. Красноватый, с желтыми трещинами-прожилками песок был везде. Слева метрах в трехстах от ворот стояли два низеньких двухэтажных здания, похожих на большие амбары для зерна или самолетные ангары. На



фронтальной части зданий виднелись гигантские, вероятно, деревянные двери – они были полуоткрыты. Там копошились какие-то серенькие фигурки, их Лешка не успел толком рассмотреть. Не успел потому, что отдаленные ангары неожиданно заслонили тени, а в проходе замаячили длинные фигуры: с той стороны ворот их ждали, готовились встретить дорогих гостей.

– Не-ет! Не ходи туда, Петька! – пронзительно закричал Лешкин голос под Зеленой маской, но было поздно: Будов сделал свой шаг. И Стариков бросился за ним.

## Глава 18. Ртуть-бабушка

О посвящении за завтраком почти не говорили. Юрка по традиции переругивался с Ташкой по поводу добавки. Щеголева выглядела так ослепительно, будто готовилась идти не к бабушке на запись, а на выпускной бал. У Будова были красные, невыспавшиеся глаза, но в целом он выглядел по-боевому – даже пару раз пошутил по поводу белого с блестяшками платъица веснушчатой Оли.

Котерев и Водлакова сегодня решили поработать в соседней Чеботаевке.

– Там такой учитель истории – мировой! – докладывался рыжий. – Мне о нем здешний сторож рассказывал. Да и церковь в Чеботаевке любопытная – деревянная!

– Ага! – качал бородой позевывающий Шахов. – Вы там ее сфотографируете получше, церковь-то. Может, и с батюшкой стоит побеседовать, если, конечно, застанете его: он один на три села, так что есть вероятность не поймать.

Сам ИП в этот день опять хотел податься в Аркаево – вместе с «Городцом» и его основателем. Дожжина с Родиной пока решали, куда пойти; Белорукова со Сланцевым оставались за дежурных – правда, поэт после обеда собирался по одному «адресочку» в Астрадамовке: по достоверным слухам, там скрывался еще один не выявленный самогонщик. Троицу – Будова-Старикова-Щеголеву – по-прежнему ждала к себе баба Катя Арсеньева, прославившаяся среди фольклористов еще на похоронах Шута.

– А всё-таки эффектную концовку вы вчера придумали, мальчишки! – сказала выполнявшая роль Привратницы Ташка. – Я аж подпрыгнула, когда Лешка заорал. Очень натурально.



Стариков закусил губу с досады и покосился на Петьку: «Вот ведь не вовремя язык распустила: человек только-только начал отходить!». Но Будов даже бровью не повел – сидел, попивал чаёк и не сводил покрасневших глаз с Оленьки Щеголевой.

Пока шли к избе бабы Кати, Петьку так раздухарило, он выдал столько анекдотов, смешных случаев и приколов, что уже на полпути они с веснушчатой пошли под руку вместе. Поглядывая на короткое беленькое платье Щеголевой и скачущего, подобно боевому коню, вокруг нее Будова, Лешка, шедший сзади, чуть улыбался и думал: «Ну и слава Богу! Всё лучше, чем если бы он валялся вниз лицом на спальнике или молчал, как сыч. Оля – хорошая девушка, очень ему подходит». Так он размышлял лишь на поверхности, а там, в глубине, всё чаще ему вспоминалось личико шестилетней дочки («А ведь в августе уж семь стукнет!») и – светло-синие глаза жены. Он их не видел больше года, ни разу после развода не списывался и не звонил бывшей супруге.

Найти избу бабы Кати оказалось легче легкого. «Там, Лешенька, колодезь-журавель насупротив стоит. Увидишь, чать!» – говорила ему Арсеньева, поглядывая в сторону догоравшего Шута Андрюшеньки. Действительно: журавель оказался знатный. Некрашенная жердь высоко вздымалась над почти высохшим колодцем.

– Мы из него воду-ту не берем щас, особенно вот посля того случая – как дирижабля к нам пожаловала. Вот, Леш, щас я тебе в подробностях, в подробностях всё раскаляю! – баба Катя перекатывалась по избе, как цветастый колобочек, в своем неизменном халате. Старикову пришла удачная мысль записать рассказ Арсеньевой о памятном столкновении с НЛО прямо на улице, и их подвижная собеседница мигом обвязала голову платком, надела тапки на босу ногу и выбежала на крылец – только успевай записывать.

– Вот, ребятёшки, я стояла там! – быстрый взмах рукой, и бабушка уже летит к тому месту, куда показывала. Стариков со штативом наперевес бросается за ней, Будов возводит затвор фотоаппарата, сияющей Щеголевой поручено бегать повсюду за собеседниками с включенным диктофоном, но при этом «ни в коем случае не попадать в объектив!».

– И вот, значит, как: я гляжу, а мамыньки! Горит! Ну, вечер – а над домом-то всё осияло, как вот в городе иллюминация. Али как вот в церкви вот в Дивеево я ездила. Бывали там? Вот. Там люстра

така красива – страсть! И вот эдак же! Муж мой Феденька, кулугур, Царство ему Небесное, земля пухом, третий год в могилке лежит... – Арсеньева мигом утирает мелькнувшую слезу с левой щеки. – И вот он вперед меня-то убежал, ноги-те у меня больные. И – бух на коленки, шепчет-молится, кресты кладет! А тама, тама чаво творится! Дирижабля повисла! Вот кака – огромадна!

Арсеньева срывается с места и перекатывается в сторону колодца.

– Вот тут зависла тарелка-то эта. И ну лучом бить туда! Батюшки святы! Светопреставление! И этот Борька-прохиндей – сам убёг без памяти, а всем хвастается, что он чуть ли не самого черта за рога хватанул! Тьфу на него!

Стариков пытается выяснить, что за Борька такой. И – вновь рывок к повороту на другую улицу. И – снова рассказ про «тарелку», зависшую над колодцем. Лешка мог побожиться, что у него чешется спина и вот-вот прорежутся крылья от счастья. «Баба Катя! Ну что за прелесть! Вот так бабушка!».

Дальше они пьют чай в просторном зале избы Арсеньевой. После смерти мужа она осталась одна-одинешенька.

– Правда, вот дочка с Тольятти приезжает, да. У нее там муж на «ВАЗе» начальником. Три внучки у меня. Но редко заглядывают к бабушке. Раз в годочек на два денёчка... – сетует баба Катя и убегает на кухню за новой порцией кипятка.

– Я вам про домового-то не рассказывала, ребятёшки? Нетути? – кричит неугомонный голос из кухни. – Оё-ёй! Как было, как было – щас всё раскаляю!

Стариков бросает недоеденное печенье и телепортируется к штативу с видеокамерой. Арсеньева исчезает в своей спальне, отгороженной от остального зала занавеской, и тут начинается нечто невообразимое: из-под занавески появляется мохнатый медведь сантиметров 60 высотой, оттуда же вылетает какая-то красная тряпица.

– Ага, эту вот игрушечку мне дочка привезла: внучки, мол, пусть играют. А я, как увидела, так сразу: «Это же вот вылитый домовый, какого я в детстве видала!». Вот смотри, Леш: вот, значит, табуретка, вот сюда мы его запишем! – бабушка ставит стул посередине комнаты, помещает под него мягкую игрушку, предварительно обмотав ей нижнюю часть красной тряпкой – получилось что-то наподобие юбочки. Затем садится у дальнего окна – спиной к видеокамере и медведю.

– И вот я мамку-то жду, а темно уж. Керосин-то сэкономили, лучинки жгли. И вот я пить-то хочу, поднимаюсь вот так, – Арсеньева нарочито медленно встает и идет мимо табуретки. Затем опускает глаза на медведя, и на лице ее отображается комичное выражение ужаса.

– Боже ж ты мой! Какого страха я натерпелась – не пересказать! Сидит он вон там под стулом, сам маленький, мохнатенький, в красных штанишках и: «Уху-у! Уху-у!». Я – бежать! Ой! Слава Богу, до бабы Клавды достучалась, а то бы околела нагишкой – холодно еще ведь было!

Стариков уточняет детали, и рассказчица снова повторяет действие с игрушкой. Идея бабушки использовать для наглядности медведя приводит его просто в катарсический восторг.

«Ферзь, однозначно баба Катя – мой ферзь!» – думает Лешка, словно до этого не встречался он с великолепной бабой Полей, трагично-таинственной тетей Мариной Рядовой, Шутом-Карасевым и многими другими Астрадамовскими фигурами, отлично играющими шахматную партию на стороне черных. Что ж, сердце фольклориста склонно к измене и жизни по принципу «здесь и сейчас». Ему – простительно...

Беседа течет дальше. Серые нити повседневности Арсеньевой так плотно, так естественно переплетаются с яркими вкраплениями сверхъестественного, что Лешка теряется в этом узоре воспоминаний, не может разделить, где ему интересно, а где – нет.

– Вот переезжали мы, это еще в родительском доме когда, в Княжухе, угу. Тятка тогда другой дом сотворил – там всем подрядом ему помогали. У нас так: кто строится, зовет всех мужиков да родню, ставит им бочонок браги – и айда пошел. Хоромы получаются! У нас-то прежняя изба низенька была, вся окнами в землю глядела, а эта-то, нóва, – светла, с полатями, куды там!

И вот мы поехали на телеге-то скарб перевозить, тятка лошаденку колхозну впряг, повернулся к старой избе и говорит: «Дедушка домовой, айда со мной! На новое жительство!». И вот те крест! Не может сдвинуться телега с места – и всё тут. Ну ни в какую. И так и сяк, измучились вконец! Это я вот сама хорошо помню.

Ну, чаво делать? Тятя слез, снова кланяется, значит: «Дедушка, ты уж не обессудь, давай рядом беги с нами. Лошаденка стара, не свезет всех!». И вот, помилуй, Бог, вот щас вспоминаю, индо мороз

по коже – пошла телега-то наша! Поехали-полетели, как в сказке. Вот чудеса, ребятёшки. Подлинно чудеса!

Арсеньева прыгает с табуретки и через полминуты приносит очередную порцию печений. Щеголева с Будовым улыбаются, поглядывая то друг на друга, то на ртуть-бабушку. Стариков весь – внимание и собранность: нельзя упустить ничего из сказанного!

– Может, молочка? – Щеголева не успевает отказаться и перед ней, как на скатерти-самобранке, появляется трехлитровая банка – со вчерашним, вечерним, вкусным. Оля разливает по советским бабушкиным кружкам холодное молоко, фольклористы с удовольствием принимают пить, усапя губы белыми полосками.

– А в кельях-то как хорошо сидели: девчонки вяжут-рукодельничают, парни придут с гармониями-балалайками. Веселó! Не то что щас: в телек пялятся, а чего там смотреть-то? Якубовича вон только с дедом глядели да надоело: одно и то же каждый раз. А раньше-те – и «Подгорну», и «Семеновну» плясали. А краковяк-то умеете? Нет? А ну-ка становись!

Баба Катя за руки поднимает сначала порозовевшую Щеголеву, затем смущенного Будова.

– Та-ак! Ты становись сюды, ты – сюды, – распоряжается Арсеньева; Лешка вскарабкивается с ногами на стул и пытается заснять происходящее сверху. – Тут по кругу ходить надо. Понимашь? Пан-пам-па-паб-пан-тада, пан-тада! Вот такой мотив там, я бы вам наиграла, да инструменту нету. Так, ты разворачивайся к ней! Как тебя, Петей? Петь, да что ж ты – как неживой совсем? Ну-ка обыми Оленьку-то, чего ты ее боишься? Не съест! Во как! Во как! И опять пошли по кругу.

Просторный зал в мгновение ока превращается в келью середины XX века, где плясали и русского, и дробили, и частушками побивали то соперниц, то нерадивого гармониста.

– Эй, Лешка, а ну слязай, куды под самый потолок взлетел, орел молодой? Ставь свою камеру, покажем молодежи, как надо-те краковяк плясать!

Стариков не успевает по-нормальному установить видеокамеру на штативе, а Арсеньева уж вихрем подлетает к нему, и вот неуклюжий, угловатый, совсем не приспособленный к неискотечным танцам кандидат наук взят в полный оборот.

– Пам-пабам-пампабам-пампабам! Вот как оно, ага, тут за талию меня бери, чего талии у бабушки не нащупашь, Лешка, что ли? Ага, тут руку мою берёшь да вытягивай-вытягивай, а потом два шага назад, два вперед! О! Да ты два дня у бабы Кати поживешь и танцором настоящим сделаешься!

Петька смеется в голос, видя, как Стариков, словно неповоротливый танк, не поспевает за перекатывающейся туда-сюда бабушкой. А Арсеньева с помолодевшими глазами отпускает вдруг Лешку, слегка отталкивает его от себя и начинает дробить об пол голыми пятками.

*– На сопернице моей*

*Кофта изорватая!*

*Еще больше изорву:*

*Не люби женатого!*

Оп-оп, вот так, вот так – и дробью ногами идешь. Вот так! Мы, бывалоча, как на праздник какой – так там мост у нас хороший был, в Княжухе-те, – раскрасневшаяся баба Катя поправляет выбившуюся из-под платка прядь волос. – И вот он деревянный, а под ним – речушка. И как начнем там дробить-то – батюшки! На всё село слышать, звук чистый идет, как горохом по корыту! Вот как веселились, вот как праздновали. Надробимся – да снова по кельям шастать-плясать!

Собеседники опять рассаживаются за стол. Арсеньева вдруг задумывается и несколько минут молча глядит в окно. Там, на улице – солнечный, радостный день; слышно, как кудахчет курица, нашедшая что-то съестное. Ветер вздрагивает листьями тополей, склонивших голову на двор Арсеньевского дома.

Но у бабы Кати в затуманенных глазах – иное. По ним бегут и бегут струи нескончаемого дождя, уводящие в гипноз воспоминаний. Господи, ну как расскажешь этим мальчишкам и девчоночке в светлом платье про почерневшего на войне отца – ночного гостя, который на всю жизнь связался в ее детской голове с желтым кусочком сахара? Сахара с соринками – горько-сладкого воспоминания ее голодной молодости. Как передать им крики обгоревшей во время пожара родной сестры? Она кричала не от страха за себя, а от безумия боли за сгоревшего сыночка – трехлетнего племянника Арсеньевой.

Как описать им, что она чувствовала, когда муж Феденька сколачивал из темных досок маленький ящичек – для их безымянного

первенца? Он родился недоношенным, пожил несколько часов да помер. Бабка, мужнина мать, едва успела его окунуть – крестить по-домашнему. Нарекла его Ванечкой. А потом муж отнес ящик в поле и – зарыл. И не сказал даже, где оставил Ванечку, в каком именно месте, а она, дура, так до самой мужниной смерти и не спрашивала о том. Боялась разбередить себе сердце.

– Ты вот как ешь, крошки со скатерти смахивай себе в ладошку да в рот, да в рот. Это им всем, безымяненьким которые, – помин. С молитвой – и в рот, – учила ее свекровка, когда Катерина жаловалась, что Ванечка во сне ее замучил.

– Как примучил-то?

– Да вот вижу: церква. Белая вся такая, новая, будто как сруб такой свежий, – рассказывала ей Катеринка. – И ходит по церкви батюшка – весь строгий, в черном, как монах. И с собой мальчонку лет пяти за руку таскает. А у мальчонки – вроде как глаз нету.

– Это как так? – спрашивает бабка.

– Ну вроде как бельма одни. Белки – ни зрачков, ничего. И вот водит его кругами по церкви, а потом – раз, ко мне. Глядит на меня строго-строго и говорит мальчонке: «Иван Безымянный, сляпой! Вот она!» – и пальцем указывает мне в лицо. А у мальчонки-те глаза ка-ак откроются!

– Го-осподи! – крестится свекровка. – Страсти-то какие! Это вот мы его окрестить-то в церкви не успели, чаво там – я окунула разок да Иваном нарекла... Это и не считается вроде как. Вот он у тебя безымянный, значит. И поминать его надо как безымянного: вот я тебя учила уж – крошки соберешь со скатерти и...

– Баб Кать! – слышится робкий Лешкин голос, доходящий до Арсеньевой будто из-за плотной занавески. – Я вот еще хотел спросить...

– Ох! Задумалась чё-то я, ребятёшки. Что-то вспомнилось мне... Так про что это я? Ага – кельи, значит. Ты знаешь, Леш, какую чуду я еще видала-те? Оё-ёй! Щас всё вам раскалякую!

И Арсеньева охотно рассказывает фольклористам о своем горе-ухажере Витьке и о том, как она в келье спела ему частушку, и как он ее вытянул вдоль хребтины ремнем, и, конечно, про русалку, которую она видала на княжухинском пруду.

Но думает она совсем-совсем о другом: всё встает перед глазами тот ящичек из темных досок. На дно его только и успели что ки-

нуть какую-то дерюжку – ни подушечки, ни крестика не положили. И лег туда ее безымянный Ванечка, успевший подышать на вольном свете всего-то часочка полтора...

\*\*\*

– Ты не заметил одной... странности? – спросил Будов Лешку на обратном пути в школу.

– Какой? – Стариков шел, помахивая штативом, одетым в чехол, и на лбу его буквально фосфорицировала надпись: «Счастье фольклориста!».

– Да вот как встали мы из-за стола-то, начали собираться, а баба Катя – раз! И все крошки после нас со скатерти смахнула – и себе в рот.

– Точно! – подтвердила Щеголева. – Я тоже краем глаза видела: она, по-моему, еще прошептала несколько слов – молитву, что ли?

– Нет, я не заметил. Но тут ничего странного: привычка, наверное. Голодало их поколение сильно. Может, и поверье какое... – пожал плечами Лешка.

– Ага... – задумчиво согласился Петька и уставился куда-то за горизонт; краснота в его глазах почти исчезла, остались лишь мелкие розоватые прожилки в уголках. – Возможно, и поверье...

Он помолчал, а потом резко остановился посередине улицы и повернулся в сторону баб Катиной избы. Жердина от колодца-журавля все еще маячила за заборами и огородами.

– Я, Лешка, еще разок к Арсеньевой схожу. Завтра с утра.

– Это зачем? – удивился Стариков.

– Мне надо... Мы с ней на поле сходим, ей одно место показать нужно. Очень нужно, – Петька всё стоял и смотрел куда-то за село. – Я без этого просто уехать не смогу.

– Ну, ладно! – Лешка встревожился, но виду не подал («Опять Будов штучки свои начинает выкидывать!»). – Надо так надо. Сходим еще раз. У нас два полноценных дня в запасе осталось.

– Не-е, – бывший дембель решительно замотал головой. – Я один должен. К ней. Вместе нельзя!

Щеголева смотрела на Будова большими глазами и медленно оправляла складки белого платица.

– Петь, с тобой всё окей? – спросила она дрогнувшим голосом. – Ты какой-то... Озноб у меня по всему телу из-за тебя.

– Не-не! – Будов улыбнулся только правой стороной губ, и Оле стало еще страшнее. – Всё хоккей. Это я просто... Да фиг с ним, идемте в школу! Там, наверно, Сланцев с Ташкой такой обед сварганили – ум отъешь!

Всю оставшуюся дорогу они шли молча. Радость Лешки сдуло, как пену с переполненной кружки пива.

«Одного его к бабе Кате отпускать нельзя! Вот чувствую, что нельзя – и всё тут», – думал фольклорист, глядя на парочку, понуро бредущую к школе. Они теперь не держались за руки, Будов не шутил и не скакал, как конь, но все равно между ними ощущалась ниточка устойчивой связи.

«И ее надо с собой в поле захватить, – решил Стариков. – Она – поможет. Есть в ней какое-то... белое. Белого нам сейчас ой как не хватает...».

## Глава 19. Ванечка

С самого детства роль детектива удавалась Лешке не слишком хорошо: если играли в прятки, то его находили одним из первых. Когда же искал он, то некоторые успевали уснуть в кустах или за подвальной дверью, пока он обнаруживал спрятавшихся.

С Щеголевой они договорились еще с вечера: Будов без их пригляда точно не останется. На этот раз Оленька оделась по-походному – в джинсы и футболку. Стариков не изменил своему внешнему однообразию, так как об одежде всегда вспоминал в последнюю очередь.

– Главное, чтобы он сразу нас не заметил! – шептал он Щеголевой, когда они после завтрака следили за Петькой со второго этажа через окно в столовой. – А то спугнем. И вот в поле надо их не упустить: зайдут за какую-нибудь рощицу и поминай как звали!

Начинающие сыщики дали Будову фору минут десять, а затем рванули к дому Арсеньевой. Лешка решил не изменять себе и полевой фольклористике: видеокамера работала чуть ли не с самого выхода из школы.

Они следили за избой бабы Кати минут двадцать, и Стариков стал уже беспокоиться: может, Арсеньева повела Петьку тайны-



ми тропами через огороды? Он решил двинуться к дому, но тут на крыльце появилась хозяйка. В черной бесформенной фигуре, которая едва переставляла больные ноги, с большим трудом можно было узнать вчерашнюю ртуть-бабушку. Затем показался Будов, у которого в руках торчала лопата, а на плечах висели какие-то металлические штуковины.

– Не пойму, что у него такое? Решетки, что ли? На спинки металлической кровати похоже, – бормотал Лешка, рассматривая бывшего дембеля через максимально приближенное изображение на экране видеокамеры.

Объекты детективной слежки поговорили о чем-то, затем Петька помог бабушке запереть дверь избы на навесной замок.

– Господи, что с ней? – спросила Щеголева, также смотревшая на экран. – Она же прям ковыляет, а не идет! А вчера частушки пела и плясать учила... Что же Будов такое сказал-то ей? Смотрите, Алексей Михайлович: на ней всё черное – и платок, и платье.

Стариков не отвечал и старался плавнее перемещать дрожащий объектив вслед за фигурками идущих. Когда Арсеньева и ее провожатый вышли на Мертвую улицу, соглядатаи побежали следом. Видеонаблюдение продолжилось в зарослях лопуха и колючек на углу Мертвой. После того как Будов с бабушкой свернули на тропинку, ведущую в поле, фольклористы-детективы, почти не скрываясь, поспешили за ними.

Баба Катя действительно едва переставляла ноги – словно не она вчера дробила по деревянному полу своей избы и перекатывалась колобочком вокруг колодца-журавля. Какая-то невидимая тяга прибила ее к самой земле, и Лешка боялся, что Арсеньева вот-вот остановится и упадет на колени. Будов наоборот – шел, по-солдатски выпрямив спину и глядя прямо перед собой, будто цель, ведомая только ему, уже виднелась за следующим поворотом.

– Давайте их догонем! – предложила Оля. – Не хочу больше прятаться – вдруг им помощь нужна, а мы тут прячемся, как... не знаю кто? А?

– Давай! – согласился Стариков, и они ускорили шаг. Петька, услышав, как они здороваются с бабой Катей, лишь слегка кивнул им головой и, не останавливаясь, потопал дальше. Щеголева подхватила Арсеньеву под руку, и та благодарно приняла помощь.

– Дай хоть лопату понесу? – попросил Лешка.

– У тебя камера – вот и снимай. Это твое дело. А мое дело – там! – и Петька кивнул вперед. Минут пять они шли молча.

– Далеко еще, сынонька? – спросила задыхнувшаяся Арсеньева. – Совсем что-то ножки отказывают...

– Нет! – уверенно ответил Будов. – Придем скоро. Тут левее немного, вон к той роще поближе.

Стариков и Оля, не сговариваясь, обернулись к бабе Кате.

– Верно, всё верно, – закивала старушка. – Туды он и отнес, я только в точности не знала, место какое.

– А кто отнес? И что? – тихо спросил Лешка. Баба Катя лишь махнула рукой в его сторону и, сжав губы, поковыляла за Будовым.

Метров через двести Петька, шедший впереди, остановился, огляделся по сторонам, выставив подбородок, – так, точно принимался к чему-то. После прошел еще несколько шагов и воткнул в землю лопату.

– Здесь, – сказал он и стал снимать с плеч спинки от детской металлической кровати. Баба Кати резко встала, потихоньку выудила свою руку из ладони Щеголевой; ее губы задрожали.

– Ванечка! – зашептала она и быстро-быстро стала креститься. – Неужто я нашла тебя, родненький мой? Сколько лет, Господи, сколько лет!

Быстрота движений вмиг вернулась к ней, Стариков не успел опомниться, как та оказалась рядом с Будовым.

– Где? – шептала она. – Где он лежит?

Петька опустил на корточки и положил руку на мягкую, теплую землю. Это место ничем не отличалось от остального поля, заросшего где бурьяном, где мелкими деревьями и кустами. О том, что произошло здесь около пятидесяти лет назад, знали только умерший Арсеньев, его жена и Будов, розоватыми глазами смотревший в подземную глубину.

Баба Катя опустилась на колени, а потом, не стесняясь и совсем, видимо, забыв о своих провожатых, тихонько завывала, запричитала, заплакала.

– Ты прости меня, мой Ванечка! Родила я тебя, безымённого, неко времени. Окрестить мы тебя, бедненького, не успели. Уж сколько раз ты присневался мне, сколь раз жаловался на судьбинушку свою: не принимают, мол, тебя там нигде родимого! А я-то, дура непутевая, мне и ума-то нет спросить, где тебя положили! Я бы ходила сюда да вспоминала тебя чаще...



Голос ее стал глуше, она перешла на шепот и бормотание. Оля принялась шмыгать носом и вытирать глаза. Лешка отставил камеру в сторону и, подойдя к Петьке, взялся за одну из металлических спинок.

– погоди! Давай сначала границы обозначим, – не обращая внимания на причитавшую Арсеньеву, Будов взял лопату и точными движениями очертил прямоугольник на земле. После наклонился и стал руками обрывать внутри получившейся фигуры траву, убирать мусор. Лешка, наклонившись, начал помогать. Щеголева отошла в сторону и скрылась где-то за деревьями в ближайшей роще.

Петька встал на ноги и посмотрел на кроватные спинки.

– На первое время сгодятся, а там и нормальную оградку можно поставить, – сказал он, обращаясь к бабе Кате. Та перестала причитать и лишь всхлипывала иногда.

– Нет-нет! – торопливо ответила она. – Это кроватка детская, давнишняя. Еще дочка на ней спала. Ее и надо, лучше оградки и не придумашь. Чтоб как кроватка у него была, понимаете? Я-то его не накачалась, не нанячилась с ним.

Арсеньева снова перешла на причет. Стариков ни о чем не пытался спрашивать – в общих чертах и так всё ясно. Ему не понятно было только одно: откуда Будов всё узнал? Когда и как он обо всем догадался?

Они вместе с Петькой вкопали спинки кровати в те стороны прямоугольника, которые были покороче.

– Тут бы еще что-то металлическое надо... – почесал лоб Петька. – Чтобы оградку завершить.

Баба Катя кивнула и вытерла глаза тылом ладони. Подошла Ольга. В руках она держала небольшой букетик голубых полевых цветов. Девушка положила его у одной из кроватных спинок.

– Помянуть ведь надо! – спохватилась Арсеньева, которая постепенно приходила в себя после слез и причитания. – А я ведь из еды-то ничего не взяла, дурында старая!

– Ничего, баб Катя, – сказала Щеголева. – Мы еще помянем сегодня. И вы тоже сможете...

– Каждый день ходить буду! – согласилась старушка. – Ноги изотру, а прощения у Ванечки вымолю. И землицы сюда отпетой привезу – у чеботаевского батюшки позволения спрошу. Он разрешит.

Они помолчали. Ветер чуть шевелил синие лепестки принесенных Олей цветов. Странная детская кроватка – с землей вместо

матраса – незаметно чернела среди полевых проплешин и желто-коричневого бурьяна. Лешке показалось, что она стояла здесь всегда.

– Пятьдесят один год Ванечке исполнилось бы. Он у меня июньский, двадцатого рóжденный. Мы с Федей еще сына хотели, да вот не вышло. Только дочкой богаты, и то – слава Богу.

– Слава Богу! – эхом отозвался Лешка. Он подумал о своей шестилетней дочери Свете, и ему до смерти захотелось увидеть ее и обнять.

– Пойдемте, а? – робко предложила Оля. – Устали вы, баб Кать...

– Устала, – согласилась старушка. – Но я вас без обеда не отпущу. Ко мне идемте. Такое дело для меня сотворили – ввек мне с вами не расплатиться! Ввек не расплатиться...

\*\*\*

– Ну вот, кушайте, чем богата... И ты, дочка, садись! – говорила баба Катя. Щеголева помогала ей накрывать на стол, Будов резал хлеб, Лешка устанавливал видеокамеру и проверял диктофон.

Стариков наблюдал краем глаза за Арсеньевой и всё никак не мог привыкнуть к разительной перемене, произошедшей за какие-то сутки. Вчера с ними разговаривал совсем другой человек – даже светло-синий цвет ее глаз приобрел серые и туманные оттенки.

«И я, наверное, становлюсь немного другим, когда снова встречаюсь с теми же информантами. И ситуация, и настроение, и их тексты – всё другое. Всё то же самое и в то же время – иное. Удивительно!» – думал фольклорист во время поминального обеда.

– Я ведь давеча вам не рассказала, – призналась хозяйка избы. – *Они* ведь ко мне частенько приходят. Вот на днях: я стирала, потом на горóде чаво-то возилась и пришла – бухнулась и отрубилась. И вот стучится кто-то, громко так. Я вскочила спросонья, не разберу, где и как. Кричу: «Да входите, открыто!». А там – молчок. Я встала, постель прибираю, и снова: бум-бум! К двери подскочила, а там – они.

– Кто они? – спрашивает Лешка.

– Так Федька мой да вот Ванечка. Муж-то молодой – лет сорок ему на вид, еще волосá все черные, а Ванечке – годиков пять, верно. Но я его сразу признала.

– Это как сон, баб Кать? – чуть улыбается Щеголева, но после ответа рассказчицы Оля становится серьезнее серьезного.

– Какой же сон, дочка? Не-е, всё наяву. Вот вижу их, как вас сейчас. Муж ругается: «Что же не пускаешь-то нас? Стучимся-стучимся!» – «Как, – говорю, – не пускаю? Открыто всё!» – «Нет, закрыто!». А я уж потом допетрила: я ж зааминиваю всё на ночь-те, крещу и окна, и двери, и трубу печную. Вот они, покойники-то, и зайти не смеют. Ну что? Гляжу: Ванечка-то весь оборванный, мокренький, дрожит весь. «Что же ты за ребенком-то не следишь? – укоряю вроде его как. – Оборванный он у тебя какой!» – «Так мы в разных с ним местах, – вроде отвечает мне. – Он в другом месте». Ну и всё: пошли они от меня. Туда – по Мертвой улице. «Вы, – кричу, – еще ко мне приходите!». – «Нет, – отвечают. – Давай лучше ты к нам!». Вот. А я киваю, киваю им. Видно, скоро и я к ним пойду – уж отжила свое-то.

– Ну что вы такое говорите, баб Катя! – возражает с жаром Оленька. – Вы еще долго будете жить! Мы еще к вам в гости приедем – на следующее лето. А вы нас ждать будете!

– Ох ты, моя красавица! – разулыбалась Арсеньева. – Ну, ежели в гости приедете, – то поживу еще маленько. Подожду вас...

После обеда Будов с Лешкой покопались в сарае и нашли несколько металлических прутьев и куски проволоки.

– Мы прямо сейчас сходим – доделаем оградку. Пусть как времянка смотреться будет, но хоть не растащат, – предлагает Петька.

– А крестик я уж сама потом сотворю, ребятёшки. В городе закажу. И ходить часто туда буду, на могилку: молиться за Ванечку, – обещает старушка.

Через полчаса они втроем снова стояли возле могилки Безымянного. Когда всё сделали, Будов предложил немного отдохнуть в березовой роще. Парни улеглись на мягкую траву, Оленька присела на пенек неподалеку.

– Ты скажи, Петька, как ты узнал про всё это? – задал Лешка давно вертевшийся на языке вопрос.

– Не знаю... – Будову явно не хотелось откровенничать. – Сам спрашиваю себя и – не могу сказать.

– Ну ты что: видел, что ли, саму могилу? Может, там и нет ничего – под койкой-то...

– Нет ничего? – Петька резко оторвал голову от травы и повернулся к лежавшему Старикову. – Тебе что – ящик этот сгнивший раскопать и кости показать?

– Да ладно брось, Петьк, это я так – интересно же...

– Интересно ему... Да заразился я, понимаешь ты, ученая башка? Дрянью какой-то от твоей Рядовой заразился!

– Почему от «моей»? – Стариков тоже привстал. – Вообще, такой дар – ну, там знахарство, колдовство – он просто так не дается. Им не заражаются. Ему обучают или передают – после смерти. Так говорят. В традиционной культуре.

– Говорят! В традиционной культуре! – передразнил Будов. – Строишь из себя знатока, – я ж тебе говорю: вижу я, не хочу, а вижу! Ты меня, черт, к ней потащил...

– Я? – Лешка поднялся на ноги и стал прохаживаться из стороны в сторону. – Петька, хватит уже выпендриваться – твои артистические штучки у меня уже во́ где! Достало. Ты переигрываешь просто – вот и всё. Путаешь объект и субъект. Исследователь не должен так вращаться в это во всё, понимаешь? Иначе это уже не наука и не экспедиция, а какая-то... ролевая игра, блин! Пионерский лагерь...

– Как-как? – бледный Будов тоже поднялся и встал на пути Старикова. – Лагерь? Так ты считаешь, что я вру, что ли?

– Ну, не врешь... Может быть, ты сам во всё это веришь, убедил себя – и других пытаешься в эту игру втянуть. Я же говорю: путаешь субъект и объект...

– Сам ты субъект и объект, мать твою! – заорал вдруг Петька. – Пофиг на твою науку и на твои объекты! Ты слепой совсем, что ли? Я сам, сам видел этот гробик и Ванечку, Ванечку – сам понимаешь!

Лицо Будова неожиданно перекопилось, и он, сжав кулаки, двинулся на Старикова. Ольга взвизгнула и кинулась к ним.

– Петя, Петя, а ну, перестань! – она уцепилась ему за плечи и, надавив на него как-то сверху, заставила остановиться. – Вы чего, мальчишки, дураки совсем, что ли?

– А чего он, гад... – Будов вдруг согнул шею и вздрогнул всем телом. – Не хочу я этого всего, Оля! Не хочу! Не хочу!

Он, как маленький, спрятал свое лицо у Щеголевой на груди. Та стала его гладить по голове и бормотать какие-то глупости – те самые, которые говорят разодравшему себе коленки в кровь младшему брату. Стариков потрясенно стоял перед ними; в голове было пусто и тоскливо, как в вымытом больничном коридоре.

– Прости, Петь... – выдавил наконец молодой препод, когда все снова уселись на траву. – Я, наверно, сам себя хочу убедить в

том, что всё это – выдумка. Ведь и сон был, и... они. Ведь мы их вместе видели, так?

Будов мрачно кивнул.

– Кого видели? – спросила Щеголева с тревогой.

– Да этих, мы с тобой, Оль, говорили про них – в желтых накидках, помнишь? – и Стариков в двух словах рассказал о пустыне и серых ангарах – последнем аккорде их с Петькой личного посвящения.

– Вот, знаешь, что, Леш, – сказал после паузы успокоившийся Будов и совсем по-шаховски подпер рукой подбородок. – Ты меня извини... Ты, конечно, ученый – и я правда, думаю, что ты во всем этом, в фольклористике своей, разбираешься. Но вот про субъекты и объекты – вот как ты мне сказал «путаешь там» и про остальное. А почему ты думаешь, что их вообще можно как-то разделить? Где вот эти границы? Я лично их нащупать не могу. А если ты начнешь уверять, что сможешь это сделать, то я тебе... просто не поверю!

Стариков с удивлением смотрел на друга и улыбался. Он мог ожидать таких рассуждений от кого угодно, но только не от бывшего дембеля.

– Ладно, Петь, я тут даже спорить не стану – сложно больно. Одно скажу: мне думается, что нужно просто потерпеть до конца экспедиции. Благо остался один день – и ту-ту. А в городе всё пройдет и забудется. Правда, Оль?

Щеголева слегка сузила глаза и улыбнулась:

– Я надеюсь, что не всё, Алексей Михайлович! Очень будет жалко забыть такое.

Лешка пожал плечами и, встав, стал тщательно отряхивать прилипшие травинки с потертых джинсов.

## Глава 20. Прощание с Озерной

Рыжий зашел в мальчишеский класс, с тоскою оглядел свернутые спальники, собранные сумки и рюкзаки. Сланцев, лениво подметавший пол остатками веника, поднял на него глаза и, зевнув, спросил:

– Ты чего какой кислый, Юрка?

– Я? А тебе что – весело, что ли? Уезжаем ведь, уезжаем!



– Ну да! – согласился поэт и снова зевнул. – У любого хорошего дела есть *finis*, как говорили древние лат...

– Да подожди ты со своими латинянами, Мишка! Ну неужели ты не понимаешь, что всё, всё? Всё закончилось? – Котерев смотрел на него так серьезно и говорил так трагически – будто герой античного мифа, – что Сланцев забеспокоился.

– Ну-ну, брось! Это всего лишь очередная экспедиция. В следующем году еще поедем.

– Очередная экспедиция?! – рыжий задохнулся от возмущения. – Никогда, слышишь, никогда это всё, – он широко распахнул длинные руки, – больше не повторится! Даже если мы сюда еще раз приедем – всё будет совсем другое.

Мишка продолжал шелестеть веником и ничего не отвечал ему. Юрка тяжело вздохнул и присел на школьный стул.

– Ми-иш! – жалобно позвал он поэта.

– Ну?

– Миш, скажи: вот ты замечал, кто сторожит дверь нашего класса?

– Сторожит? – Сланцев на секунду прервал свое бесполезное занятие (пыль стояла столбом, а чище не становилось). – Что-то не понял – ты про что?

– Вот! – с торжеством закричал Котерев. – Ты жил, ночевал, бытовал здесь две недели и не удосужился даже его заметить! И уедешь отсюда и никогда о нем не вспомнишь... «Очередная». Тьфу!

– Ты про питона с мамиными глазами? – спросил Стариков, стоявший на пороге полуоткрытой двери.

– Господи! – рыжий хлопнул себя по лбу. – Молодец, Михалыч! А я-то думаю: ну как, как назвать его глаза? Ма-ми-ны. Как точно и как хорошо! Филолог, мать твою за душу! Ничего не попишешь.

– А-а, – лениво протянул Мишка. – Вон ты про кого. Ну да...

– Лешка, ну скажи ему? – пожаловался Старикову Юрка. – Почему он такой равнодушный? Мы уезжаем, мы покидаем нашу Астрадамовку – здесь остаются мои сердце, душа, тело – а он...

– Он тоже переживает, – заступился за поэта молодой препод, всё так же стоя на пороге. – Просто Сланцев привык не расходовать себя понапрасну: он потерял уже счет экспедициям, представляешь, что бы с ним стало, если бы он каждый раз впадал в трагедию?

– А я впаду! Буду впадать. Буду! – Котерев закрыл лицо руками. Мишка прислонил веник к углу шкафа, где располагались географические карты и пластилиновые поделки детей, и подошел к рыжему.

– Дай пять, Юрка!

– Чего? – Котерев растопырил пальцы, оттуда показался его искрящийся кошачий глаз. – Зачем?

– Дай, говорю, пять. Вот так! – поэт потряс ему руку. – Вот теперь, Юрка, ты настоящий фольклорист. Даже посвящение делает людей фольклористами только наполовину. А вот когда ты впервые переживёшь чувство сожаления, чувство глубокой тоски и мировой скорби, видя неизбежность *finis*'а экспедиции – вот тогда плод созрел. Поздравляю тебя!

– Да на черта мне твои поздравления! – рыжий скатился со стула и заметался по классу. – Мне всё хочется это потрогать, всё хочется понюхать – книжки, карты, пластилиновых зверюшек, чтобы ничего не забыть, ничего!

– А может, ты по крале своей так переживаешь? Так она в город тоже скоро подастся – не бойсь! – Сланцев подмигнул ему.

– Дурак! – прорычал Юрка и побежал к двери класса. – Наплевать мне на всех краль вместе взятых. Равнодушные вы оба! Равнодушные!

Когда крики Котерева затихли в коридоре, Мишка, улыбаясь, взглянул на друга.

– Ну, каково? Зря мы его взяли, как считаешь?

Стариков неопределенно сжал губы и сел на тот стул, где несколько минут назад сидел рыжий.

– Нет, конечно. Я даже не представляю: как мы раньше без него ездили...

– Вот и я тоже! – обрадовался его словам поэт. – Только ты хмурый какой-то... Тоже из-за финала переживаешь?

– Нет. Будов меня напрягает.

– Ничего, – попытался успокоить его поэт. – Приедет в город – там всё на круги своя вернется.

– Вот только на это я и надеюсь! – юный препода смотрел на утреннюю Астрадамовку сквозь мутное окно. – Вы, кстати, распределились по машинам?

– Да. Тонков увозит весь «Городец» на своем «Патриоте». Они уж почти собрались. Юрка берет с собой Дожжину, Водлакову, Щеголеву и рюкзаки. Ну а оставшиеся с Шаховым на автобусе почалят.

– А Будов?

– Не знаю. В принципе, Котерев и Петьку может с собой зацепить – если сумки поплотнее утрамбовать.

– Пойду скажу ему. Пусть он на Юркиной «семерке» катит.

– Что так?

– Чем раньше он уедет отсюда – тем лучше. Предчувствие у меня такое.

– А-а! – Мишка уважительно поднял брови. – Тогда иди действуй-злодействуй. Хотя и тебе пора с этими предчувствиями завязывать. В городе не до них будет: работа, знаешь ли, повседневность и суета.

– Да. Точно. Но синхронии меня и там не оставят в покое...

Стариков пошел искать бывшего дембеля. Тот предсказуемо курил на знаменитой лавке возле школьного забора.

– Жаль уезжать? – Лешка пристроился с ним рядом.

– Не знаю. Сложно сказать. Я так устал, что даже печалиться нет сил.

– И не надо! – поспешно закивал Стариков. – А у меня к тебе предложение.

– Да?

– Езжай с Котеревым.

– А ты?

– Я с Шаховым, Мишкой и Белоруковой на автобусе – тот через полтора часа приедет.

– Надо так?

Стариков прикрыл глаза в знак того, что Петька угадал.

– Хорошо. Но у меня есть одно условие.

Лешка внутренне напрягся, но виду не показал:

– Глаголь. Какое условие?

– Давай напоследок по Озерной пройдемся? В избы заходить не будем – так, с улицей, с Астрадамовкой попрощаемся. А?

Лешка поморщился, но про себя признал, что идея хороша.

– Я думаю, надо Мишку и Котерева с собой позвать – они тоже захотят, наверное.

Будов согласился и затушил сигарету о край консервной банки, исправно служившей ему пепельницей все две недели.

\*\*\*

– К Юрке его пассия пришла, Чирикова которая, – так что он не пойдет! – объявил Сланцев, выходя к ожидавшим его друзьям.

– Зато кое-кто другой изъявил желание сделать последнее турне по Астрадамовке.

– Кто? – спросил Стариков. Но поэт мог и не отвечать: за его плечами проявилась седая борода Шахова.

– Пройдусь с вами, парни. Чего-то тоскливо мне сидеть в школе, ждать директора: она классы-кабинеты посмотрит, а то, кто знает, мы, может, за две недели тут набедокурили. Возьмете с собой – в ваше тесное трио?

– Чувствуйте себя как дома! – пошутил поэт. – Озерную хотим окинуть прощальным взглядом.

– Мне она тоже приглянулась, – говорил ИП, бодро стартовав от крыльца к школьным воротам. – Такое ощущение, что там сосредоточились все наши лучшие информанты – за все поездки и все годы.

– Котерев вон уверяет, что такая экспедиция больше уже не повторится, – отозвался Сланцев, чтоб поддержать разговор.

– Тут две грани: каждая поездка и впрямь уникальна. Но на определенном уровне ты словно проходишь одну и ту же дорогу, играешь одну и ту же роль...

– Партию, – подсказывает Стариков.

– Партию, – подтверждает Шахов. – Фигуры как будто одни и те же, и комбинации похожи, а в итоге, в целом – складывается уникальная картина.

– Посмотрите, – шепчет Будов. – Астрадамовка вся как на ладони.

Фольклористы остановились на самом высоком месте Озерной – естественном возвышении, с которого было видно полсела; даже часть пруда синела через асфальтовую дорогу.

– Звездное название у села. *Astrum* – звезда по-латински, – размышляет вслух Сланцев.

– Звезды тут замечательные, – Стариков вспоминает «Оду Хабблу» и огненный шар, поднявшийся со стороны сельского кладбища. – В городе таких не увидишь.

– Смотрите, сколько заброшенных домов! – указывает рукой ИП. – И так – почти в каждом селе. Вымирает потихоньку сельская культура. Жалко, конечно.

– В городе тоже есть что изучать... – напоминает Стариков.

– Выше крыши, – кивает экспедиционный командир. – В городе много чего интересного, но это, – Иван Петрович глазами обво-

дит лежавшую перед ними Астрадамовку, – этого уже не вернуть. Это действительно никогда уже не повторится.

– Тут раньше кладбище было! – вдруг объявляет Петька и кочится куда-то направо. – Да и тут, слева, полно... мертвых.

– Тебе местные рассказали? – интересуется Шахчик. – Да, вполне возможно. Кладбища появляются и исчезают, на их месте строятся дома, а потом там, где стояли избы, снова роют могилы. Круговорот жизни и смерти в природе.

– А я вот в старости, на пенсии, хочу в село переехать – куда-нибудь в глушь, на лоно природы! – Лешка решает увести разговор подальше от опасной темы покойников и кладбищ.

– И я с тобой! – поддерживает его Сланцев. – Поселимся в соседях. Я буду самогон гнать, а ты заезжим фольклористам про нечисть сказывать.

– Ну а я тогда – местным дружкой заделаюсь! – улыбается Шахов. – Свадьбы по всем канонам проводить буду – и с рукобительем, и с выкупом, и с продажей постели, и с поисками ярки... А ты, Петь, чем займешься?

– Я людям предсказывать стану. Просьбы от мертвых передавать, – серьезный голос Будова так контрастирует с интонацией остальных, что Лешка закусывает с досады верхнюю губу.

– Тоже дело! – одобряет ИП. – Тут, кстати, неподалеку – в Большом Кувае жил один предсказатель – со всей округи к нему ездили. Ерошкиным звали. Записывал о нем, Леш?

– Ага... – Стариков не знает, как повернуть беседу в русло понейтральной. – Кое-что о нем нам рассказывали... Ух ты, Петь, это не наша ли баба Катя к нам навстречу катится?

Будов приставляет ладонь козырьком ко лбу:

– Она, родимая. Прощаться ковыляет.

– Ты про нее говорил мне, Леш? – любопытствует Шахчик.

– Про нее. Это мой экспедиционный ферзь. Лучшая из лучших!

На Арсеньевой – прежний цветастый халат, но на голове – черный, траурный платок. В руках она несет желтый пакетик.

– Собрались уж? – улыбается бабушка, и Стариков незаметно вздрагивает от отдаленных колебаний пространства по бокам. – А я вам пирожечков в дорожку напекла. Чать, по дороге есть захочете – вот и вспомните. И меня старую помяните добрым словом, и... Ванечку маво.

– Обязательно, баб Катя! – Будов берет из ее рук желтый пакет. – Мы вот пришли, чтоб с Озерной и с Астрадамовкой попрощаться...

– А вы не прощайтесь! – торопливо перебивает его Лешкин ферзь. – Вы так – досвиданькайтесь. Чтобы назад вернуться. Ведь вон Оленька обещала, что вы в следующем году навестите бабу Катю. А я ждать вас буду!

– Приедем, конечно, приедем! – горячо говорит Стариков и обнимает старушку. У него это выходит так естественно и так хорошо, что все улыбаются.

– Вот и славно, вот и хорошо. Я бабе Поле от вас привет передам. Она вчера приходила вечером: «Ты, говорит, ребятёшкам, скажи, чтоб Полину Павловну не забывали! И Юрке скажи, и Лешке». Я вот вам говорю.

– Простите, – интересуется ИП, у которого не вовремя просыпается исследовательский зуд. – Тут вот, говорят, раньше кладбище старое располагалось?

– Где? За пригорком-те? Да нет вроде: отродясь дома там стояли. А кто говорит-то?

Шахов поворачивается к Петьке с немим вопросом в глазах.

– А-а... – задумчиво тянет бабушка и понимающе щурится в сторону Будова. – Может, и были там кладбища. Давным-давно – щас уж и не вспомнит никто. Мои родители – и то бы не сказали. Но раз говорят – значит, точно всё так и было.

Она замолкает, и взгляд ее медленно скользит по селу – поворотам улиц и пригоркам, колонкам и покосившимся заборам, крышам изб и следам от колес автомобилей. Лешка изо всех сил сопротивляется, но не может удержаться и на несколько секунд соскальзывает на другой уровень – иной ракурс восприятия...

Астрадамовка вглядывалась в них серыми окнами домов, измученными от грудной боли глазами тети Марины Рядовой (там, в глубине избы, за темно-желтой занавеской); на них отовсюду смотрели очки-аквариумы Шута-Карасева; откуда-то издали доносился игриво-озорной смех Зои, одолжившей мясорубку для картофельного бунта; гремела одинокая колонка сельского клуба; шелестели тополя Арсеньевской избы, и им вторили лепестки синих полевых цветов, оставленных на могиле-кровати.

– Пора! – сказал Шахов, озабоченно глядя на часы. – Тонков с Котеревым, наверное, заждались. Проводим их, а там и наш автобус приедет.

– Сегодня он к одиннадцати подходит! – баба Катя засуетилась, схватила руками концы своего головного платка, отпустила их, и неожиданно лицо ее сморщилось от слез. – Опять уезжают, опять одну оставляют! Ох-х... Судьбинушка моя такая: встречать да провожать!

– Баба Катя! – отчеканил Будов по-солдатски. – Не плакать! Всё путём будет. Ждите нас в следующий сезон. Машины есть – значит, доедем...

Арсеньева долго стояла на пригорке. Стариков уговаривал себя больше не поворачиваться к ней, но не мог удержаться, вертел головой, а баба Катя всё крестила их – благословляла на дорожку. («Как же: в город едут! А город – он такой. Бог весть, что там их ждет-поджидает...»).

\*\*\*

Стариков чувствовал, что просто так их не отпустят: что-то должно произойти, где-то назрело – и должно прорваться. Однако, к его удивлению, и «УАЗик» Тонкова, и «семерка» Юрки вполне благополучно укатили, оставив пыльный след на школьном дворе. Вчетвером они собрали оставшиеся сумки, – при этом экспедиционный завхоз, конечно, не упустила случая поруководить. Но без рыжего Белоруковой не с кем было пререкаться, и она вскоре умерила тоталитарный пыл. Оставшиеся фольклористы потихоньку добрались до выезда из села и встали в ожидании одиннадцатичасового.

Первым ее заметил Сланцев:

– По-моему, кто-то к нам идет. Даже бежит.

– Где? – Стариков начал напрягать глаза, но бегущий человек находился слишком далеко. Затем из-за поворота показался автобус. Он легко обогнал бегущую по обочине фигурку.

– Так, парни-девушки, сумок не оставляем, готовимся к погрузке! – скомандовал бывший сержант ИП.

Автобус остановился и с характерным шипом раздвинул двери. Мишка полез в салон первым, чтобы принять рюкзаки. Затем загрузились Белорукова и Шахов. Стариков никак не мог оторвать взгляда от приближающегося человека.

– Ну что: едем? – спрашивает усатый шофер.

– Подождите! – просит Леша. – Там еще кто-то... бежит.

Автобусное сердце урчит вхолостую, а Лешкино – ускоряет бег.

– Рядова! – бормочет он. – Это она. Подождите, я сейчас!

Стариков поворачивается и бегом устремляется навстречу ключевой шахматной фигуре – в Будовском варианте партии.

– Здесь... Я не хотела... Но потом... – задыхаясь и хватаясь за грудь, шепчет Рядова. Ее качает из стороны в сторону, и Лешка хватается за руку, чтобы успокоить штормящую реальность.

– Леша, – продолжает Рядова. – Вы не обижайтесь на меня. Ради Бога, не обижайтесь! Вот. Письмо. Это для друга твоего. Передай ему. Обещаешь?

Лешка стоит с каменным лицом и побелевшими губами.

– Что там? – спрашивает он, с трудом ворочая языком.

– Там – письмо. Для Пети. Обещай, что передашь? – тетя Марина стоит перед ним – растрепанная, усталая, больная, – с каким-то диким взглядом почерневших глаз. Опять Старикову приходит на ум Суриковская боярыня Морозова.

– Обещай, Леша! Милый, Валенька, родной мой, обещай! – она тянется к нему, целует его в лоб, гладит по волосам. – Кивни, ну, кивни, пожалуйста!

И Стариков кивает – через силу, через скрежет зубовой, но кивает. А затем – тянущиеся поля за автобусным окном, перебегающие с обочины на обочину деревья, Никитино, Усть-Урень... И в голове его – как молоточки маленьких кузнецов из волшебной шкадулки – стучит один и тот же вопрос: «Передала? Передала? Передала... Дар свой, проклятье свое перед смертью – передала?».

## Эпилог. Постфольклор

Они склонились голова к голове за шахматным полем, нарисованным на небольшом столике. Эта достопримечательная мебель, как и старинное кресло-качалка, тоже в свое время досталась Сланцеву от пращуров. Поэт порхал из зала на кухню и обратно, строго следя за уровнем самогона в рюмках и расположением шахматных фигур. Партия у Будова и Старикова перешла в затяжной эндшпиль.

– Я вам говорил, что у Котерева и Астрадамовской ведьмы дела пошли на спад? – обмолвился Мишка во время очередного рейса за золотистым «аи».

Лешка вскинул голову:



– Что так?

– Не сошлись характерами. Это мне сам Юрка так объяснил, а уж как там в действительности – ведомо лишь звездам, мерцающим в ночном небе Астрадамовки.

Стариков глубоко задумался, перед глазами замелькали яркие экспедиционные образы, которые еще не успело затуманить время. Петька тут же воспользовался рассеянностью противника и съел последнюю защиту Лешкиного короля – коня со сломанным ухом.

– Ну всё – пропало мое королевство! – очнулся юный препод. – Тут уж сдаваться пора.

– Не! Играй до конца, а то так не интересно! – Будов сосредоточенно смотрел на черно-белое поле. – Ты лучше щенка ей купи...

– Чего? – Стариков недоуменно поправил очки и, оторвав глаза от фигур, уставился на друга. – Какого щенка?

– Да дочке своей – на фиг ей твоя мягкая игрушка? Щенок лучше, – Петька потянулся за рюмкой, в которую поэт плеснул коньяка домашнего приготовления.

– Ты... Да откуда ты знаешь? – фольклорист и думать забыл об игре: он точно помнил, что ни единой живой душе не упоминал о том, что собирается заявиться на семилетие собственного чада.

– Да так... – бывший дембель пожал плечами. – Подумалось.

Нахмуренный Лешка глядел некоторое время в глаза Будову, затем снова склонился над доской. Его хорошее настроение исчезло, как дым. Все друзья отлично знали, что он не терпит даже намеков на свое бывшее семейное положение – и Петька, конечно, был также в курсе... Ход пешкой. Король отступает. Снова пешка – Будову остается всего три хода до победоносного мата.

– Ты помирись с ней, – лицо бывшего дембеля безмятежно, словно ясное летнее небо. – И жить будете. Душа в душу!

– С кем? – голос Старикова опасно задрожал, и поэт, возившийся на кухне с малосольными огурцами, замер, услышав это.

– Да с женой своей. Давно пора!

– Да какое тебе дело! – Лешка приподнялся, кровь отхлынула от его лица, и губы искривились. – Ты вон за Щеголевой своей следи, а в мою жизнь не суйся!

– Я и не суюсь! – Петька откинулся на спинку стула. – Тебе шах.

– Мат! – по привычке отзывается Сланцев из кухни.

– Иди ты на фиг со своими шахматами! – Лешка отодвигает доску, и часть фигур сыплется на пол.

– Ой-ёй! – Мишка входит с тарелкой огурцов. – Вам, мужики, курить, видно, пора. На балкон, все на балкон – остудить разгоряченные сердца! А я вам пока одну вещь сейчас поставлю – через мои колоночки послушать. Там такой звук – закачаешься!

Мрачный Лешка выходит на балкон, за ним с сигаретами и пепельницей топают Будов. Они закрывают дверь, чтобы дым не уходил в зал («Катя придет и не дай Бог учует хоть квант сигаретного запаха!»). Друзья молчат и не смотрят друг на друга.

– Леш?

– Ну? Чего? – юный препод давно уже жалеет о вспышке раздражения, но интонацию воспроизводит самую строгую.

– Ты письмо-то мне когда собирался отдать?

У Старикова непроизвольно разжимаются пальцы, и сигарета сваливается на потертый коврик неопределенного цвета. Петька нагибается за оброненной причиной рака:

– Что упало у студента – то упало на газетку.

– Она звонила тебе?

Бывший дембель отрицательно качает головой.

– Так откуда ты...

– Отдай, пожалуйста, письмо.

– Нет. Ты его не получишь.

Петька изгибает дугой брови и молчит. Лешка снова раскуривает потухшую сигарету, рдеющий огонек чуть дрожит.

– Можно узнать: почему?

– Да потому что ты дурак! – взрывается юный препод, бросает сигарету в пепельницу и принимается ходить из стороны в сторону: благо балконный аэродром Сланцева позволяет такие маневры. – Ты понимаешь, что это за письмо?! Понимаешь, зачем она его передала тебе?

– Оно адресовано мне. И ты – обещал его передать.

Лешка замирает и несколько раз открывает рот, потом снова закрывает.

– Ну что ты, как рыба, воздух ловишь? – Будов закуривает еще одну сигарету. – Давай вместе прочтем – если отдавать не хочешь. Прямо сейчас. А?

Стариков сует руку в задний карман и вытаскивает вдвое сложенный конверт. Тот выглядит потерто: Лешка его таскал с собой почти месяц, ночами думал о нем, воображал, что будет говорить,

когда передаст его адресату, но... Не передавал. Называл себя последней сволочью и – не передавал.

Будов берет конверт и нарочито спокойно начинает вскрывать его.

– Не надо, Петь. Не надо, слышишь! Ну зачем оно тебе сда-лось? Давай его выкинем, а? Прямо сейчас, слышишь? И тебе, и мне легче после этого будет. Забудем – из башки выкинем. Ну?

Но остановить уже ничего нельзя – конверт открыт, тетрадный лист в клеточку развернут.

– Вслух читать? – Петька смотрит на белого, как балконная плитка, Старикова и снова опускает глаза на письмо. – Я всю жизнь ждала вас и искала...

Потоки гудят по бокам, словно высоковольтные линии; застекленный балкон удлиняется до горизонта, и один его конец распахи-вается прямо в комнату, где жестко тикают настенные часы.

– Я всю жизнь ждала вас и искала, мои Валенька и Сережа, – говорит Рядова. Ее седые волосы распущенны, платка на голове нет, лицо – помолодевшее и просветленное. – Какие вы молодцы, что пришли ко мне! Вы меня простите, если чем обидела или напугала вас. У меня никого нет, и я умираю. Скорее всего, когда вы, наконец, решитесь прочитать письмо, я уже перейду туда, куда мне так давно хотелось – еще с самого Чапаевска, с тех предновогодних дней и ночей...

Ее лицо заколебалось, и бесконечное пространство балкона мгновенно укоротилось.

– Ты не бойся, Сереженька, не бойся, хороший мой, – продолжает приглушенный голос Петьки. – Я тебе отдала совсем немнож-ко – всё самое плохое я с собой заберу, обещаю. Валенька, ты, я знаю, тоже прочтешь это. Можно последнюю просьбу? Приедьте ко мне на следующее лето на могилку, хорошо? Карасев вам всё пока-жет, он такой: и после смерти меня в покое не оставит, шут горохо-вый. Один раз навестите – и помяните. О бóльшем не прошу. Дай вам Бог всего самого хорошего, и судьбу совсем другую – не такую, как у меня! *Ваша М.Р.*

Будов поднял на друга покрасневшие глаза и сглотнул ком в горле. Стариков отвернулся от него и принялся тщательно рассма-тривать вечерний двор, предчувствующий осень. Затем он ощутил толчок кулаком в плечо и повернулся.

– Поедем? В Астрадамовку? А? – бывший дембель распахнул балконную дверь и заорал: – Поэт, блин! Поедешь с нами следующим летом в Астрадамовку, а?

– Почему бы и нет! – отозвался Сланцев, который возился с колонками и что-то подключал. – Мне там хорошо было. Чертовски вдохновительно... Ага. Вот. Вот что я искал. А теперь, мужики, внимайте: я там немного обработал, звук поднял, все дела. И вот что получилось.

Петька прошел в комнату, а Стариков так и остался стоять на пороге – между балконом и залом, одной ногой там, другой – здесь.

На экране большого Мишкиного телевизора появилось дергающееся изображение: сначала родник, потом какие-то кусты и... дорога. Лешкин позвоночник прошибло током воспоминаний: да-да, там по дороге в Аркаево они что-то обсуждали, о чем-то таком важном говорили со Сланцевым – о чем, он сейчас не помнил, на-прочь забыл.

На экране плыли поля, заросшие где бурьяном, где зерновыми; попадались рощицы и полувисохшие ручьи; иногда объектив захватывал плывущие высоко в небе зефиры-облака. И над всем этим великолепием – над этой сельской, невыдуманной красотой и правдой – звучал бас Тонкова и простые, проникающие до самых митохондрий голоса дам из «Городца»:

*– Ой да ты, кали-инушка!  
Размали-инушка,  
Ой да ты не сто-ой, не стой  
На горе круто-ой.  
Ой да ты не сто-ой, не стой,  
Не роня-ай листья!  
Ой да не роня-ай листья  
Во синё-о море.  
Ой да по синю-ю морю  
Корабе-ель плывёт,  
Ой да корабе-ель плывёт,  
Лишь волна ревёт-от...*



# Кенотафия, или Необычное путешествие по России (повесть)

*«Челябинские депутаты предложили коллегам по Госдуме принять закон, запрещающий ставить памятники погибшим у дороги. Это предложение вызвало дискуссию. Большинство депутатов с ним не согласны. Некоторые же готовы его поддержать. Свое решение поддерживающие закон мотивируют тем, что ехать в связи с большим количеством памятников на дорогах очень грустно» (из Интернет-новостей).*

## Глава 1. Цветок на обочине

Очередная машина проехала мимо. Вместе с ней пролетел совсем рядом холодный ветер, и едва заметные брызги с еще не высохшего асфальта покрыли руки и лицо Леньки. Тот чертыхнулся и, глянув еще раз в обе стороны, перешел дорогу.левой рукой он страховал болтающийся на шее старый «Пентакс», правой пытался нащупать ключ от автомобиля: точно ли он положил его в задний карман брюк?

Несмотря на то, что Большаков высмеивал эту его привычку всякий раз брать ключи от зажигания с собой, Ленька упорно следовал установившемуся правилу.

«Научишься за баранкой сидеть – будешь тогда указывать!» – таков был ответ настырному советчику. По внутреннему убеждению Филимонова, его друг не умел толком даже фотографировать; впрочем в редкие минуты смирения Сашкины фотки также иногда попадали в папку грандиозных размеров с изысканным названием «Сойдет!».

На обочине успели выскочить редкие желтоголовые одуванчики, хотя травы еще почти не было. Послышалось хлопанье автомобильной двери.



– Да не стучи ты дверью-то так! – крикнул Ленька в сторону друга, но его звуковые усилия потонули в ветре, поднятом проехавшей фурой. Через минуту они вместе стояли возле очередного придорожного памятника с взведенными наготове объективами.

– Общий план снял? – спросил Большаков, рассматривая пространство за памятником: иногда там попадались конфеты, печенья и другая поминальная снедь.

– Да снял-снял! Всё пропитанье себе ищешь, убогонький, ведь обедали уже! – произнес Ленька, пытаясь смягчить серьезность момента, и посмотрел на друга. Тот даже не улыбнулся.

– С ребенком погибли! – Сашка кивнул в сторону фотографии, прикрепленной к зеленой трапециевидной стеле, и сделал еще несколько снимков. – Трое здесь. 30 января 2007 года. Зимой, значит, разбились.

– Угу, – отозвался Филимонов и, нахмуренный, направился к машине...

– Как, ты говоришь, по-научному-то они? – спрашивал Ленька уже в пятый или шестой раз, пока их автомобиль с включенными аварийными сигналами медленно продвигался вперед.

– Да это не по-научному. Просто термин – ке-но-тафы. «Пустые могилы» – с греческого, – отвечал Саша, просматривая на цифровике последние кадры. Снято было уже порядочно: на его фотоаппарате количество снимков перевалило за пятьсот.

– Да это ясно, что пустые. Кто ж вдоль дороги трупы-то будет закапывать. Что они нехристи, что ль? – Ленька закурил.

\*\*\*

Звонок с «геморройной идеей» – у Большакова, по мнению его друга, все идеи носили характер немного шебутной – раздался на мобильник Филимонова накануне вечером в пятницу.

– Куда? До Кирова? И что я там забыл? – пружины старого дивана заскрипели под нелегким тридцатитрехлетним телом «Леонида Аркадьевича» (жена в шутку называла его «Якубовичем», но тот этого не любил и не ценил).

Секунд сорок он терпеливо слушал занудную лекцию о каких-то кенотафах, но главный интерес проявил к словам «солидный заказчик».

– И кому нужна эта фигня? – недоверчиво переспросил он. Саша ответил уклончиво, но пояснил, что в ближайшее время собираются закон принять – на уровне Госдумы: в общем, вроде как все обочины от этих кенотафов очистят.

– Вот мать их женщина, – выругался Ленька. – Чем им помешали-то эти памятники? Ну, ладно. Почем хоть обещает-то этот твой солидный заказчик? И это за две недели упорного труда? Смешно!

В общем, договорились. Аркадьич подкатил на своей «девятке» к Сашкиному подъезду в семь утра. Грузёный автомобиль едва не задевал днищем асфальт.

– Куда ты столько набрал? – Большаков насилу разместил свои сумки на заднем сиденье, так как багажник был полностью забит.

– Пригодится! – сипел Ленька, по-своему располагая вещи друга. – Десять дней в пути – это тебе не шутка. Там и палатка, и уголь, и шампура.



Через полчаса скучная городская дорога осталась позади, и друзья начали «охоту» на кенотафы. Первые несколько памятников были отщелканы как-то по инерции: зеленая, потертая «пирамидка» – без всяких опознавательных знаков. Затем веночек и небольшой металлический крест с краткой надписью: «Помним. Любим. Скорбим». Третий кенотаф представлял собой вырезанную из металла большую чашу-цветок с фотографией маленькой девчушки. Около цветка друзья задержались дольше обыкновенного.

– Кто ж это ее? Пешком, что ли, шла? Или с пьяным папашей колесила? – насупившись, спросил Ленька. Большаков молча фотографировал, затем указал на небольшую мягкую игрушку – нежного розового слоника, торчащего в центре цветка. Там же были конфеты.

– Недавно, наверное, посещали, – произнес он и немного отошел назад.

– Смотри: зацепит – придется и твой кенотаф здесь ставить! – пошутил Ленька, пытаясь перекричать промчавшийся мимо грузовик. Саша кивнул и пошел к стоявшей на противоположной обочине «девятке».

– Координаты надо занести, а то перепутается все в голове. Каждую фотку надо пространственно приурочить – через GPS, – пояснил Большаков на вопросительный взгляд друга. В его руках был небольшой ноутбук с открытой онлайн-картой их перемещений.

– Ну, давай-давай, приурачивай! А я пока колеса подкачаю, – Ленька полез в багажник, как опытный спелеолог в знакомую до боли пещеру.

## Глава 2. Придорожный сервис

Заночевать решили на выезде из Казани. Сняли двухместный номер в придорожной гостинице, который, как заметил растянувшийся на неразобранной кровати Аркадьич, «на редкость паршивый и дорогой».

– Выгоднее квартиру на ночь снимать – я уж так много раз делал, – голос Саши доносился из ванной гулко, как из могилы.

– Да тебе какая разница: все равно платит твой заказчик. Как там его, кстати, величают? – спросил Ленька. Он лениво приподнял левое веко и посмотрел на медленно заполняющееся синим

цветом окно копирования Total Commander'a: это освобождались заполненные за день флешки фотоаппаратов. Из ванной послышались невразумительные звуки, передающие, должно быть, имя таинственного инициатора их «кенотафии».

Живой интерес Аркадьича быстро перешел в поверхностный сон, за коим его и застал Большаков. Он набросил на друга одеяло и нырнул в свою кровать: завтрашний день обещал быть не из легких, надо набраться сил.

Но, как назло, сколько ни лежал он с закрытыми глазами – сна все не было.

– Они, безусловно, разные, – размышлял он, ворочаясь с боку на бок. – В Татарстане у кенотафов свои особенности – иногда попадаются как бы мини-памятники: маленькая оградка, небольшой крест. Видели много раз и оградки с полумесяцами на столбиках. Кажется, начинает вырисовываться какая-то типология.

Промаявшись еще с полчаса, он сел за компьютер и, открыв Word, стал строчить туда свои сегодняшние наблюдения.

«Нужно фиксировать расстояние от обочины, на котором располагаются памятники. И перечень того, что используется в качестве «маркера ДТП»: колеса, руль, бампера. Всё это надо иметь в виду уже сейчас, чтобы не пропустить чего-нибудь важного», – писал он в своем «Отчете (для заказчика)».

В это мгновение раздался пронзительный вой автомобильной сигнализации. Ленька подскочил на кровати и через несколько секунд испарился из номера. Саша был уверен, что с их «девяткой» все в порядке. Однако минута шла за минутой, а Аркадьич все не возвращался. Их номер располагался на втором этаже, но автомобилей из окна видно не было, так как парковка находилась с другой стороны гостиницы.

Саша глянул на сотовый – был второй час ночи. Он уже собрался было выйти на поиски друга, когда наконец распахнулась дверь номера и вошел Филимонов. На его лице была написана вселенская скорбь.

– Что? – встревожился Большаков. Аркадьич, не отвечая, пошел в ванную.

– Да, ну, говори же, чего томишь? – Саша знал, что его друг был склонен к эффектам, но ведь впереди – почти две тысячи километров...

– Колесо, сволочи, прокололи!

– Кто?

– Дед Пихто! Откуда я знаю.

– Так ведь парковка при гостинице – должен же быть там какой-то пригляд! – Большаков расстроился окончательно.

– Должен да не обязан. Да не стремайся, я уж запаску поставил и с администратором гостиницы переговорил – он поклялся, что у них такое в первый раз случилось.

– А может мы по пути прокололи? – засомневался Саша.

– Не-е, там и с зеркалом с правой стороны пытались что-то сделать, – сказал Ленька, перекидывая через плечо полотенце. – Короче, гиблое место. Наверное, хмыри из пригородного села орудуют. Давай спать – пусть гостиница за этим смотрит, их проблемы. В следующий раз точно по квартирам надо ночевать да на нормальную стоянку ставить – так оно надежнее.

Большаков снова забрался в кровать и некоторое время слушал фыркающего в ванной Леньку, видимо, изображавшего довольного жизнью кита. Затем он заснул крепким сном без сновидений.

Поутру к ним заглянул администратор – седой мужчина лет пятидесяти пяти в темных широких джинсах и пиджаке, надетом поверх футболки. Очевидно, что он испытывал вину из-за вчерашней неприятности и был весьма любезен.

Саша воспользовался его расположением и начал расспрашивать о здешних кенотафах.

– А-а, тут есть-есть – в сторону Йошкар-Олы если ехать – там полно. Есть даже в виде паруса – какому-то музыканту, что ли, поставили. Такой постамент – как парус, а на нем – клавиши от пианино, – поведал мужчина в джинсах, узнав о том, чем занимаются друзья. Обрадовавшийся Саша уточнил, где располагается «парус» и спустился вниз – к возившемуся с «девяткой» Леньке. Тот с утра был не в духе и ворчал на весь мир. Впрочем, уже через несколько сот метров от гостиницы друзья наткнулись на первый памятник и втянулись в работу.

– Ты вот мне растолкуй, – говорил Ленька, делая очередной снимок. – Вот сказал он тебе: общий план и «памятник спереди-памятник сзади». Всё – три кадра. Что ж ты по двадцать-то фотографий делаешь? И рюмки даже не обходишь своим вниманием!

Загадочного заказчика их работы Ленька теперь именовал местоимением «он» и находил в этом какое-то странное удовольствие.

Действительно – возле одного из кенотафов, который представлял собой трапециевидную стелу с прикрученным рулем, фотографией, табличкой с именем-фамилией и датой гибели, стояли две наполненные рюмки.

– О! Еще даже спиртом пахнет – не так давно наливали! – объявил Ленька, поднесший рюмку к носу.

– Поставь, тебе все равно ведь нельзя – за рулем! – улыбнулся Саша и щелкнул дурачившегося Леньку на фотоаппарат.

Километров через двадцать им «повезло несказанно», как объявил Большаков, так как они впервые увидели тех, чьи следы регулярно обнаруживали возле многих придорожных памятников. Сначала друзья заметили оставленный на обочине мотоцикл, а затем обнаружили две фигурки возле кенотафа.

– Смотри – это же придорожный памятник чистят-убирают! Родственники, наверно. Обязательно поговорить с ними надо!

Аркадьич в ответ фыркнул и пробормотал что-то. Большаков расслышал только его слова: «Эка невидаль – родственники!» – а затем чуть ли не на ходу выпрыгнул из машины.

– Сумасшедший, блин! – выругался Ленька. – Зачем тебе эти родственники? Ведь он тебе только фотки заказал!

Саша через пару минут затеял обстоятельную беседу с посетителями кенотафа.

– Батя это мой! – говорил парнишка, который занимался тем, что расчищал заросли вокруг памятника. – Пять лет назад погиб – вот почти на этом самом месте. Со свадьбы возвращался, он у меня гармонистом...

Парню было лет семнадцать. Он прервал свой ответ на Сашкины расспросы и, засопев носом, отвернулся. Затем стал с удвоенной силой рвать траву.

Саша почувствовал легкий стыд за то, что вызвал невольные слезы. Но, решив, что такой удачи, может, ему больше не улыбнется на протяжении всего оставшегося пути, в двух словах рассказал о своей цели: мол, фотографируем эти памятники, а то в скором времени, возможно, их вообще уберут с обочины.

– Как – уберут? – парнишка воздрогнул. – Это как же? Я ведь приезжаю, ухаживаю...

Оказалось, что его отца схоронили неподалеку от места аварии – на сельском кладбище. Парнишка сам живет в Йошкар-Оле, но заглядывает сюда раза два в год – заходит и на кладбище, и к кенотафу приезжает.

– Но там-то, на кладбище, есть кому посмотреть за могилой, а здесь только я могу приехать.

Саша побеседовал с мотоциклистами еще минут десять. Затем уже из Ленкиного автомобиля он наблюдал, как парни (сын погибшего приехал к кенотафу с другом) прикурили сигарету и положили рядом с памятником.

– Покурить поднесли, – прокомментировал Филимонов. – Говорят, вот на могилах, когда так делают, сигарета до самого фильтра сгорает.

Тон его был вполне серьезен. Они поехали дальше. Метров через триста друзья наткнулись еще на один кенотаф – венки с цветами, положенными возле колеса. Судя по всему, придорожный памятник сделали совсем недавно: земля была еще свежая, колесо – почти новое.

Пока Саша фотографировал, Ленка некоторое время всматривался вдаль, а затем склонился к другу и почему-то шепотом произнес:

– Слушай, видишь вон тех – на темно-красной машине?

Большаков выпрямился и посмотрел вдаль. Красный автомобиль стоял на обочине – на том самом месте, где полчаса назад пребывала «девятка» друзей. Сын погибшего с другом еще работали возле памятника; с ними беседовали двое мужчин в одинаковых серых куртках – вероятно, приехавшие на той машине, которая заинтересовала Ленку.

– Ну и что?

– А то, что я этих ребятшек на красном фиате сегодня полдня уже лицезрею. Это ты, кроме своих пустых могил, больше ничего не замечаешь, а я еще и в боковые зеркала посматриваю. Они за нами по пятам уже километров 80 тащатся!

– Да ладно! – Саша с сомнением еще раз поглядел на отдаленный фиат, похожий на красного жука, севшего на обочину. – Просто так получается, наверное...

– А то, что они каждый кенотаф после нас прощупывают – это тоже «так получается»?

Большаков округлил глаза и пожал плечами.

– Ладно, не веришь, я тебе докажу. Вот запомни ту часть дороги, где наш последний памятник расположен. Сейчас сядем в машину, отъедем потихоньку, и ты сам увидишь весь этот фокус.

«Девятка» поморгала левым поворотником и медленно потащилась дальше. Саша, стараясь делать это незаметно, начал следить за тем, что происходит сзади. Асфальтовое полотно дороги под заходящим солнцем было похоже на мокрое полотенце, вытянутое на леске для просушивания. Видимость была отличная. Не успели друзья отъехать от последнего кенотафа на полкилометра, как Большаков заметил темно-красный автомобиль, вынырнувший из-за поворота и остановившийся ровно там, где несколько минут назад стояла их «девятка».

– Вот елки-палки! – выдохнул Саша и откинулся на спинку автомобильного кресла. – И впрямь по нашим следам катят. Это как же понимать-то?

– А вот как хошь, так и понимай. Может, он, заказчик твой, Монте-Кристо долбаный, еще двух фотографов нанял – типа для контроля?

– Не может быть этого! Это что-то другое, я даже предположить не могу что. Стой – слева кенотаф!

«Девятка» снова остановилась на обочине, и друзья вышли из машины.

– Давай так, – опять заговорщицким шепотом заговорил Ленка. – Потусуемся здесь подольше, – они вынуждены будут нас догнать!

– А если это – ну, блин... У нас оружия-то никакого! – Саша почувствовал, как у него слабеют ноги. – Пришьют они нас и закопают прямо рядом с памятником – могилы уже будут не пустые!

– Да, ладно. Кто будет средь бела дня этим заниматься... – с легким оттенком превосходства произнес Аркадьич. И через некоторое время добавил:

– А вообще, около следующего кенотафа я молоток из багажника достану. На всякий пожарный случай!

Пожарных случаев не случилось, поскольку до самой Йошкар-Олы друзья больше не видели ни красного фиата, ни новых придорожных памятников.

Еще утром Саша нашел по интернету несколько объявлений о сдаче квартир, так что в Йошке их ждал и стол, и дом – всего за 1800 рублей в сутки.

Когда машина была поставлена на ближайшую платную стоянку, а из купленных продуктов приготовлена закуска, Саша достал небольшую бутылку.

– Это местный бальзам. Употребим для прояснения мыслей – не бойся, завтра будешь трезвый, яко младенец.

– Это ты – трезвый младенец. А я – водитель! – объявил Филимонов и с удовольствием опустошил рюмку.

– Может, и впрямь – совпадение, этот фиат-то! – говорил изрядно подобревший Ленька. – Завтра на выезде из города посмотрим.

– Даже если за нами кто-то следил – в городе они нас потеряли. Нам остается незаметно выскользнуть из Йошки.

– Это в том случае, если они не знают нашего маршрута, – возразил Ленька, подливая себе кипятку в чай. – А ежели они знают, что мы стремимся в Киров, то, поверь, найдут нас на трассе обязательно!

– Мне кажется, мы все это себе придумали: кому мы нужны с нашими кенотафами... – Саша потянулся и зевнул.

– Да я ж тебе говорил – заказчику твоему, мать его женщина, или конкурентам каким-нибудь. Или – ФСБ. А что? Подозрительной деятельностью мы с тобой занимаемся, товарищ Большаков! Ездим и фотографируем.

– Брось ты! – отмахнулся Саша и пошел к сумкам, чтобы подготовить технику на завтра: зарядить аккумуляторы и освободить память фотоаппаратов.

– А вот завтра и посмотрим, кто прав! – продолжал разглагольствовать Аркадьич уже из ванной. – Посодют, ей-богу, посодют.

### Глава 3. Поминание

Первый кенотаф они встретили на выезде из города. Маленький памятник с крестом притулился за очередным перекрестком. Ленька поставил «девятку» рядом с бордюром, и друзья принялись фотографировать памятники. Когда Саша снимал табличку на кенотафе, он услышал, как Ленька вполголоса выругался. Обернув-

шись, он увидел человека с полицейской фуражкой и ярко-желтым «фартуком» поверх куртки.

– Влетели, блин! Я ведь аварийку забыл включить! – прошипел Ленька, и друзья направились к машине.

– Добрый день! Остановка здесь запрещена. Права, пожалуйста! – сказал гибддшник – молодой парень лет двадцати семи.

– Да мы меньше пяти минут стоим, вон памятник фотографировали! – начал оправдываться Аркадьич со столь непривычно мягкой интонацией в голосе, что Саша удивился.

– Ваши права, пожалуйста, – повторил гибддшник, и Филимонов, вздохнув, полез в бардачок машины.

– А это ваш родственник там, что ли? – поинтересовался страж порядка, кивнув в сторону памятника. Саша в двух словах рассказал, что они «фотографируют кенотафы вообще».

– Кено... А, эти – у обочины! Тут у нас на другом выезде – который на Казань – есть несколько, – улыбнулся гибддшник, открыв невероятно щербатый рот. – А зачем вам это?

Большаков терпеливо объяснил, что, возможно, кенотафы вообще скоро уберут – надо их зафиксировать.

– А-а! – протянул любопытный страж порядка и было видно, что он так до конца и не понял, чем собственно занимаются друзья. Тут из машины наконец-то выбрался Ленька и с обреченным видом отдал права.

Через 15 минут они поехали дальше.

– Вот, блин, собака, на полную катушку выписал – полторы тыщи штрафа! Ведь мы там и пяти минут не простояли, а попробуй докажи. Дороговато этот кенотаф нам обошелся! – огорчился Аркадьич.

Большаков успокаивал его, пообещав, что штраф будет оплачен все тем же заказчиком. Ленька помолчал, подумал и через пять минут снова вернулся к своему обычному ровно-насмешливому настроению.

– Я вот что думаю: может, зря ты каждому встречному-поперечному рассказываешь, чем мы занимаемся. Вот этому гаишнику – на фиг ему об этом знать?

– Да ладно! Чего нам скрывать? – отвечал Саша. – Мы же не воруем и не грабим, а так люди мне что-нибудь интересное да расскажут.



– Ну, и что тебе этот щербатый рассказал? Кенотафы на Казанском выезде мы уже отщелкали, а... – прервал сам себя Ленька и уставился в зеркало заднего вида. – Ёперный театр! Это же... они!

Большаков быстро повернул голову назад и через забитое сумками заднее сиденье разглядел темно-красный автомобиль.

– Преследуют нас! Я тебе говорил! – почти с торжеством прокричал Аркадьич. – Посодют нас, как пить дать. Или убьют. А может, этот гибддшник не случайно к нам подошел? Откуда он там выскочил, как утка из камышей? А?

Большаков заметно побледнел и снова обернулся назад.

– Послушай, это перестает быть смешным. Надо дождаться их и выяснить, чего им надо! – предложил Саша.

– Еще чего! – возразил Аркадьич, переключившись на четвертую скорость. – Они нас не домогаются, едут и едут. А мы зачем к ним лезть-то будем? У нас и без того проблем хватает.

– Кенотаф! – Саша указал налево. Ленька сбросил скорость и, развернувшись, остановился на противоположной обочине. Они некоторое время сидели в автомобиле, посматривая на дорогу.

– Гляди, по-моему, они тоже остановились! – Филимонов покачал головой и достал «Пентакс», лежащий рядом с рычагом переключения передач. Когда друзья вылезли из машины, они увидели, что фиат стоит на обочине в двухстах метрах от их «девятки».

– Фиг бы с ними! – выругался Большаков. – Идем работать.

Ленька сунул ключ от зажигания в задний карман брюк, и они пошли в сторону придорожного памятника. Кенотаф представлял собой целый мемориал с отдельно стоящей беседкой, столиком и даже дорожкой, выложенной щебенкой. Впечатляло необыкновенное количество вещей, которые находились в самых различных местах мемориала – по обе стороны дорожки, в беседке, на соседних деревьях. Здесь были мягкие игрушки, лазерные диски, различные части разбившегося автомобиля. Кусок бампера был неведомо как впаян в одно из деревьев на высоту двух с половиной метров. Только затем друзья догадались, что, вероятно, ранее он находился ниже, но за несколько лет (судя по надписи на табличке памятника, авария произошла в 2005 году) выросшее дерево подняло это жутковатое свидетельство ДТП высоко над дорогой.

Фотографирование необычного кенотафа настолько увлекло друзей, что они на несколько минут совсем забыли о своих преследователях.

– Наверное, отец с сыном погибли, – хриплым голосом сказал Саша, кивнув на табличку с именами. – На фамилию и отчество мальчишки посмотри.

Ленька кивнул.

– Да, участочек тут не из простых. По осени дело-то было...

Состояние игрушек, искусственных цветов и – главное – два еще не сгнивших апельсина, оставленных на имитации могилы, говорили о том, что кенотаф совсем недавно посещали.

Сделав несколько десятков фотографий, Саша сел на одну из лавочек, находящихся в беседке.

– Как ты думаешь, они все еще там? – Большаков показал на дорогу, где стоял фиат. Преследовавший их автомобиль был скрыт от глаз фотографов одним из придорожных деревьев.

– А куда ж они денутся? Не развернулись же они там. Стоят, как миленькие, ждут, когда мы отсюда уберемся.

– А мы не уберемся! – неожиданно сказал Большаков. – Мы тут обедать изволим. Заодно и погибших помянем – для этого, кстати, тут беседка и установлена.

В ответ Филимонов пожал плечами и послушно побрел в сторону своего автомобиля – доставать купленные в Йошке запасы.

\*\*\*

Саша сейчас уже не помнил, сколько ему было тогда лет – шесть, возможно, семь. Он знал еще с пятницы, что в воскресенье бабушка пойдет в церковь и обязательно возьмет его с собой. Была морозная зима, и ему очень не хотелось вставать с приятно теплой постели. Однако бабушка неумолимой рукой разбудила внука и велела идти умываться.

В то утро ему всё не нравилось: чай был слишком крепкий и противно горький; старенький «ПАЗик», который истошно скрипел на каждом повороте и едва ли не трещал по швам от набившегося сельского населения, ехал до церкви ужасно долго. Саша смотрел на разукрашенные морозом и человеческим дыханием автобусные окна, и ему было грустно – так, как бывает грустно только по утрам.

В самой церкви мальчику тоже сначала не понравилось: монотонный голос батюшки гудел откуда-то из-за многочисленных серо-черных спин, заслонявших всё самое интересное.

Уже минут через десять он устал стоять, ему захотелось выйти отсюда, а после стали слипаться глаза. Но на лице бабушки, стоявшей слева, светилась такая торжественность и строгость, она так медленно и со значением клала кресты, что он не осмелился ее беспокоить. Затем он все-таки нашел способ ослабить давление на свои уставшие ноги: валенки, которые надела на него бабушка, почти на десять сантиметров были выше колен. Это позволяло опереться на их края бедрами и «полусидеть».

Приняв положение наездника, Саша почувствовал себя вполне сносно: можно даже дремать. И неожиданно от всего этого – едва слышного потрескивания свечей, воскового запаха, светлых и чистых голосов певчих, высокого купола, откуда сверху на него смотрел Саваоф во славе своей – от всего этого стало так хорошо, что даже защипало в носу, как бывает, когда собираешься заплакать.

И вот с того момента Саша, наверное, и стал понемногу верить в Бога. Большаков это хорошо помнил – именно там, в церкви, полусидя на высоких валенках, он впервые ощутил внутри себя какое-то теплое чувство, которое, раз испытав, уже ни на что не променяешь...

На столе, деревянная поверхность которого была прикрыта газетой (дело рук заботливого Филимонова), друзья разложили хлеб, нарезанную крупными кусками вареную колбасу и связку бананов. Большаков толком не знал, зачем он только что рассказал Ленке о своей почти забывшейся поездке с бабушкой. Эти мысли и образы пришли к нему сами собой – и всё вспомнилось настолько живо и так отчетливо, что на секунду он почувствовал, как заболели бедра – в тех местах, на которых он когда-то давно полусидел в заснеженной церкви.

Что-то в этой беседке, в этих лазерных дисках и мягких игрушках, во всем их путешествии было такое, что подталкивало к подобным ассоциациям.

– А помнишь – там, еще в Ульяновской области, камень с именами детей? Школьный автобус, кажется, разбился... – напомнил Ленка, когда Большаков закончил свой рассказ о церкви. Саша поежился в ответ. Они натолкнулись на этот придорожный памятник в первый же день своей кенотафии. Друзья насчитали на большой металлической табличке, прикрученной к огромному валуну, восемнадцать детских имен и фамилий. Дети были примерно одного возраста – класс пятый-шестой.

Что именно случилось четыре года назад на этом перекрестке, Большаков не знал. Вероятно, дети возвращались из летнего лагеря. А может, они ездили на экскурсию – в какой-нибудь Болгар.

– В фуру, наверное, врезались. Или в грузовик. От столкновения с легковой не бывает столько погибших, – предположил тогда Ленька. После этого кенотафа друзья ехали в абсолютном молчании почти полчаса. А на следующий день Филимонов неохотно признался другу, что ему снились кошмары.

– Не дай Бог нам такие валуны еще раз встретить! – сказал Ленька.

Подобных кенотафов им действительно больше не попадалось. Но были другие – обозначавшие места гибели целых семей, друзей, родственников. Иногда встречались памятники, установленные на расстоянии нескольких метров друг от друга или по разные стороны дороги. И только по датам гибели друзья понимали, что эти «пустые могилы» – свидетельство одной и той же аварии: по всей видимости, жертвы просто ехали в разных автомобилях навстречу друг другу...

– Ну что: идем? Если эти на красном «фиате» и следят за нами, то их точно уже достало ждать нас! – сказал Большаков и начал убирать остатки снеди со стола.

Сделав еще несколько кадров, друзья пошли к автомобилю. Когда они выбрались на обочину, то с неприятным удивлением увидели, что красный автомобиль с затемненными окнами стоял теперь намного ближе – всего в пятидесяти метрах от их «девятки».

– Может, подойдем да спросим напрямик, что им нужно от нас? – снова предложил Саша.

– Нет уж. Нечего связываться. Садись – поехали! – безапелляционно заявил Ленька. Филимонов развернул на широкой обочине автомобиль, и они принялись укладывать в багажник сумку с едой. Затем Саша обошел машину, чтобы сесть на свое привычное место на переднем сиденье. Ленька всё еще возился с багажником сзади.

– Дверь! – вдруг заорал Филимонов так пронзительно, что Саша чуть не подпрыгнул: он уже уселся в машину, но замешкался с дверью, так как хотел сначала положить фотоаппарат на заднее сиденье. В это самое мгновение темно-красный автомобиль на полном ходу по касательной прошелся рядом с их «девяткой». Машину основательно потрянуло, и Большаков, словно в замедленном кино,

увидел, как полураскрытая дверь мгновенно исчезла со своего места. Фиат успел скрыться за поворотом, а оторванная дверь их «девятки» все еще гроыхала по асфальту, пока не съехала в траву, растущую на обочине с противоположной стороны дороги. Ленька сначала остолбенел, а затем с растерянным видом побежал к оторванной двери. Саша вылез из автомобиля и начал материться так страшно, что Аркадьич даже на несколько секунд отвлекся от увлекательного процесса, связанного с рассматриванием покоренной двери.

– Дверь, мать твою женщина, закрывать надо! – Филимонов со злостью перевернул дверку на другой бок. Впрочем, сказано это было, скорее, от отчаянья: очевидно, что преследователи на фиате сделали это вовсе не из-за оплошности Большакова.

– Ведь наша машина стояла на обочине. Они специально! Елки-палки! – Большаков все равно чувствовал себя отчасти виноватым в произошедшем. – И ведь умчались, подлюги! Ты номер-то запомнил их?

Ленька покачал головой.

– По-моему, регион там 16-й. Но я не уверен. Что делать-то будем?

– На СТО ближайшую ехать. Что тут еще сделаешь! – ответил Большаков и взялся за другой край оторванной двери.

## Глава 4. На СТО

Станцию техобслуживания они нашли в Санчурске. Мужики попались толковые и за какие-нибудь два часа справились с ремонтом. Дверь, как пояснили эстэо-шники, «срезало» очень удачно: сваркой пришлось заниматься немного. Проблема была только с оторванным боковым зеркалом и треснувшим (но не разбившимся!) стеклом.

– Фиат говорите? – с удивлением покачал головой один из мужиков, одетый в измазанные маслом темные джинсы и куртку защитного цвета. – Да их машине, небось, больше досталось – им весь бампер, наверно, расхерачило!

Услышав эту авторитетную фразу, Филимонов порозовел от удовольствия, а Большаков погрузился в глубокую задумчивость.

– Ты вот мне скажи, – говорил Саша другу, пока они сидели на бетонной плите неподалеку от СТО, ожидая окончания ремонта, – какой дурак будет жертвовать своим фиатом? Ради чего? Тут дело серьезное. Может, нам в полицию обратиться?

– И чего ты им скажешь? Товарищи полицейские, мы тут кенотафы фоткаем, а нам какие-то ребята на фиате жизни не дают! Они больше заинтересуются твоими кенотафами, чем этими уродами, чтоб им кошмары все время снились! – Ленька затянулся и выпустил кольцо дыма в серое небо Санчурска.

– Нет, пока они просто нас преследовали, – тут еще ладно. Но сегодня – это уже чересчур. Тут что-то делать надо... Сколько нам еще до Кирова осталось?

– Да сейчас бы уже там были, если бы некоторые за дверью следили! – Ленька редко упускал случай вспомнить прегрешения других.

– Да ну тебя! Сам ведь знаешь, как это было. Мы стояли на другой стороне дороги – они, блин, на встречу выкатили, чтобы нам дверь оторвать! Не будь двери открытой – они, может, палить в нас чем-нибудь начали. И что это за черти такие? – Саша взъерошил волосы и закрыл глаза.

– А ты свяжись со своим шефом и спроси напрямую – может, он объяснит! – продолжал язвить огорченный из-за случившегося Филимонов.

– Да нет, нет никакого шефа! – Большаков встал с бетонной плиты, на которой они сидели, и стал прохаживаться из стороны в сторону.

– Как нет?! – Филимонов с неподдельным испугом смотрел на друга.

– А так! Я сам, самому мне надо это все. Идея появилась – вот и поехал. И тебя вот... взял.

– Взял? – Ленька закашлялся от возмущения. – Это я тебя взял! Нам что никто не заплатит за все это?! Тут дверь только знаешь во сколько выльется?

– Да за все заплатят! Я заплачу! Что ты из-за денег переживаешь, что ли? Хочешь прямо сейчас всё тебе отдам? До банкомата дойду – и отдам! – в голосе Сашки послышалась настоящая обида.

– Да не надо мне всё. За дверь вон заплати хотя бы! – Ленька поднялся и, не оборачиваясь, пошел к мужикам, ремонтирующим «девятку».

Большаков посмотрел на спину удаляющегося Филимонова и, чертыхнувшись, побежал в забегаловку через дорогу – по слухам, там был банкомат.

Вернувшись, он застал Леньку за разговором с эстэо-шником, одетым в куртку цвета хаки. Саша подсел к курившим и с удивлением понял, что речь идет о придорожных памятниках.

– Братишка у меня навернулся там, за Кировом, километров пятьдесят отсюда. Вот я ему сам памятник сорганизовал – заказал тут у нас в Санчурске. И отвез – поставил. Всё путём – с оградкой, фотку прикрутил, – мужчина говорил с характерным санчурским «распевом» гласных, особенно налегая на «а».

Его брат был схоронен на местном кладбище, а к кенотафу он ездил, «как снег сойдет» – чтобы прибраться и оградку покрасить.

– Интересным вы делом занимаетесь, парни. Нужным. Я вот вам что скажу: верьте не верьте, но у брательника моего фотка на том памяtnичке-то меняется! Как это вам объяснить-то... В общем, на кладбище не меняется, а на том памяtnичке, где он разбился – меняется!

– Это как так? – Большаков мигом забыл все недавние неприятности и во все глаза смотрел на говорившего.

– Как? А вот как: если давно я не был у него – ну, там дела, вот тут клиентов много, начальство не отпускает, то да сё, – у него лицо, ну, на фотке я имею в виду, вот печальное. Понимаешь? Вот и глаза, и всё там. Нет, в общем, настроения никакого. А приеду вовремя, почищу там, покрашу, покурить ему положу, рюмку налью, – как уезжать соберусь, так у него лицо прямо светится. Да. Прямо на фотке! Вот, ей-богу, мужики, не вру! – эстэо-шник закурил еще одну сигарету.

Саша был в восторге от услышанного. Когда они возвращались в Йошкар-Олу (решили заночевать там, потому что уже вечерело, а до Кирова было далековато) он только и говорил, что о беседе на СТО.

– Вот видишь: всё к лучшему получилось. Если бы не эти фиатчики, мы с мужиком этим вообще бы не встретились!

– Тьфу-тьфу! Не к ночи будут помянуты эти твои фиатчики, – сплюнул суеверный Ленька, взглядываясь в освещенную светом фар дорогу. – Ты насчет квартиры-то точно договорился?

– Да, с той же хозяйкой, где и вчера ночевали. Там со всеми удобствами, – отвечал Саша.

– В ванну бы сейчас залезть! И поспать... – мечтательно говорил Филимонов, прислушиваясь к дребезжанию пострадавшей двери. На ней красовалось новое боковое зеркало, но многочисленные трещины, паутиной разбежавшиеся по стеклу, не давали Ленке покоя. Увидев свет фар сзади, он внутренне напрягся и чувствовал себя спокойно только тогда, когда очередной автомобиль обгонял их «девятку» и бесследно растворялся за поворотом.

Устроившись в квартире, они решили прогуляться по вечернему городу. В центре Йошкар-Олы было на что посмотреть: по обе стороны от Кокшаги несколько лет назад возвели уменьшенные копии известных архитектурных шедевров мира. Небольшие здания, подсвеченные электрическим светом, различные скульптуры и спокойно гуляющие горожане – всё это произвело на друзей самое благоприятное и расслабляющее воздействие. Уже лежа на широкой кровати (Большаков устроился на соседний узкий диванчик), Ленка, позевывая, говорил:

– Надо бы еще с Ёшкиным котом сфоткаться. Это у них тут достопримечательность такая... Слушай: а может, ну их, твои кенотафы! А, Большаков? Один геморрой от них да оторванные двери...

Сашка не отвечал, сосредоточенно смотря на экран ноутбука, который стоял у него на коленях.

– Да ладно, это я так... – Филимонов еще раз умиротворяюще зевнул. – Раз уж взялись за гуж – то теперь не говори, что не муж. Только как нам этих фиатчиков провести – чтобы отстали от нас? Хоть машину перекрашивай в другой цвет, ей-богу.

– Осталось не так много: до Кирова доберемся, а там – домой. Дня через два родные просторы колесить будем. А насчет этих, на красной машине которые, – то я б давно в полицию обратился, если бы не ты, – отвечал Сашка, который был занят просмотром свежих фотографий.

– Да как ты не поймешь? – Ленка приподнялся на локтях. – Ну что тебе даст эта полиция? Только времени уйму потеряешь. Хотя номерок-то этих ребятишек, которые нам дверь покорежили, стоит в следующий раз запомнить. А лучше – сфотографировать их тачку надо! Вот.

Саша согласился, но про себя надеялся, что темно-красный автомобиль больше не встретится им до конца пути.

– Ленка, а ты все-таки что думаешь про них – кто это может быть?



– Да кто ж их знает! – Филимонов безразлично махнул рукой.  
– Придурки какие-нибудь. Или бандюги.

– Ага, делать бандюгам больше нечего, как нас преследовать. Давно бы прихлопнули где-нибудь. Ведь они с самого Татарстана за нами тащатся! Просто так люди не стали бы время и деньги расходовать, – возразил Большаков.

– Но мы-то как раз этим и занимаемся: просто так расходуемся! И они стало быть... – Филимонов загоготал, увидев, как искажилось лицо друга в ответ на его слова.

– Ну, ладно-ладно... Ты вот скажи, Сашка, ну что ты будешь делать с этими тысячами фотографий? Солить их? Я не знаю – сайт создашь, что ли?

– Сайт, между прочим, – это идея весьма неплохая! – согласился Большаков. – Ничего подобного в Инете я еще не видел. Ну а так – статью напишу научную. Это дело вообще мало кто исследовал.

– Статью научную? – Ленька перевернулся на другой бок. – И вот на кой черт? Одной статьей больше, одной меньше. Что это тебе даст-то?

– Некорректный вопрос! – глубокомысленно ответил Сашка и замолчал. Ленька только тяжело вздохнул в ответ и через пару минут захрапел по-богатырски.

## Глава 5. Тетя Настя

В Киров поехали снова через Санчурск. Сашка решил произвести повторную съемку тех же придорожных памятников, что они сфотографировали два дня назад. Ленька был этим очень недоволен.

– Да на что тебе снова те же кенотафы? Если так дело пойдет, то мы никогда до Кирова не доберемся. Ведь есть их фотки уже! – ворчал Филимонов, то и дело посматривая на дорогу: он опасался появления красного фиата, о чем уже не раз говорил Большакову. – И этих краснофиатчиков снова привлечем – они ведь нас и засекают только потому, что мы плетемся, как черепахи, и возле каждого пригорка останавливаемся.

Сашка отмахивался и говорил, что повторную съемку сделать необходимо.

– Пока мы повторно снимем на дороге от Йошки до Санчурска. А, глядишь, через месяц-другой попробуем «повторить» на более длинном участке.

Ленька только руками замахал:

– Ну уж нет! Больше ты меня в такую авантюру не втянешь. Кенотафь в одиночестве!

Они в очередной раз остановились у знакомого придорожного памятника. Кенотаф представлял собой небольшой металлический крест. У его подножия находилась выцветшая от времени фотография двух девчонок, помещенная в рамочку со стеклом.

Этот памятник располагался на выезде одного из сел – буквально в десятке метров от последнего дома. Несмотря на то, что Ленька решил демонстративно не выходить из машины и оставить повторную (абсолютно бесполезную!) съемку исключительно на Большаковской совести, в этот раз он также выбрался из «девятки». Не прошло и пяти минут, как друзья услышали странный шум со стороны близлежащих домов. Сначала они уловили какие-то крики, затем увидели бегущую по трассе пожилую женщину. В ее руках был удлинённый предмет, которым она время от времени взмахивала. Каждый взмах сопровождался хриплым криком такой силы, что услышать его можно было на другом краю села.

– По-моему, она бежит к нам! – быстро проговорил Ленька и почти инстинктивно двинулся в сторону машины.

– Постой! – Сашка ухватил его за куртку. – Если мы сейчас пойдем к машине, то только усилим подозрения, что мы здесь чем-то нехорошим занимаемся. Она подойдет, и мы ей всё объясним.

– Подойдет... – уныло протянул Филимонов. – Она не идет, а бежит! И в руках у нее что-то увесистое.

Через минуту испугался и Сашка, так как друзья поняли, что женщина, бежавшая к ним, была вооружена мотыгой.

– Это чегой-то вы тут делаете, сволота этакая? – с подкупающей искренностью обратилась она к ним, будучи еще метров за 20 от кенотафа.

– Мы просто... фотографируем! – громко отозвался Большаков, стараясь изобразить в голосе всю вежливость, на какую он был способен.

– Фотогра... – буквально задохнулась прибежавшая селянка и

взяла мотыгу в другую руку. – А кто это вам позволял тут фотографировать? А ну уметайтесь отседа, пока я соседей не позвала!

– Так ведь их убрать собираются! – прибег Сашка к своему привычному объяснению. – Вот мы и хотим зафиксировать, сохранить, так сказать.

– Кто убрать? Это как это? – опешила женщина и опустила мотыгу. Ленька счел это за добрый знак.

– Да Госдума, депутаты закон вот обсуждают: убрать, мол, все кенот... Памятники эти, кресты. А мы хотим сфотографировать, чтобы осталось... для науки, так сказать!

– Да ну?! – лицо их собеседницы выражало недоверие и растерянность. – Да кто ж им позволит-то? Вот ироды-то, делопуты окаянные! Да разве я дам им мою Софушку?! Ведь она здесь с Наташкой-то...

Женщина подошла к кресту, наклонилась, чтобы поправить фотографию в рамке и вдруг расплакалась.

– Да вот и мы тоже говорим: вздумали-то что эти депутаты! Вот хоть сфотографировать... – несвязно произнес Ленька, и Филимонов с удивлением заметил, что его друг стал говорить с тем же продлением гласных, что и местные. «Видимо, с испугу», – решил Большаков, а вслух произнес:

– Вы не думаете, мы ничего плохого не хотели: мы сами с Ульяновска, уж не одну сотню этих памятников сфотографировали!

Друзья не знали, что именно успокоило женщину – может быть, их безобидный вид или объяснения, но слезы ее неожиданно высохли, и она безо всяких предисловий пригласила их к себе.

– Нет-нет! Я вас так просто не отпущу! – заявила она, уже улыбаясь. – У меня все гости останавливаются! Спросите, кого хотите – все скажут, что тетя Настя гостей привечает. А вы издалека да таким делом хорошим занимаетесь. Хоть чаю попьете!

Большаков решил не отказываться, так как надеялся, что сможет подробнее расспросить «тетю Настю» про кенотаф. Ленька, все еще поглядывавший на мотыгу, тоже особенно не возражал – тем более что чай, по словам гостеприимной хозяйки, должен был сопровождаться блинами.

– Сегодня как раз пекла, будто знала, что вы приедете! – говорила она Саше, пока Филимонов пристраивал «девятку» поудобнее рядом с ее избой.

Как узнали друзья чуть позже, жила тетя Настя одна-одинешенька, однако хозяйство держала большое: были и куры, и утки, и даже корова.

– Уж коров-то у нас сейчас никто не держит, а я не могу без своей Метельки. Муж приучил: он у меня только свое молоко признавал, магазинное терпеть не мог. Умер он, хозяин-то, семь лет назад. Оно, может, и к лучшему: нашу Софушку не пришлось ему в гроб класть! – глаза тети Насти опять наполнились слезами, но она спохватилась, запричитала, что держит гостей на пороге и провела их в дом.

В небольшой избе было всего две комнаты, не считая «чулана» (кухни). Войдя, Большаков сразу заметил большой иконостас в переднем углу в зале: там же к стене были прикреплены два больших церковных календаря. На верхней полочке перед иконами стояла лампадка и стаканчик с недогоревшей свечкой.

– Ведь у меня у Софушки день рождения скоро, – сообщила она, зажигая газовую плитку, чтобы подогреть чайник. – Ей бы двадцать один... нет, уж двадцать два исполнилось бы сейчас. У меня и сынок еще есть, старший. Он в Йошкар-Оле живет, работает в ГАИ... Или там как у них сейчас...

– ГИБДД, – услужливо подсказал Ленька и нахмурился.

– Да, да, – закивала головой тетя Настя. – Ему уж тридцать, Паше-то. Он вот всё пытался это дело расследовать, с Софушкой. А чё тут расследовать – сбил их наш же, сельский, Трофимов Петька – у него «УАЗик» свой...

Женщина разлила друзьям чай. Еще до этого она разложила по тарелкам давно ожидаемые Филимоновым блины и достала банку светло-желтого цветочного меда.

– Как же это... произошло с дочкой-то? – Большакову стыдно было возвращать хозяйку к болезненной для нее теме, однако словоохотливая тетя Настя, казалось, только и ждала этого вопроса.

– Пять ведь лет прошло, сынок, а как будто вчера только... Она ведь знаете какая у меня была: ее мой-то всё «Софка-юла» называл. Она ходить, наверное, лет до десяти не умела: всё только бегала. И в школу бегом, и из школы бегом. Учителя нахвалиться не могли. В местной, да, в местной школе училась, – тетя Настя говорила о дочери, улыбаясь. Большакову показалось, что она даже помолодела, словно не было на ее голове старушечьего выцветшего платка, а из-

под него не выбивались пряди седых волос, которые, когда она бежала к ним с мотыгой, почему-то особенно испугали Филимонова.

– Как вот это получилось... У них выпускной был, они ж с Наташкой – неразлучны подружки были. С детства – куда та, туда и другая. Мы соседками были раньше с ее мамкой, а потом они переехали на другую улицу... И вот, знаешь, сынок, ведь у меня... как это сказать? Предвещанье мне было, – тетя Настя говорила, обращаясь, в основном, к Большакову. Но, глядя, с каким удовольствием Ленька уписывает блины, не забывала подливать друзьям чаю и бегала пару раз на кухню за конфетами, хотя Сашка пробовал этому противиться.

– Вот веришь, нет: стала я ей за день до этого выпускного волосы расчесывать. Софушка любила, когда я ее расчесывала: «Ты, говорит, мамка, умеешь, а я нет: у тебя рука легкая». А у нее головка всегда чистая была, волос тонкий, светлый, как лен, а тут я чешу и – как вроде шишечка темненька. Я говорю: «Дочка, да что это?». А она: «Не знай, мамк!». А я как вытащила, так и обомлела: ведь там вошь! Вот жуткое дело! Как орех. А потом еще и еще одна. Я вот полночи не спала, все думала: да откуда ж такая напасть-то? И потом ведь мне подсказали пожилые люди: смертушка, говорят, это ее уже пометила. Вот кабы я знала, сынок! Вот кабы сердце мне подсказало, что это такое! А я их вытащила да и забыла. А через два дня – выпускной. И всё. Нету моей Софушки!

Женщина закрыла глаза руками и разрыдалась в голос. Большаков – сам не свой – несколько раз привставал, не зная, что делать. Ленька насупился, а затем по-хозяйски пошел на кухню и принес оттуда стакан холодной воды.

– Я щас, я водички... Спасибо! – произнесла тетя Настя виновато. – Вы это простите меня! Я всё, больше уж всё, не буду. Выплакаться надо было мне. Одна-то поплачешь-повоешь, а тут люди... И тоже вот ведь расплакалась!

Большаков принялся извиняться и решил, что больше ни за что не вернется к этой теме, но женщина вытерла глаза уголками головного платка и сама продолжила.

– Где-то за дорогой поляна у нас есть, озерцо там, это вот рядом с Уваровской горкой, у нас так называют. Я сама-то там не была, но Софушка с Пашкой – они рассказывали. И вот туда на выпускной они ходят. Ходили вот – как рассвет, что ли, встречать.

Традиция вроде как в школе такая. А Наташкина мать ей, как на грех, велела, чтобы та пришла пораньше. В общем, пошли они назад вдвоем, а там еще не рассвело толком, и сбил их на «УАЗике» Петька Трофимов. Он трезвый-то никогда не был, сколько жил в селе – столько и пил...

Рассказчица замолчала, склонила голову, словно вспоминая что-то.

– А вот памятник-то вы сами поставили?

– Крестик-то? Это я Пашеньку попросила. Он с города привез, там заказывал. Вместе с сыном и поставили. И фотографию Софушкину я туда же отнесла, она уж выцвела вся. Я туда бегаю часто, на кладбище и то реже хожу. Она здесь на местном схоронена. Я, как праздник, и на могилку зайду, и к крестику схожу, конфеток отнесу. Она любила конфетки – особенно вот с мишками, «Мишки на севере».

– А вот фотография ее... – Сашка задал этот вопрос, специально к нему не готовясь: он сорвался с языка сам собой. – Вот не замечали, что как будто меняется она? Как настроение, что ли...

Женщина замерла и внимательно посмотрела на Большакова. Тот смутился, что спросил как-то не про то и не так, но тетя Настя вздохнула и произнесла:

– Бывает, сынок. Как же: придешь, сядешь у крестика-то, поговоришь с ней, а она – улыбается тебе оттуда. Я всегда говорю: не дай Бог никому похоронить свое дитя. Вот мужу-то... повезло. Он पहले Софушки убрался.

Она опять замолчала и медленно обвела глазами стены зала, где чаевничали друзья. Саша тоже невольно посмотрел на фотографии, висевшие в рамках. Композиции, составленные из многих черно-белых и цветных снимков, соседствовали с отдельными портретами. В центре висело изображение уже знакомой Большакову девушки – погибшей дочери хозяйки.

– Снится она мне часто... – произнесла женщина все также тихо и задумчиво. – Вот в последний раз говорит: «Мамк, надоела сладня – конфеты да печенья. Мне бы щец похлебать». И правильно: я ведь таскаю к крестику конфеты и так – знакомым раздаю. А у нас тут на Нижней улице дурачок один живет. Ему хибарка от матери досталась, он и сарай свой, и забор в печке зимой спалил. Как вот бомжи в городе живут, так и он. Я проснулась после сна-

то этого, скорей щей сварила – и прямо в кастрюльке ему сбегала и отнесла. Он похлебал с удовольствием: сам-то худой, а ест как лошадь колхозна. Вот и помянула...

Большаков слушал ее, как замороженный, и, забыв все свои внутренние обещания не говорить больше про погибшую, тут же спросил:

– А еще как она вам снилась?

– Еще? Да по-всякому. Вот с мужем, с папкой своим, однажды мне привиделась. Идут вместе, улыбаются, а я к ним хочу, аж слезами вся умываюсь, как хочу к ним. А они вроде как за речушкой какой-то, – вот у нас тут есть ручеек, вот такой же. Кричу им: «Софушка, дочурка, возьми меня к себе! Помоги, мол, перебраться». А она головой вот так качает, из стороны в сторону, и говорит: «Не ко времени тебе еще, мамк! Рано, говорит». Вот так и живу, милые, так и живу...

Друзья засобирались в дорогу. Ленька так расхваливал блины, что просиявшая тетя Настя завернула им в пакет еще каких-то самодельных плюшек.

– Сгодятся в дороге-то! Уж больно вы мне понравились. Заезжайте к тете Насте, не забывайте!

Их новая знакомая вышла на обочину, провожая их, и Большаков видел ее выцветший платок в зеркало заднего вида до тех пор, пока село не скрылось за поворотом.

– Пятый час уже! – сказал Аркадьич, переключившись на пятую скорость. – В Кирове-то точно квартира будет?

– Будет. Ты только не гони так, а то кенотаф пропустим!

– Как бы нам Киров вместе с твоими памятниками не пропустить! – заворчал в ответ Филимонов, а потом добавил: – Блины у тети Насти замечательные. И она сама – душевная, правда?

В Киров приехали около десяти вечера.

## *Глава 6. Непризнанное открытие*

«Встреча с тетей Настей – показательный пример того, как мало мы знаем о кенотафах. Фотографии без текстов, без рассказов и представлений о том, что это всё означает для родственников и близких, которые устанавливают памятники вдоль обочин, – оста-

нутя лишь пустыми картинками. Изображениями чего-то, что лишено вообще всякого смысла. Или же – что еще хуже – я сам начну это все интерпретировать, в соответствии со своими представлениями о том, как должно быть и как бывает. Вот почему кладут «подношения» около кенотафа? С той же целью, что и на могилах? В какие именно даты посещают «пустые могилы»? В день рождения погибшего, в день гибели, на религиозные праздники или – когда придется и когда удобнее? И это изменение лиц на фотографиях... Что это? Распространенное представление или какое-то уникальное, ocasionальное явление?».

Большаков оторвался от клавиатуры и пошел ставить чайник. Филимонов возился со своим ноутбуком, переустанавливая какую-то программу. Поминутно оттуда доносилось сопение и характерное щелканье языком, которое означало у Леньки высшую степень досады.

Большаков через десять минут вернулся с чашкой кофе. Филимонов даже не обернулся в сторону друга, хотя обычно в подобной ситуации произносилась ритуальная фраза: «А мне не мог налить, что ли?».

Сашка снова уселся за свой полевой дневник (теперь уже не нужно было называть его «Отчетом» для мифического заказчика, но Большаков не любил переименовывать файлы).

– Ты фотки-то наши последние смотрел? – от неожиданного вопроса Филимонова Сашка вздрогнул. Он молча помотал головой в знак того, чтобы Ленька его не отвлекал.

– Нет? А то мне показалось, что и впрямь фотки на одних и тех же кенотафах разные. Освещение, что ли, другое...

Большаков оторвался от экрана и уставился на друга, словно не понимая, о чем тот говорит.

– Разные?

– Ну да. Нам же говорили, что меняется у них там...

Большаков вскочил с кресла, не дав Леньке договорить.

– Где? Показывай!

– Что ты так вскочил-то? – сказал Ленька, довольный произведенным эффектом. – Я ведь и программку поставил, чтобы удобнее было сравнивать снимки. Подожди-ка...

Филимонов несколько раз кликнул мышью, и на экране появилось несколько десятков фотографий в виде «иконок».



– Да сделай покрупнее! – от нетерпения Большаков прикусил нижнюю губу.

Ленька еще несколько секунд колдовал над ноутбуком, и наконец, открылись одновременно два снимка. На левом фотографии на кресте была размещена чуть дальше от объектива, чем на правом. Большаков почти минуту напряженно вглядывался в экран, а затем пожал плечами.

– Да всё одно и то же. Просто свет другой. Позавчера было солнце, а вчера – сплошные облака.

– Подожди, просто здесь не так сильно заметно, – возразил Филимонов и стал открывать новые снимки. – Вот, смотри!

Сашка снова увидел две фотографии одного памятника. Затем лоб его раздвоила скептическая морщинка.

– Ну и?..

– Что? – Филимонов даже приподнялся от разочарования на кровати, на которой полулежал, подобно античному герою. – Неужто и сейчас не видишь?

– Да то же самое! Ленька, ты пойми, наши рассказчики воспроизвели определенное представление, они заинтересованы видеть именно так, а не иначе. Здесь некоторое психологическое состояние плюс суеверие...

– Суеверие! – передразнил друга совсем расстроившийся Филимонов. Его открытие, которым он собирался поразить в самое сердце своего высокоученого товарища, было отвергнуто и растоптано. (Между прочим, у Большакова была кандидатская степень, а на верхней полке его домашнего книжного шкафа пылилась диссертация, посвященная наличникам одного из сел Ульяновской области). – Много ты понимаешь в фотографиях. Ты разуй глаза-то: лица совсем разные!

Большаков махнул рукой и вернулся за свой полевой дневник. Обиженный Ленька молча пыхтел за своим ноутбуком еще часа полтора, а затем уснул, уткнувшись лицом в подушку.

## Глава 7. Ритуальные услуги

Утром за чаем Филимонов предложил другу прогуляться по Кирову.

– Я в Вятке уж не помню когда бывал в последний раз, – говорил Ленька авторитетным тоном человека, исколесившего пол-России по служебным надобностям. – А ты и вовсе не видел здесь ничего!

– Да я не против, у меня как раз задумка была одна...

– Знаю я эти твои задумки! – забеспокоился Ленька. – Снова, чать, свои кенотафы будешь разыскивать.

– Не-е... – протянул Большаков и задумчиво посмотрел в окно на кировские серые пятиэтажки, слегка омытые накрапывающим весенним дождем. – Я хотел бы пообщаться с кем-нибудь из работников местных похоронных контор – ну, кто памятники изготавливают. Ведь кенотафы у них часто и заказывают. Может, расскажут чего-нибудь интересное.

– Это ты без меня, пожалуйста! – сказал Филимонов. – Сам общайся со своими могильщиками, а я лучше по городу поброжу, достопримечательности пофоткаю.

На том и порешили.

\*\*\*

Интернет услужливо направил Сашку по конкретному адресу – на улицу Карла Маркса. Большаков давно уже перестал обращать внимание на то, что в каждом – без исключения – российском городе есть улица имени автора «Капитала». «Осталось проверить, – думал Большаков, поднимаясь по узкой лестнице двухэтажного здания, в котором располагалось МУП «Ритуальные услуги», – в каждом ли городе такие МУПы располагаются именно на Карла Маркса. Ну, если не на Карла Маркса, то уж на улице Бебеля – это как пить дать!».

На первом этаже было два небольших помещения – в одном торговали венками и «всеми необходимыми аксессуарами», в другом стояли готовые гробы – «от самых дешевых до самых респектабельных», как пояснила вошедшему пожилая продавщица.

– А вот изготовлением памятников у вас кто здесь занимается? – спросил Саша, зачем-то налегая на слово «здесь».

– Так вас памяtnички интересуют? – зашебетала продавщица.  
– Это на втором этаже – как подниметесь, налево.

Пройдя по указанному маршруту, Большаков увидел небольшое окошко, рядом с которым на деревянном пюпитре лежала толстая папка. Она была намертво соединена с пюпитром толстой проволокой – видимо, чтобы особенно дотошные посетители не унесли ее с собой. В папке обнаружили образцы памятников и примерный прейскурант цен.

Саша принялся внимательно изучать «фолиант» в надежде обнаружить те типы кенотафов, что им удалось зафиксировать во время их путешествия. И действительно: ему попался так называемый «вазон», то есть черная металлическая подставка на удлиненной ножке, куда обычно втыкались искусственные цветы. Именно так обозначалось место гибели в ДТП на некоторых участках трассы, которые они вместе с Филимоновым преодолели за последнюю неделю.

– Тут не всё, – раздался мужской голос из окошка. – Мы и по индивидуальному заказу можем сделать, если нужно.

– Ага, – отозвался Саша, всё еще не в силах оторваться от просмотра папки. – А вот если нужно м-м... у дороги на обочине памятник поставить. Ну, когда авария...

– Понял, – отозвался голос невидимого мужчины. – Это мы делаем, но вообще-то... Не очень у нас приветствуется такое.

– Это почему же? – поинтересовался Большаков, пытаясь рассмотреть в узком окошке лицо говорящего.

– Ну, как вам сказать: это ведь не совсем законно. Представьте себе, что каждый начнет памятники вдоль дороги ставить. У нас тогда не Россия будет, а одно сплошное кладбище! Верно я говорю? – последнюю фразу Саша услышал откуда-то сбоку. В той стороне что-то звякнуло и незамеченная Большаковым дверь распахнулась. На пороге показался высокий и худой мужчина лет пятидесяти пяти. Он был одет в синий костюм; подбородок его портила трехцветная жидкая бороденка, похожая на флаг какой-то страны.

– А вам вот случалось такие памятники делать? – спросил Саша, сделав шаг в направлении двери. Мужчина смерил его взглядом, затем отвел глаза и сказал:

– Мы делаем, что нам закажут. А куда потом клиенты увозят товар, где и кто там устанавливает – это уже не наше дело.

Большаков понял, что его собеседник испугался вопросов и хочет поскорее завершить беседу.

– Да вы не думаете: я не проверяющий какой-нибудь, я изучаю их. Фотографирую, чтобы узнать, какие вот типы бывают... этих памятников. Ведь их вообще скоро убирать, вроде как, собрались.

– Про это я слышал, – настороженно отозвался мужчина, всё также стоя на пороге своего кабинета. – Только еще неизвестно: может, и оставят всё, как есть. А вам оно зачем?

– Да я... так скажем, ученый. Антрополог или этнолог – вроде того... – засмутился Большаков.

– Антропо-олог, – насмешливо протянул мужчина и вышел наконец-то из сумрака своего кабинета в коридор к Саше. – И что теперь этнографы даже такими вещами занимаются? Что заканчивали-то? На какую тему диссер?

Большаков, не ожидавший подобных вопросов, замешкался с ответом.

– Да я сам в свое время в аспирантуре учился... Вы заходите ко мне, посидим-погуторим, – пригласил он Большакова.

Кабинет напоминал каморку Раскольниковова и явно не предназначался для посетителей. Хозяин уселся на потертый стул, а Большакову уступил свое – нагретое – кресло.

– Лопаткин Василь Васильич, – представился мужчина; Большаков пожал протянутую им руку. – Я учился в местном университете, а в аспирантуру поступил в Питере. По образованию – социолог.

В ответ Саша кратко посвятил нового знакомого в особенности сельских наличников.

– Ничего, тема спокойная и для фантазии в общем-то есть простор, – одобрительно сказал Василь Васильич, и Сашке почему-то стало нестерпимо стыдно за тему своей диссертации. – А я вот писал про самоубийства. «Мотивы девиантного поведения» – что-то такое в заглавии было. Но бросил это дело и, как видите, коротаю свой век здесь. Да, незавидна участь бросивших аспирантуру!

Саша не смог сдержать улыбки, а Лопаткин от души расхохотался над собственным афоризмом. Этот громкий смех показался Большакову неуместным: он вспомнил, чем торгуют внизу. Но затем он понял, что такой смех – часть Лопаткинской манеры вести беседу и быстро свыкся с этой его особенностью.

– Ну, какие у тебя вопросы? Задавай. Поддержку твое научное начинание, – Василь Васильич без всяких ненужных предисловий

перешел на «ты» и положил кулак под свою трехцветную бороденку, насмешливо глядя Большакову прямо в глаза.

– Да вот хотел узнать, как вообще это происходит: вот приходят родственники погибшего, которые хотят заказать эти памятники – мы их кенотафами называем, с греческого...

– «Пустые могилы», это я в курсе, – кивнул Лопаткин.

– Да. Пустые, – подтвердил Большаков. – Когда они заказывают вот эти кенотафы, то сообщают вам, что планируют поставить их не на кладбище, а на обочине?

– По-разному. По-разному это бывает, молодой человек. Иногда говорят, а иногда и – нет. Догадаться, конечно, можно и без особых комментариев. К примеру, вот года два назад женщина приходила: «Мне, говорит, маленькую оградку надо и памятник небольшой, не как по стандарту». Я сразу смекнул, что, скорее всего, не на кладбище она его повезет.

– Почему?

– Была одно время мода небольшие кенотафы ставить. Или вот вазоны просто заказывают. Воткнут туда цветы искусственные, а на следующий год приедут – сменят. Вот и вся недолга.

– А вот с вашей организации не помогают такие памятники ставить? Если попросят клиенты, например? – у Большакова горели глаза от любопытства.

– Глубоко копаешь, Александер! – Василь Васильич снова засмеялся. – Ну, что ж, скрывать не буду: иногда и наши ребята помогают отвезти и установить – за отдельную плату, конечно. Ну, это если родственники сами не могут – мужиков там нет или транспорта своего.

– А беседки не устанавливаете?

– А-а, понял, про что ты. Я тоже такие видел – целый мем-центр соорудят на обочине. Еще и стену из кирпича выложат. И венков повешают. Нет, мы этим не занимаемся – они, наверное, нанимают каких-нибудь других специалистов.

– А вот руль или какую-нибудь другую деталь машины к памятнику не просили прикрепить? – не унимался Сашка.

– Руль? – Лопаткин загоготал так, что Сашка вздрогнул: он не понимал, как в таком тщедушном теле могли скрываться столь выдающиеся способности к смеху. – Руль – это они сами, родственники делают. Ну, насмешил, ей-богу. Я так и представил: «И при-

крутите мне, пожалуйста, руль!». А мы: «За ваши деньги – хоть бампер к дереву прибьем!».

Большаков округлил глаза:

– Вы тоже видели этот кенотаф? Там часть бампера поднялась вместе с деревом?

– Конечно, видел. Я там покатался, слава Богу, не один годок: у меня жена с тех мест. Я ведь эту семью знал, которые там навернулись: отец и сын погибли, а жена выжила – почти ни царапины. Прямо чудо какое-то. Она предприниматель сама – вот и соорудила мемориал, денег не пожалела.

– Они из Кирова были? – Большаков понял, что более подходящего собеседника на эту тему он вряд ли нашел бы – даже если бы исколесил всю Вятку вдоль и поперек.

– Нет, с Санчурска. Ехали с какой-то гулянки, дождь моросил – вот и приехали. Лоб в лоб, как говорится...

Они помолчали.

– Слушай, давай я лучше тебе историю мистическую расскажу про эти кенотафы. Хоть? – предложил хозяин каморки и зачем-то посмотрел на стену. Большаков кивнул.

– Но тут, брат, гляди в оба: я за достоверность не ручаюсь. За что купил – за то и продаю... Дело было лет пять назад где-то на границе с Йошкой. Там по этим дорогам лучше вообще не ездить: ухаб на ухабе, яма на колее. Разбились ровнехонько между селами две машины – уж я там подробностей не знаю, но то место отлично представляю. Холмик такой, и потом сразу поворот. Так вот: родственники погибших поставили два памятникка – один с одной стороны дороги, другой – с противоположной. В какую сторону ехали автомобили – с той обочины и поставили, поделили территорию, так сказать. И вот веришь ли... – тут у Большаковского собеседника затрезвонил сотовый.

Пока Лопаткин обстоятельно объяснял очередному клиенту подробности изготовления памятника, Саша начал бесцельно водить глазами по стенам каморки. На одной из них висела небольшая фотография молодого парня, почти мальчика. Поскольку ничего больше на стене не было, Большаков стал внимательно рассматривать портрет. В мальчишке чувствовалось едва уловимое сходство с хозяином каморки, и Большакова это заинтересовало. Он вспомнил про Лопаткина только тогда, когда в комнате воцарилось гнетущее молчание.

– Ты знал, что ли, его? – спросил каким-то новым тоном Василь Васильич. Большаков отрицательно покачал головой. – Это сынок мой, ему тут всего пятнадцать. Сейчас, наверное, ровесник был бы твой... Так на чем я остановился? Ага. И вот поставили, значит, они эти кенотафы, как ты ни скажешь. И поверишь ли: стали на этом холмике, на повороте этом, люди разбиваться. Вот сезона не пройдет: то на мотоцикле ребята слетят (а там, за холмом, овраг дальше, да), то грузовик перевернется. И жена-то одного мужика – из погибших... Они ведь, забыл тебе сказать, на 8-е Марта за цветами в город торопились – вот и «отпраздновали», как говорится, мама не горюй. Жена-то эта через некоторое время один из памятников убрала. Приехала с братом и – выкопали. Вот такие пироги, Александер.

– Это зачем же – выкопали-то?

– А-а. Вот тут-то вся и закавыка: говорят, «закольцевали» они дорогу-то! Понимаешь? Смотри сюда! – мужчина с трехцветной бородкой схватил со стола блокнот, взял в руки карандаш и двумя быстрыми движениями начертил параллельные линии. – Вот дорога. Затем она здесь изгибается, а тут – холмик этот, будь он не ладен. Один кенотаф поставили здесь, – Лопаткин ткнул в загогулину, изображавшую поворот, – а другой тут, на этой обочине. Одна машина ехала в эту сторону, а другая – в противоположную. И видишь, как получилось? Памятники эти кольцо образовали. Какое-то место нехорошее здесь получилось, участок с негативным прошлым. Понимаешь?

Большаков испытывал то самое чувство подъема и восторга, которое он пережил, слушая рассказ санчурского эстэо-шника о меняющихся лицах на фотографиях погибших.

– Нельзя, стало быть, памятники с двух сторон дороги устанавливать – да еще рядом с таким поворотом. Плохо это... – говорящий замолчал и, подперев рукой бороду, снова взглянул Сашке в глаза.

– Скажи мне, Александр Большаков, – сказал он вдруг строго, почти сурово, – ты ведь знал про Мишку моего, когда сюда шел?

Большаков, испуганный его тоном, покачал головой и невольно еще раз посмотрел на настенную фотографию.

– Я, если чем-то, если что-то не так...

– Да, ладно, это уж не важно, – устало махнул в его сторону

Василь Васильич. – Мишка там и погиб, на этом долбанном холме. Я ему сам, своими руками памятник и соорудил. А про эту историю года два назад наши газетёнки местные писали. Перевертали, конечно, страшно, да я не в обиде... Может, ты и правда не знал. Ты сам-то, говоришь, откуда?

– С Ульяновска.

– Ага. Город Ленина, значит. Ну-ну. Извини, если я... Переживаю я об этом до сих пор так, что передать тебе не могу! – на смешливое лицо Лопаткина сморщилось и сразу постарело. Сашке стало так его жалко, что он почувствовал, как слезы невольно наворачиваются на глаза.

– Я не знал, честно слово! Простите... – сказал он и привстал с кресла, хотя уходить ему не хотелось.

– Да сиди-сиди, – мягко остановил его Василь Васильич. – Ведь я тебе еще не все рассказал. Чаю только вот давай организуем.

Лопаткин привстал и включил электрический чайник, который вскоре зашумел, как старый паровоз. Он опустил пакетик с черным чаем в чистую кружку и пододвинул к Большакову.

– Ты сам наливай кипятку – сколько обычно наливаешь. А то, знаешь, на всех ведь не угодишь: этому мало – до краев лей, а тому и половина – уже много.

Сашка не стал ждать повторного приглашения. Тут снова зазвонил телефон – на этот раз стационарный. Лопаткин отвлекся на рабочие переговоры минут на десять. Большаков за это время с удовольствием почаявничал – в прикуску с конфетами, оказавшимися на столике гостеприимного хозяина каморки.

– Я скоро должен уехать, но дорассказать тебе успею, не беспокойся, – продолжил говорить Василь Васильич, как только положил трубку на прежнее место. – Про Мишку моего хочу тебе рассказать. Никому не рассказывал об этом, а тебе... Я ведь после этих газетных статей в людях разуверился. Но нельзя ведь все время таить в себе... чудо. Да-да, со мной, Саш, чудо случилось. Один раз в жизни, но бывает такое...

Миша оказался приемным сыном Лопаткина. Своих детей у них с женой не получилось, и под старость лет они решили воспитать чужого ребенка.

– Ведь и силы были, и жили в достатке. Вот Маша и говорит: «Ну что, Вась, неужто для себя одних так всю жизнь и проживем?»



На что нам эта квартира и машина?». Черт бы побрал эту машину! – лицо Лопаткина исказилось, и он медленно провел ладонью от лба до бело-черно-рыжей бороды, – так, будто пытался убрать липкую паутину.

– Не связывайся с машинами, Саш! Если не сядишь за руль, то я прошу – и не садись вовсе. Хуже убийц они... Вырастили мы Мишку-то. Шестилетнего взяли из детдома. Мы ведь до-олго приглядывались, раза четыре, наверное, ездили в детдом, «наблюдали», как говорила жена. А потом... Он, Миша-то, как подросток немного да освоился, нам потом сам всё рассказывал: «Как вошли вы, увидел вас в первый раз, так у меня вот здесь больно стало, – и на грудь показывает. – Понял, что за мной приехали. А за кем, говорит, вы еще могли приехать?».

И растили его, и любили. Знаешь, как его Маша любила? Сына родного, наверно, меньше любят. И парень-то золото было. Замкнутый, конечно, но добрый. Вот добрый – таких и не сыщешь: он, когда еще маленький был, мне всё говорил: «Папа, ты, если птичек увидишь на тротуаре – хлебушек они клюют, ты их, пожалуйста, не пугай. Обойди их сторонкой, чтобы не шугались они!».

Лопаткин схватил свою кружку и залпом, как пьют плохую водку, опрокинул в себя остывший чай. Большаков боялся пошевелиться, чтобы не прервать исповедь.

– Он о правах мечтал лет с десяти. Я его всё, дурак старый, баловал – сажал за руль, когда на дачу ездили. Там машин-то почти не было никогда встречных, а ему – за радость... А за Йошкар-Олой – у него подруга жила там, невеста его, Светой звали. Познакомились они в техникуме, дружили очень, да. Поехали в тот день к родителям ее... – Лопаткин прервал сам себя и схватил за руку Сашку. – Ты скажи мне, Саша... Я вот тебя не знаю совсем, а душу свою наизнанку перед тобой выворачиваю. Ты скажи: выйдешь когда от меня, не засмеешься? За дверь когда выйдешь отсюда – не засмеешься?

Большаков до мучительной боли сжал ручки кресла и замотал головой.

– Ладно... Заржи ты хоть в полный голос – прямо за моей дверью, а я тебе все равно расскажу. Потому что не могу иначе. Вот когда разбились они, я уж тебе про это говорил: с той стороны в город ехали местные мужики – за цветами ездили к 8 Марта. А мой-то

Мишка со Светой наоборот – в село направлялись. И когда поставил я ему памятник-то (похоронили мы его здесь, в городе), я ведь стал почти каждую неделю туда мотаться – к кенотафу этому. Вот на кладбище не тянет совсем, а туда – как медом намазано. Машу не возил, нет. Она у меня невыездная стала – после того, как сына схоронили, парализовало ее. Левая рука и нога совсем отказали...

Лопаткин помолчал. Затем он встал и, сняв с гвоздика в стене фотографию приемного сына, положил ее перед собой на стол.

– Вот копию этой фотки на памятник прикрутил. Выпендриваться не стал – индивидуальный заказ, и всё такое. Самый простой соорудил, да. У себя, Саш, в своей конторе и заказывал – чё далеко ходить-то?..

Так вот: стал я такую штуку замечать, Александер. Съезжу к нему, привезу туда и сигаретки, и мандаринов – он их любил. «Новый год, пап, напоминают». Посижу, привет ему от мамки передам, поговорю с ним. И взгляну на фотографию-то, а он там – как пион красный цветет. Улыбается мой Мишка, будто живой. Я приеду и Маше рассказываю: так, мол, и так, привет передал, мандарины положил. А вот случится у меня на работе запарка, или с Машей плохо – ну не вырваться, вот хоть в лепешку разбейся! Пропущу неделю, вторую, третью. Приеду туда – а он аж серый. Весь посе-реет с тоски-то...

Лопаткин вскочил со стула и бросился к вешалке, где висела его куртка. Как он ни пытался скрыть это, Большаков не мог не заметить крупные, как градины, слезы, бегущие по его щекам. Борода его вдруг утратила свое трехцветие и стала желтовато-серой, как мокрая марля.

Саша тоже накинул куртку, и они вместе вышли из каморки. Василь Васильич закрыл дверь на ключ и повернулся к стоявшему возле лестницы Саше.

– Ты, Саш, иди, мне тут еще по работе надо кое-что...

Большаков сделал несколько шагов в его сторону и, протянув руку, попрощался. Когда он уже почти вышел из входной двери МУП «Ритуальные услуги», Большаков снова услышал голос Лопаткина.

– Ты хоть телефон, что ли, оставь свой! – хозяин каморки протянул ему потертую записную книжку и карандаш.

## Глава 8. Ночные переживания

Как потом говорил сам Большаков, та ночь в Кирове стоила ему, по разным подсчетам, несколько миллионов нервных клеток. Он вернулся в квартиру, которую они сняли на двое суток, в пятом часу вечера. Сотовый у Леньки некоторое время прозванивался, но трубку Филимонов по непонятным причинам не брал. К часам семи на все звонки Большакова начал отвечать равнодушный, но приятный женский голос, повторяющий, что «абонент отключен или находится вне зоны доступа сети».

Судя по тому, что их «девятки» во дворе не было, Ленька до сих пор колесил по городу. Однако когда совсем стемнело, Сашка всерьез забеспокоился. Он взялся за книгу, но в голову лезли всё такие глупые и тягостные мысли, что в конце концов Большаков сдался и отправился на улицу. Часы показывали уже одиннадцатый час вечера.

– Он – вполне взрослый человек, к тому же мужик. Чего мне за него переживать? – пытался успокоить себя Большаков, бесцельно шагая вперед по редко освещенным улицам спального района Вятки. Но смутный страх всё сильнее разрастался в нем, пока не принял довольно-таки четкие очертания красного «фиата».

«А что если они пасли нас до самого Кирова, а затем улучили момент, когда мы разделились – и прихлопнули где-нибудь на окраине города бедного Филимонова? – пугал самого себя Большаков, подслеповато щурясь в сторону редких и темных фигур прохожих. – Что я скажу Лене, когда вернусь в Ульяновск? Да она из меня за своего Якубовича душу вытрясет – и будет права. Я и только я отвечаю за все это!».

Саша еще раз набрал номер Леньки, но в ответ услышал все тот же приятно-равнодушный женский голос.

«В любом случае далеко уходить нельзя, так как ключи от квартиры у меня, а запасных нет. Надо возвращаться!» – решил Большаков и поплелся назад. Вернувшись, он внимательно осмотрел весь двор и, не найдя знакомой «девятки», поднялся в квартиру. Когда он открывал дверь, сотовый подсказал ему, что наступила полночь.

Сашка включил свет, поставил чайник и начал ходить из угла в угол.

– Ну куда этот черт поперся в незнакомом городе?! – ругался он вполголоса. – Что мне – морги обзванивать? Точно – надо в полицию обратиться! Если он попал в ДТП, мне по номеру машины подскажут – должна же быть у них эта информация! Или же сразу в ГИБДД позвонить? Так не работают они, наверное, в первом часу ночи-то...

В квартире был стационарный телефон. Прождав еще полчаса, он набрал «02». Голос на том конце провода глухо произнес: «Дежурная часть. Слушаю». Сашка, как мог, перескакивая с пятое на десятое, описал печальное положение, в котором оказался он и его друг.

– Семьдесят третий регион, значит? – уточнил голос и попросил подождать. Потекли тягостные секунды ожидания, затем полицейский произнес: «Ничего нет. По крайней мере, у нас ничего на этот номер автомашины нет. Подождите до утра – сам найдется, может быть!».

От последней фразы повеяло человеческим участием, и это немного успокоило Сашку.

«Да если б не этот «фиат» – я бы даже и не волновался. Ну, заехал куда-нибудь. Говорил же он, что бывал уже в Кирове – вот и затусовался где-нибудь. Утро вечера мудренее, однако!».

Большаков, не раздеваясь, улегся на диван и попробовал задремать. Уже в третьем часу ночи ему послышался звук пришедшей смски. Он подскочил, как будто только и ждал этого. Сообщение было от Филимонова.

«Я с фиатчиками. Ул. Красноармейская, 2». Всё. Больше ни запятой. В ответ на Большаковский звонок – снова приторный голос, говорящий про недоступность абонента. Сашка совершенно не помнил, как выбежал на улицу и долго искал между уличных фонарей, у кого бы уточнить расположение Красноармейской. Затем он сообразил про такси и минут 15 стоял на ближайшей автобусной остановке, коченея от страха за погубленную судьбу Ленки и жалея о собственной еще столь юной жизни.

О повторном звонке в полицию он не думал, главное было сейчас добраться до Красноармейской. Наконец, приехало такси, и Сашка забрался на переднее сиденье. Водитель попался не из разговорчивых и, когда Большаков назвал адрес, лишь промычал в ответ что-то неразборчивое. Глядя на мелькавшие за окном тусклые

многоэтажки ночного Кирова, Сашка немного забылся и, как ни странно, успокоился.

– На Красноармейской – там сейчас круглосуточно, что ли? – пробудил его от оцепенения голос таксиста. Это был грузный мужчина лет сорока; говорил он с едва заметной леностью в голосе, которая, по наблюдениям Сашки, была характерна для всех таксистов.

– Что – круглосуточно? – спросил Большаков, к которому в мгновение ока вернулось прежнее эмоциональное напряжение.

– Да там, вроде, кафе или ресторан – на Красноармейской... – сказал водитель и широко зевнул. – А время-то уж четвертый час утра.

– Ресторан? – Сашка судорожно пытался собрать обрывки предположений и мыслей в нечто единое. Он помолчал еще некоторое время и спросил:

– Далеко еще?

– Да через два перекрестка. Вас ждать там или как?

– Нет. Да. Нет, не надо! – пробормотал Большаков, который решил, что если они с Филимоновым в эту ночь останутся живы, то надо обязательно сходить в церковь – свечку в благодарность поставить.

Их автомобиль подъехал к одноэтажному зданию, по обе стороны которого возвышался небольшой решетчатый заборчик с затапливающими мигающими светодиодными украшениями. Окна ресторана были затемнены. Кругом было тихо.

– Да там уж закрыли, наверно! У нас же тут не столица! – сказал таксист.

– Это точно второй дом? – спросил бледный Большаков. – Вы тогда подождите меня. Минут пять, не больше.

Таксист буркнул в ответ два или три слова – Саша расценил это как знак согласия. Подойдя к двери ресторана, он сразу понял, что заведение закрыто. Не зная, что делать, Большаков пару раз стукнул в дверь. На удивление быстро в затемненных дверях показалась чья-то фигура. Разговор с охранником получился сумбурным, но главное Сашка все-таки понял: Филимонов здесь был и был не один.

– Они тут напились порядочно. И уехали. Вон «девятку» только оставили, по-моему! – охранник кивнул в сторону. И толь-

ко тогда Большаков разглядел в мигающем освещении ресторана Ленькину машину. Он кивнул охраннику и почти бегом ринулся к автомобилю. Как и следовало ожидать, Филимонова там не было.

\*\*\*

Первое, что сделал Большаков, когда проснулся – нащупал содовый. Сообщений никаких, за Филимонова по-прежнему отвечал автоинформатор с нежным женским голосом.

Когда Сашка чистил зубы, он вспомнил, что уже в 12 часов дня их попросят освободить квартиру. Можно, конечно, было бы арендовать ее еще на сутки, но, во-первых, деньги на исходе, а во-вторых – по всем планам, они должны уже были на всех парах мчаться домой: отпуск не резиновый, растянуть его не получится.

«А что если Филимонова уж и в живых нет?» – щетка во рту невольно остановилась и Большаков сплюнул белую пену в раковину. Ему нестерпимо захотелось ругаться, и он почувствовал, что готов на самые отчаянные поступки – ездить по моргам, писать заявления в полицию, бродить по улицам Кирова и взывать к имени Филимонова в надежде, что...

«Надо снова ехать к ресторану! – пришла к нему в голову спасительная мысль. – Если Ленька жив, он вернется к своей «девятке» даже в искалеченном состоянии...».

И в это самое мгновение оглушительно зазвенел домофон. Подняв трубку, Большаков со страхом услышал утробно-хриплый голос Филимонова. Он открыл входную дверь и стал ждать его возле лифта. Как показалось Сашке, терпким запахом чудовищного перегара запахло еще до того, как двери лифта распахнулись. Увидев опухшее, но просветленно улыбающееся лицо Филимонова, Сашка с нахмуренным видом последовал в квартиру. Ленька плелся сзади и был пьян настолько, что едва связывал слова друг с другом. Большаков, всё так же нахмуренный, ушел на кухню.

Стаскивая с себя одежду, Филимонов слышал, как тот договаривался с хозяйкой квартиры о том, что они заплатят еще за одни сутки. Затем везде наступила тишина, иногда прерываемая храпом Леньки, неспешными звуками проснувшегося Кирова и энергичными ударами о клавиатуру ноутбука Большакова.

## Глава 9. Возвращение

С одной стороны, история про то, что же случилось в ресторане на Красноармейской, до сих пор имеет множество белых пятен. С другой – не прошло и нескольких дней, как она обросла такой бездной невероятных и таинственных деталей, что, когда Филимонов в очередной раз принимался описывать свою почти апокалиптическую встречу с фиатчиками, Большаков иногда просто от него отмахивался.

– Ты даже не представляешь, какие это люди! Зо-ло-тые!.. – так начинался первоначальный Филимоновский рассказ. Но чем больше проходило времени, тем все более опасной представлялась сама эта встреча. Соответственно, менялась в устах рассказчика и оценка фиатчиков.

Когда они уже были на полпути от дома, в описаниях Леньки появились обороты «сумел насилиу уйти», «черт знает, что у них было на уме» и «ножи у них точно были, вот огнестрельного не видел – может, просто не заметил». В итоге благодаря существенным интеллектуальным усилиям и большому опыту в деле реконструкции мифологических основ фольклорных текстов Большаков сумел составить верную (как он думал) картину произошедшего.

Скорее всего, фиатчики действительно следили за ними от Йошкар-Олы до самого Кирова. Впрочем, не исключено, что они натолкнулись на Ленькин автомобиль уже в Вятке. Сейчас это уже было не столь важно. Подошли они к нему, когда Филимонов фотографировал фонтан в центре города.

– Ты б их видел: два здоровых татарина – кровь с молоком. Я сначала не понял, чё им вообще надо. «Разговор, говорят, есть». Ну, разговор – так разговор. Я поговорить всегда не прочь. А как увидел их красный «фиат» рядом с моей «девяткой», так всё, думаю, не быть тебе отцом, Филимонов, похоронят под Вяткой в безымянной могиле!

Просто так беседовать они отказались – «слишком серьезный предмет для обсуждения».

– Это я тебе дословную цитату даю. Со ссылками на первоисточник, как ты любишь! – почти кричал воодушевленный своими воспоминаниями Ленька, держась за руль. Они решили на обратном пути не фотографировать кенотафы, поскольку уже совсем не

осталось времени. Так что Филимонов придерживался своих обычных 100 км/ч, притормаживая только в населенных пунктах...

Итак, молодчики сели в «фиат», Филимонов – в свой автомобиль, и машины гуськом последовали к ближайшему заведению.

– Я сразу понял, что убивать не будут: иначе зачем же они позволили мне сесть за руль «девятки»? – говорил в первоначальной версии текста Ленька. Затем это место было отредактировано и заменено на следующую фразу: «Да я б все равно на своей шушлаечке от них не ушел – куда мне с фиатом тягаться? Вот они и говорят мне: «Садись, мол, поехали перекусим. Ибо серьезный предмет для разговора!»».

В ресторане после двух-трех рюмок Ленька, по всей видимости, полностью утратил стеснение, свойственное малознакомым людям, и выложил, как мог, цели их кенотафии.

– Я им говорю, – вот как ты, Сашка, тете Насте, помнишь, излагал? Вот и я: «Сохранить пытаемся ценное культурное наследие от посягательств государственной власти!». Ты бы видел, как они расцвели после этой моей фразы! Все-таки слова нужно правильно подбирать – тогда и выживешь в любой ситуации! – настоятельно рекомендовал Ленька Большакову.

Выяснилось, что загадочные преследователи к кенотафам имеют самое непосредственное отношение.

– Короче, люди это, понятно дело, не простые. Бандюги не бандюги, но ребята очень серьезные. У них то ли родственник погиб в аварии, то ли их авторитет какой-то – где-то на границе с Ульяновской областью. Они ему не то что кенотаф – Ленинский мемцентр отгрохали! Кажись, Сашка, мы его фоткали, иначе как бы эти фиатчики нас засекли? И ты представляешь: они тоже в курсе, что убирать эти памятники с обочин собрались!

По словам рассказчика, в связи с «перспективой ликвидации» таинственные собеседники Филимонова организовали чуть ли не круглосуточное дежурство возле своего кенотафа.

– Может, они фанатики какие-то – кто их знает. Мы, говорят, с оружием в руках готовы отстаивать память нашего товарища! Я вот припоминаю, они даже про какие-то «горячие точки» говорили – участник он, мол, какого-то конфликта, погибший-то этот. В общем, благородства в них этого бандитского – выше крыши. И вот как заметили-то они нас, фотографирующих памятники, – решили,



что мы и есть главные враги всего благородного человечества. Дескать, сначала сфоткаем, а потом и ликвидируем!

Главное, что спасло друзей – то, что фиатчики по неведомой причине решили, что убраны будут не все памятники.

– Вот представляешь, какие фантазии в голове у людей могут роиться? – разводил руками Леньки, а потом снова хватался за руль, увидев летящую навстречу машину. – Им вдруг взбрело в голову – это уж, наверное, потом, после того, как эти олухи снесли нам дверь, – будто бы от нас, от того, как мы сфотографируем, как составим и опишем нашу «базу фотографий» (это их слова!) и будет зависеть в итоге, какой кенотаф снесут, а какой – оставят. Ну? Не олухи ли Царя Небесного? А?

Сначала Большаков, убаюканный мерным журчанием нескончаемого Ленькиного повествования, не придавал этому эпизоду походов Филимонова должного значения. Смутные предположения о чем-то большем начали тревожить сердце Сашки, когда Филимонов, всегда щепетильно относящийся к расходам за дорожный харч и бензин, вдруг принялся сорить деньгами направо и налево.

– Всё, Большаков, баста! Назад поедем, как короли – шашлык отборный из баранины. Да и вообще – ну, эти забегаловки! Давай для обедов попримечнее места выбирать!

Когда же вместо обычной квартиры Ленька неожиданно начал настаивать на «хорошей гостинице» – и чтобы класса «люкс» – не меньше! – Большаков понял, что его предположения не беспочвенны. Затем они сидели за ужином в снятой чебоксарской квартире (сопротивление Сашки против гостиницы было просто героическим), и Ленька провозгласил тост: «За последнюю ночь перед возвращением в родные пенаты!». После того, как они выпили по рюмке, Большаков сказал:

– А теперь выкладывай начистоту – где взял деньги?

– Ну что значит – взял? – по-театральному обиделся Филимонов. – Я просто не стал отказываться! Ты бы видел этих парнишек – им попробуй отказать! К тому же – надо же как-то компенсировать и оторванную дверь, и вообще...

– И вообще?

– Ну да: про своего мифического заказчика ты мне злостно наврал. От тебя денег я все равно не возьму. А тут – просто манна небесная. Компенсация за все наши страдания-мотания!

– Да какие страдания?! – Большаков встал и приоткрыл окно на кухне, где они сидели. – Я гляжу – ты так исстрадался, аж рожа лоснится. Жена скажет, что на курорте был!

Ленька налил еще по полрюмке.

– Ты хоть знаешь, что у бандитов брать деньги – себе дороже выйдет? Скажи точно, что они потребовали за них?

– Да в том и дело, что ничего. Просто ничего не нужно делать! В том смысле – чтобы их кенотаф так и остался на прежнем месте!

– Тьфу, блин! – Сашка вскочил и попросил у друга сигарет. Они вышли на балкон.

– Да что ты кипятишься, Большаков! Ну, откуда они узнают, что мы никак с этим не связаны? Останется их памятник на прежнем месте – никто его не тронет еще сто лет. А мы хоть как люди вернемся – машинуотремонтируем, женам подарки купим! Ну? – Филимонов посмотрел в глаза другу.

Большаков молча курил. Затем уточнил, сколько именно дали денег. Узнав, что сумма совсем не такая большая, как можно было бы подумать по поведению Леньки, он немного успокоился.

– Машину смени. И номер лучше другой поставь на нее – для безопасности, – говорил Сашка другу, когда они уже лежали в зале на привычных местах: Филимонов на широкой кровати, Большаков – на узком диванчике. Почти во всех квартирах, которые они снимали, присутствовала именно такая мебельная композиция.

– Да посмотрим... – махал рукой в темноту квартиры беспечный Ленька.

Затем, когда Сашка уже почти заснул, он услышал, как заскрипела Филимоновская кровать. Раскрыв глаза, Большаков увидел, что Аркадьич сидит и смотрит в окно.

– Знаешь, что, Саш?

– Ну?

– А мне эта поездка понравилась! Ей-богу, если еще кенотафить будешь – зови! Душевно, получилось, правда?

Через несколько минут со стороны кровати Филимонова слышался привычный храп. Саша долго возился на жестком диване, и всё никак не мог заснуть. Затем он накинул рубаху и вышел на застекленный балкон. Их очередная квартира находилась на восьмом этаже. Окна выходили на широкую дорогу, за которой была видна узкая полоска какого-то парка. А за ним светился мерцающий ночными фонарями город.

Большаков закрыл глаза и перед его мысленным взором потянулись обочины бесконечных российских дорог, на которых то там, то сям проглядывали кресты и небольшие памятники.

«Господи, а сколько ведь еще тех, чье место гибели никак не обозначено! Ставят ведь кенотафы далеко не всем. Погиб человек, увезли на кладбище, а дальше – гибнут следующие. Иногда на тех же самых местах. Главное здесь – не закольцевывать дорогу, как говорил Василь Васильич. Как приедем в Ульяновск, надо помянуть их всех. Обязательно. Тех, чьи памятники мы сфотографировали, и тех, чьи кенотафы мы никогда не увидим...».

Почувствовав, что замерз, Саша притворил балконную дверь и забрался под одеяло на свой диван. В ту ночь ему снился какой-то сумбур: он видел тетю Настю, которая, улыбаясь, переходила вброд небольшую, но быструю речку. Затем снова жал руку Лопаткину, прощаясь на ступенях возле его кабинета.

А еще под самое утро ему привиделся большой необработанный камень, на котором висела прикрученная табличка. Рядом с валуном играли дети – их было человек десять. Большаков хотел во сне подойти к камню поближе, чтобы сфотографировать, что написано на табличке, но дети его не пускали.

– Ну его, этот камень! – смеялась одна из девчонок, у которой за спиной краснел школьный рюкзачок. – Пойдем, Саш, лучше с нами поиграем. Успеешь сфотографировать-то!

Большаков с девчонкой идти совсем не хотел, но детей было много, они все тянули к нему свои руки, и он не смог им отказать. Возле этого камня он так и проиграл с ними до самого утра.



## Мастер-класс

– Да, да. Это самый популярный вопрос. Мне его часто задают, и я, кстати, люблю на него отвечать. Почему? Да потому что всем нравятся хорошие истории, мы фактически целыми днями напролет только и занимаемся тем, что слушаем-смотрим или рассказываем-показываем. Откройте книгу или сайт, включите телеящик, сядьте позавтракать со своими близкими или перемойте косточки вашему начальнику в дружеской беседе с коллегами. Что вы делаете во всех этих случаях? Правильно. Соприкасаетесь с историями.

Вот вы меня спрашиваете: как я начал свое дело? И в ответ ждете историю. Пожалуйста. Ноу прблемс, как говорят американские проповедники.

В России «бюджетник» – понятие столь же широкое, пустое и многозначное, как, к примеру, «региональная идентичность» и «толерантность». Кто работал в домах культуры, библиотеках, учительствовал или ходил в белом халате по замызганному кафелю поликлиники – тот отлично знает, о чем я говорю.

У меня было еще интереснее: я работал контент-менеджером в одном официозном издании. Пояснять, что такое «контент-менеджер» надо? Нет? Тогда Гугл вам в помощь...

Ну, если коротко, я должен был каждое утро к восьми нуль-нуль приходить в самое центральное здание самой центральной улицы нашего городка, пикать синим пластиковым пропуском в турникет и, усевшись в серое офисное кресло, заполнять официальный сайт всякой хренью. Ну что-то наподобие: «Сегодня в рамках очередного мероприятия был дан старт очередному проекту. В ходе торжественного открытия Такой-то Такойтович высказал слова благодарности, адресованные собравшимся...». И так далее. Знакомо?

Тут ошибиться сложно. У этих текстов одни и те же легко узнаваемые приметы – как синяки под глазами у женщины, живущей с мужем-алкоголиком. Если натыкаетесь где-нибудь на словечки и обороты: «партийный проект», «в рамках», «в ходе», «в преддверии» или «не секрет, что...» – знайте, что это – они, четкие признаки текстов, выbleванных армией контент-менеджеров.

Я работал там семь лет. Семь лет – идеальный срок, время,

когда у ребенка просыпается какое-то самосознание, рефлексия. Ну не просто там вопросы из серии: «А на хера?». Нет. Поглубже, посерьезнее.

В офисе, где я нажимал белые клавиши клавиатуры в окружении еще троих таких же счастливиц, были большие окна. Светлые, чуть ли не до пола – закрытые вертикальными полосками пыльных жалюзи. Вечером я поднимался с серого кресла, вставал на задеревеневшие, затекшие от многочасового геморройного сидения ноги и глядел через щелки жалюзи на постепенно падающее за горизонт солнце. Мы часто торчали в офисе допоздна, потому что к вечеру у тех, кто заказывал тексты о «в рамках» и «в преддверии», просыпалась нездоровая активность.

– Сашка, ты веришь в энергетических вампиров? – не раз спрашивал у меня Лешка Рубцов, html-верстальщик и мой неизменный соратник по курилке. Наведывались мы туда раз в полтора часа, дымили друг на друга и жаловались на жизнь.

– Да не очень. А что? – вяло отвечал я, заранее зная, что услышу от него.

– Была тут у нас одна – руководителем аппарата работала. Сухая, как доска, похожая на воблу и лису одновременно. Вот с ней поговоришь и чувствуешь, как энергия из тебя ручейком так и бежит, так и льется... – говорил Лешка и блаженно щурился, словно вспоминал о самом приятном. А у него из приятного – известно что: напарница по верстке Наташка Бехерева.

– Да этого добра у нас навалом, – соглашался я. – Это ты тут сидишь целыми днями, в экран пялишься, а я, извини за выражение, еще и на ме-ро-при-я-ти-я хожу. Вот знаешь, Лешка, что такое эти самые «ме-ро-при-я-ти-я»? Это когда собираются в одном месте штук тридцать-сорок, как ты ни скажешь, энергетических вампиров и – давай! Пошли чесать языками про стратегическое развитие, патриотическое воспитание, инвестиционную привлекательность и тому подобную лабудень. А тебе не просто уши развесить надо, а запоминать-записывать – для того, чтобы потом контент нарисовать. Вот тут уж не ручейком, тут энергия от тебя к ним речным потоком льется!

Рубцов выдыхал дым, сочувственно кивал головой, и мы с ним возвращались на свои рабочие места. Он – чтобы играть «в шарики» или «танчики», а я – чтобы вбивать контент в поддерживаемый им веб-ресурс.

\*\*\*

– Да, простите, я отвлекся немного. Сейчас самое время рассказать о встрече, перевернувшей всю мою жизнь. Знаете, я на своих бизнес-тренингах и мастер-классах часто этот оборот использую – «перевернувшей всю мою жизнь». Аудитории нравится...

А ведь, если по-честному, никакого переворота и не было! Нет, встреча, конечно, была, но вот переворота... Изменения начались еще до того, как я познакомился с Черновым. В общем, как часто повторяют плохие ораторы, расскажу всё по порядку.

Вы в чудеса верите? Нет, я серьезно. Я не про шапку-невидимку, мгновенное исцеление от рака или зеленых человечков, похитивших вашего соседа по лестничной площадке. Я – про совпадения. Неожиданное исполнение желаний. Вот приведу только один пример – самый будничнейший и обыкновеннейший. У меня друг – Паша Емельянов, он от бизнеса далек, наукой занимается – так вот он всегда говорит, что стоит ему в уличных вывесках заметить ошибку в каком-нибудь слове, так потом это слово попадается везде, куда ни глянь – и в книге, и в газете, и по телеку что-нибудь ляпнут, близкое к этому.

Я ему говорю: «Паша, ты настроился просто, мозг включил на определенную волну, вот он у тебя и выхватывает из реальности только то, что тебе хочется видеть». А он в ответ: «Ты прав лишь наполовину. Мозг точно настроился – это очень важно. Но не он выхватывает, а сама реальность начинает под этот настрой перестраиваться». Гуманитарий, одним словом, – много ли с него возьмешь?

Короче, закавыка-то вся в том, что до встречи с Черновым я тоже иногда сталкивался с подобным. Подчиняешься какому-то внутреннему голосу, интуиции – и на тебе, совпадает до мурашек по спине. Помню, покупаю я однажды билет на самолет, а внутри – как тяжелое похмелье какое-то. Вот нехорошо на душе и всё тут. Маялся-маялся, а потом по электронке отменил заказ на этот рейс. В 2015 году помните самолет разбился – в Питер из Египта летел? Ага. Он самый.

Я это всё к чему говорю? Не для того, чтобы свою историю приукрасить, у нас мастер-класс вообще про другое. Мне просто хочется, чтобы вы поняли, что я пережил, как я вообще попал из бюджетников в разряд людей, которые принадлежат сами себе. Вы

ведь за этим сюда пришли, так ведь? Научиться делу. А что может быть лучше конкретного примера?

Чернова я впервые увидел так: твердый и решительный стук в дверь, я даже не успеваю ответить, а на пороге уже проявляется мужичок. Вот это слово больше всего к нему подходит: чисто выбритый, подвижный, худощавый ртуть-мужичок. Сколько ему лет – непонятно: вроде бы виски седые, а усы – черные, как монитор Славки Овчинникова – моего соседа, чей стол напротив. В руках у неожиданного гостя – аккуратная сумка а ля сундук.

– Медом интересуетесь?

Я пялюсь на него и не могу сообразить, как его могли пропустить через турникет на первом этаже. Кто его знает, может, он с охранником в тесной дружбе пребывал? В офисе тогда никого, кроме меня, не было – такое нечасто, но случалось.

– Медом? Нет, мне не нужно.

– А зря! – говорит этот типчик, и я не успеваю глазом моргнуть, как он уже выставляет свои пластиковые контейнеры на Славкин стол. – Вы свои мешки под глазами видели? Вам бы гречишного и донника взять. По столовой ложке под язык – вечером и утром. Иной жизнью заживете, молодой человек!

А мне надо срочно писать очередной пресс-релиз – кровь из носа, вынь да положь! Приезд иногородней делегации по обмену премудростями в сфере авиапрома. У меня тот день вообще суматошный был: «Саша, туда, Саша, сюда! Саша, это слишком дурацкий заголовок! Саша, это что за фотографию ты поставил?» – короче обычный, повседневный дурдом. А тут этот нарисовался – с медом который.

– Уберите, – говорю, – пожалуйста. Меня это совсем не интересует! Да и денег сейчас лишних нет. И мед я не люблю совсем.

– Как же можно любить или не любить, если вы меда нормального в своей жизни не пробовали ни разу? – качает головой чисто выбритый мужичок. – Вы, наверно, и молока-то настоящего не пили. Я вам образцы оставлю, это бесплатно. Там визитка моя: «Пасека Чернова Виталия Ивановича».

И испарился из кабинета. А две пластиковых квадратных баночки остались – в одной что-то коричневело, в другой – по-солнечному желтело.

Я пожал плечами и продолжил стучать белыми клавишами.

«– В случае реализации наших амбициозных планов авиационный кластер в регионе перейдет на качественно новую ступень развития, – подчеркнул директор предприятия...» – на автомате отбивали глупую дробь мои пальцы, а на мысленном экране то и дело показывалось усатое лицо пчеловода.

Я прервался и потянулся за желтым куском картона, лежавшим на крышке одного из пластиковых контейнеров. Простая надпись на визитке: «Пасека Чернова В.И.» и внизу – номер сотового телефона. В левом верхнем углу – изображение забавной пчелы, наполовину спрятавшейся в одуванчике.

«По словам заместителя главы департамента промышленности и транспорта, возросшее число заказов – яркое свидетельство правильной инвестиционной политики, ориентированной на...» – пальцы снова прерываются, сами собой тянутся к чайной ложке, торчащей из кружки с недопитым кофе. Пластиковая баночка с желтой начинкой вскрыта, и – под языком начинает медленно таять смесь солнца, полевого разнотравья и свежего воздуха.

«Иной жизнью заживете, молодой человек!» – вспоминаю я слова торговца медом и вздрагиваю. По инерции направляюсь в сторону курилки, там распечатываю пачку вишневого «Марко Поло», верчу сигарету в руках и засовываю ее обратно. До сих пор не могу вспомнить, дописал ли я в тот вечер чертов пресс-релиз про авиационный кластер. Но, видимо, да, на автомате достучал, иначе мне бы не миновать звонков на сотовый.

Я унес медовые образцы домой, а уже через месяц подал заявление об увольнении по собственному желанию на стол своего начальства. Контент-менеджер в считанные недели превратился в помощника пчеловода. Да, именно так всё и произошло. Но что это был за месяц!

\*\*\*

– Как? Я не говорил, что я к тому моменту был уже женат? Нет? Ну, это большое упущение с моей стороны. Не знаю, почему, но успешные бизнесмены всегда рассказывают на мастер-классах о семьях. Демонстрируют фото своих маленьких детей – например, умильные обнимашки с малышами на фоне природы. Это в тренде, модно – в общем, это как-то настраивает аудиторию на положи-



тельный лад. Я фото детей показывать не буду, но ребенок у меня есть. Да, девочка – шесть лет.

Так вот. Жена, в принципе, меня и спровоцировала: «Ах, какой хороший мед! Позвони, закажи еще баночки три – я маме отвезу».

Но я вру, конечно. Тут – другое. Я после того, как Чернов объявился у меня в кабинете, полночи без сна пролежал – с боку на бок проворочался. Вот не идет он у меня из головы – и всё тут! Хоть ты тресни. Почувствовал я что-то такое важное, теплое, какое-то... медовое в душе. В конце концов вскочил с кровати, пошел на кухню, зачерпнул чайную ложку донника и – под язык. Тогда только и заснул – яко младенец.

А наутро жена мед попробовала и давай меня теребить: «Саш, позвони, закажи у него, у пчеловода твоего, еще несколько баночек». Я про себя думаю: «С каких это пор он “моим” сделался?». Эх, как она потом жалела о том, что попросила меня позвонить ему! До сих пор думает, что, если бы не она, – остался бы я на всю жизнь предсказуемым и понятным контент-менеджером. А я уверен в другом: чудеса, господа-товарищи, случаются. Надо, как говорил мой друг – ученый Пашка Емельянов – просто мозг правильно настроить, и реальность изменится сама собой!

Я в тот же день Чернову и позвонил: «Так, мол, и так. Вы заходили, оставили образцы. Хочу приобрести еще». А он и говорит: «Вы тот самый молодой парень – с синими мешками под глазами? Э-э, нет! Так дело не пойдет!».

Я опешил и даже сразу не нашелся, что ему ответить. «Как? Почему не пойдет?» – спрашиваю. «Как вас зовут? Сашей? Саша, мне в эти выходные 70 лет исполняется, круглая дата, так сказать. И вы хотите, чтобы старый человек на ваш третий этаж тащился и принес вам меду – на блюдечке с голубой каемочкой? И где здесь здоровье? Чему вы научитесь? Съедите этот мед, а там снова – за старое? Нет и еще раз нет! Давайте лучше так: у меня есть пасека, всего километров 150 от города. В великолепном месте! Зброшенное село, там пешочком пройтись – мило дело: холмы, лес, речка, свежий воздух. Кра-со-та! Вместе с вами накачаем свежего разнотравья, посмóтрите хоть, как это желтое золото добывается. Ну, согласны? В эти выходные?».

Я молчал и глупо улыбался в трубку. В выходные? В заброшенное село? Желтое золото? И это – после банального вопроса о покупке полутора килограммов меда?

«Я подумаю, – бормочу я наконец. – Тут у меня все-таки планы. Неожиданно как-то...»

«Какие такие планы, Саша? У компа торчать? Бросьте. Вся рабочая неделя будет впереди. Настучите еще вашими пальцами о белые клавиши!» – я прямо-таки вздрогнул оттого, как точно, почти дословно он воспроизвел мои потаенные мысли.

«Ну ладно! – выдавливаю я и продолжаю глупо улыбаться. – Я позвоню вам вечером в пятницу, договоримся, если я свободен буду».

«Да, конечно, будете свободны! Всё, замётано. Жду вашего звонка в 20 часов по Москве. Просьба не опаздывать: я ведь бывший военный – у меня всё четко должно быть!» – и короткие гудки в трубке.

Вот так занятный мужичок... «Бывший военный». Час от часу не легче.

\*\*\*

Сиденья бордовой «семерки» едва уловимо пахли чем-то забытым и приятным. Только уже на обратном пути я понял, что черновская машина насквозь пропитана запахом «пчелопродуктов».

– Саша, вот ты думаешь: «Пчелы – это только мед? Так?». А это совсем иное. Пчелы – это и перга, и маточное молочко, и прополис, и забрус. Знаешь, что такое забрус? Вот когда мед забираешь, у сот крышечки верхние срезаешь. И вот будешь жевать такую штуку – и никаких тебе инфекций и болезней горла. А хондроз? Ты вот говоришь: шея у тебя от сидки за компьютером болит? Так?

Я нехотя кивал: шейный хондроз у меня и впрямь был нешуточный, боли были такие, что иногда хоть вешайся. Только вот когда я ему, блин, проговорился об этом?

– Пчелы от твоего хондроза – первые помощницы. Я тебе тряпицу из улья дам – она вся воском да медом пропитана, пчелками нагажена-насижена. Поносишь на шею – как рукой снимет. Апитерапию (это когда пчелы кусают, слышал?) я тебе не предлагаю – на это особая лицензия нужна.

За два часа пути, пока мы добирались на машине до «точки икс» (черновское выраженьице!), он рассказал мне о пчелах больше, чем я слышал за всю свою сознательно-бессознательную жизнь.



– Пчела, Саша, – великая труженица! Человеку и миллиона-то лет нет, а она трудится на земле-матушке больше 200 миллионов годков. И в отличие от людей никакого вреда для окружающего мира от нее нет. Что ни возьми от нее – всё сплошная польза. Так-то!

«Точкой икс» оказалась ближайшая к заброшенному поселению деревенька.

– Тут асфальт заканчивается, дальше пешкодралом придется. По лесам да по долам. Но ты не бойсь: тут недалёчко – семь километров туда, семь обратно. Готов?

Я поджал губы: мол, эка невидаль, семь километров! Виталий Иванович надел походный рюкзачок, нацепил на шею какой-то пакет и перекинул его назад – так, чтобы он болтался за спиной.

– Руки должны быть свободны, – пояснял мужичок. – Сейчас узнаешь, зачем.

Мы бросили машину на одной из сельских улиц, а сами устремились по едва заметной тропке в ближайший лес. Земля была мягкой и слегка влажной, хотя я не помнил, чтобы в городе за последнюю неделю шел дождь.

– Местность здесь немного болотистая, – бросал за плечо Чернов. – Но красивая – сам сейчас увидишь.

Он бодро стартанул и шел всё время впереди. В первой же рощице он залез в какой-то бурелом и вышел оттуда с широченной улыбкой и четырьмя палками-посохами.

– Ты, Саша, что-нибудь о скандинавской ходьбе слышал? Ага. Ступать за мной нужно след в след, и палками себе помогай – как на лыжах когда ходишь. Устанешь – говори, остановимся.

Затем он взял такой темп, что я едва поспевал за ним. Уже километра через два я в полной мере оценил идею пчеловода насчет скандинавской ходьбы. С палками и правда было намного легче идти.

Я вглядывался в спину шагающего впереди меня человека, смотрел на его размеренно работавшие руки и думал: «Неужели ему на днях исполняется 70 лет? Вот это прыть!».

Еще через три километра мои привыкшие к офисной жизни ноги и руки начали ныть. Поясница и левая коленка нещадно болели; шея задеревенела; хотелось остановиться и растянуться на влажной земле. Но стоило взглянуть на худощавую энергичную фигуру Чернова и становилось стыдно просить об остановке.

– Я ведь полковник в отставке. Приходилось в Африке служить два года – в Эфиопии. Вот идем мы как-то с колонной, и вдруг вижу: облако какое-то! Думаю: что это за феномен такой? А мне более опытный служака – товарищ мой – говорит: «Это пчелы!». Там растут такие кактусы огромные, они на короткое время по весне распускаются тысячами цветов. И вот африканские пчелы целыми армиями спускаются к ним и нектар-пыльцу собирают.

Пчеловод успевал и протаптывать мне тропу (я шел за ним след в след – и это тоже облегчало дорогу), и разговаривать, и работать обеими руками. По дороге он срывал какие-то веточки и цветы, объяснял, какие из них привлекательны для пчел, а какие нет.

Наконец, видимо, заметив, что я едва бреду, он объявил привал. Я уселся на поваленную ветром березу, вытянул ноги и блаженно закрыл глаза.

– А я вот по весне и летом раза два-три в неделю такие походы устраиваю. Привык уже. Ну, красиво? А, Саша?

Я открыл глаза и тут только услышал тысячи звуков леса: ветер шелестел листьями в верхушках деревьев; кругом переговаривались птицы; где-то в стороне мерно постукивал дятел. Я увидел границу леса: там желтело и зеленело бескрайнее поле, покрытое разнотравьем.

– Вон там – остатки барской усадьбы. Время будет – посмотрим поближе. А нам с тобой – налево, еще километрик-другой и до пасеки доберемся. Тут полно донника – это трава такая. Вот пчелки ее опыляют, мед творят. В основном, у меня на здешней пасеке «лесное разнотравье» получается. Ну, Александр, готов идти дальше?

Небольшой отдых взбодрил меня; открылось второе дыхание, и я зашагал быстрее.

Заброшенное село называлось совсем по-египетски – Александрия. Улица заброшенных домов из красного кирпича тянулась до другого края поселения.

– Здесь раньше, еще в царское время, свой кирпичный заводик был. Кирпич дешевле дерева обходился – вот и строили себе красные хоромы. Впечатляет?

Я закивал в ответ. Чернов года четыре назад прикупил здесь за бесценок один из красных домов – поближе к местной речке. Там-то, на огороде, и располагались пчелиные улья.

– Мед качать не приходилось? Никогда? Ну, мы это дело поправим. Сегодня я только покажу, как это делается. А вот в следующие разы мы уж развернемся по полной.

Я расширил глаза от удивления: «В следующие разы?». Но решил промолчать: зачем обижать старика? Когда чем-то увлечен, всегда кажется, что и другим так же интересно.

Мы вошли в избу. У левой стены стояли старые медовые рамки, неподалеку от порога – остатки ульев; на небольшой кухонке скоро зашумел чайник. Правда, для этого Виталию Ивановичу пришлось повозиться с электричеством: старый электрощиток отказывался работать.

– Сначала чайку с медом, а потом – работать! – объявил неугомонный пчеловод. – Нужно подготовить угольков для дымовухи, и я тебе защитную сетку для лица сейчас раздобуду.

На пасеке Чернов преобразился: лицо его светилось внутренним светом, движения стали мягче; угловатость сухой, поджарой фигуры сменилась какой-то неуловимой круглостью.

– Девоньки вы мои! Дождались-таки цветочков да хорошей погодки, – говорил он пчелам, осторожно открыв крышку и поднимая тряпки-утеплители. – Давай, Сашка, дыми сюда. Еще. Ага, хватит. Пусть попрячутся, а мы посмотрим, какие тут рамки уже созрели.

Я научился управляться с дымовухой не сразу, но с каждым осмотренным ульем получалось всё лучше. Затем Чернов нагрел ножи, подготовил в сарае медогонку, и действие началось.

– На-ка, попробуй, – смеялся пчеловод, и его черные усы смешно топорщились в разные стороны. – Да какая ложка? Зачем тебе? Пальцем бери – это же мед, он сам по себе убивает все бактерии и микробы. Ну каково? Вот это и есть самый лучший мед на свете – когда он из медогонки, жидкий еще. Ни с чем такое не сравнить.

Чернов был прав: свежее жидкое золото ароматного меда перетекало с моих пальцев прямо в рот, а вместе с ними в меня вливалась новая сила, новая энергия. Я почему-то вспомнил про энергетических вампиров, о которых мне рассказывал Лешка-верстальщик в курилке, и всё это – и курилка, и вампиры, и контент-менеджерство показалось мне тогда таким нереальным и невсамделишным... Реальность была здесь – в Александрии. Здесь всё – настоящее, неподдельное, не «в рамках» и не «в преддверии».

– Да, рамки-то надо новые сделать! – словно соглашаясь с моими мыслями, разглагольствовал Чернов на обратном пути. Мы с ним успели осмотреть и остатки барской усадьбы, и полюбоваться красотами здешней речки.

– Барин, говорят, здесь интересный был. Он-то и придумал египетское название для села – в честь своей дочки Сашеньки.

Обратная дорога далась мне легче. Но все равно я с большим облегчением выдохнул, когда увидел красноватую «семерку» Чернова, покорно, как собака, ожидавшую нашего возвращения.

\*\*\*

– Я думаю, для первой нашей встречи вполне достаточно. На следующих занятиях мы уже обсудим с вами, а может, даже нарисуем конкретные бизнес-планы. Нет-нет, не только про пчеловодство – это я просто описал свой конкретный путь в бизнес. Потом у меня были и свои специальные магазины, где продавалась пчелопродукция, и много чего еще. Но это уже совсем другая история.

Вопросы у кого-то остались? Да? Вот женщина в третьем ряду. Да-да, вы. Хороший вопрос. Нет, сейчас у меня личной пасеки нет. Одно время была, а потом... Как-то я отошел от этого. Переключил-

ся на перепродажу меда, а затем вот стал бизнес-тренером. Езжу по стране – учу молодых. У меня сейчас немного другой бизнес.

Жалею? А о чем мне жалеть? А-а... О пчелах, о пасеке, о свободе. С Черновым мы и сейчас видимся, он постарел, конечно, но всё так же – молодцом-огурцом держится.

Ну, давайте последний. Да, вот вы молодой человек... Ага, я повторю ваш вопрос, а то не все его расслышали: «Не кажется ли вам, то бишь мне, что я променял шило на мыло, и снова стал контент-менеджером – только немного в другой сфере?». Отличный вопрос. Отличный. Честно говоря – не знаю. Я сейчас ответить не смогу. Я подумаю, можно? Отвечу вам в следующий раз. Я подумаю. Спасибо...



# Визуальная антропология

*Посвящается МП и МГ, моим учителям*

– Так какая, ты говоришь, антропология?

– Визуальная. Визуальная антропология. Ну, черт с ними, с терминами! Ты поедешь со мной или нет?

– Послушай, что ты там хочешь найти в этом полувывершем селе? Какой фильм? Ты знаешь, что этот... как его – Мокрый твой – он даже не на федеральной трассе располагается? Там самые лучшие дома стоят раз в сорок дешевле твоей никудышной видеокамеры!..

– Я знаю, что камера у меня плохая. Зато у тебя – самая замечательная! – Филимонов при этих словах сразу смягчился. – Так поедешь или нет? Слушай, там природа, воздух, – в конце концов девчонку себе какую-нибудь сельскую присмотришь? А?

– Чур меня! У меня есть знакомый один, телемастер, – как раз из тех мест, так он мне неоднократно божился, что в тамошних лесах военные свалку из негодного химического оружия сделали! Представляешь, какие там девки водятся?

– Брось! Ну что я тебя уговариваю: ведь сам без работы второй месяц сидишь, а тут – грант! Гра-ант, понимаешь? Денежки! Я тебе червонец за неделю фактического отдыха предлагаю!..

– Знаю я твой отдых: вставать, наверное, часов в пять каждое утро придется...

В общем, Филимонов ворчал еще полчаса, но в итоге – и это важно – согласился. Грант достался Большакову почти играючи: какая-то грантовская муза посетила, вероятно, Сашу в тот вечер, когда он за час состряпал заявку и отправил ее по e-mail'у на удалую. Он сейчас уже сам с трудом вспоминал, что же составило содержание заявки и каковы будут, так сказать, результаты научной деятельности. Он хотел снять фильм – только и всего.

Кандидатом исторических наук Большаков стал года три назад. Тема диссертации была связана с наличниками нескольких сел одного из районов нашей небольшой области. Работал он над диссером увлеченно, но после защиты к теме как-то охладел...

По глубокому убеждению Саши, снять фильм – дело мудрёное и простое одновременно. Тут всё зависело от удачи; однако после



такого неожиданного случая с получением гранта Большаков в свою звезду поверил безоговорочно.

Село Мокрый Сункар было выбрано почти случайно, вероятно, по принципу: чем глуше – тем лучше. Однако (как потом заверял Большаков) при очередном осмотре карты области, когда взгляд его остановился на названии именно этого села, сердце его мучительно-сладко заняло, родственники грантовской музыки запели совсем рядом – и он доверился своей интуиции целиком и полностью.

Столько сил на уговоры Филимонова – своего старого университетского приятеля с соседнего факультета – Саша затратил по нескольким причинам: во-первых, уговаривать все равно пришлось бы, так как Ленька уговоры любил; во-вторых, он считался одним из лучших телеоператоров города, хотя из-за своего характера долго нигде не задерживался. Наконец, вдвоем всегда сподручнее, тем более в таком ответственном деле, как *Фильм*: кто-то же должен контролировать камеру, о коей в процессе работы Большаков часто забывал.

Ехать решили на доставшейся от отца большаковской «копейке» (отец благополучно отъездил на ней тридцать лет и расставался с ней, как с любимой, но уже изрядно поднадоевшей женщиной, – стена и радуясь одновременно). О возможном пристанище на неделю Саша хотел договориться на месте, когда приедут в село, но тут вечно ворчавший Филимонов вдруг предложил готовый вариант: оказывается, он созвонился со своим другом-телемастером, упомянутым выше, и тот согласился – можно сказать даром – предоставить свою пустующую избу в распоряжение друзей.

Большаков было засомневался: опыт показывал, что готовые варианты Филимонова часто заканчивались плачевно, однако лето есть лето: в золотую августовскую пору можно переночевать хоть в халупе. Приехав на место, Большаков убедился в справедливости своего последнего предположения. Впрочем, вечерние мокросункарские виды быстро выветрили печаль по этому поводу из сердца начинающего визуального антрополога. Протарахтев на «копейке» через всё село, они уже в сумерках (или, как говорили местные, «в сутисках») стали обосновываться в избе телемастера.

Несмотря на обилие сваленных в сарае электроприборов, электричества не было. Филимонов наладил его только утром следующего дня, так что ужинать пришлось при свечах. С молчали-

вого согласия Большакова Ленька водрузил на стол перцовку и две походные рюмки. «Чтобы дело спорилось!» – предложил тост Филимонов, Саша кивнул и опрокинул рюмку. Совершив сей ритуал, они стали готовиться ко сну.

У окна стоял большой старый диван, который Большаков сразу окрестил «клоповником» и великодушно уступил его Леньке. Сам он решил избрать в качестве лежбища кровать с металлическими пружинами, стоявшую ближе к печке, оправдывая это тем, что у окна его обязательно продует. Филимонов, которому всегда было душно, согласился без обычного ворчания. Саша быстро устроился на свое место, решив перед сном поразмыслить о своих завтрашних планах. Кровать проседала почти до пола, оставляя голову где-то далеко вверху, но Саше это даже нравилось. В приятной полудреме (было умеренно свежо; свой убаюкивающий концерт затеяли местные насекомые) он еще долго слышал, как чертыхающийся Ленька искал во дворе туалет...

\*\*\*

Проснулся он около восьми и, вскочив с кровати, сразу принялся за осмотр техники: так, диктофон есть, фотоаппарат, видеокассеты, блокнот...

Не хватало мелочи: определиться, куда пойти в первую очередь. Этнографический полевой опыт – пусть небольшой – у Саши имелся. Для начала он решил опросить соседей, а затем уже ближе к обеду выйти на местных звезд – здешнюю администрацию: им нужно представиться обязательно, иначе можно кровно обидеть. Все-таки не каждый день к ним приезжают кандидаты наук фильмы снимать. Впрочем, опять же – как показывал опыт, местное руководство обычно хорошо справлялось с функциями благословления на работу и иногда помогало дельными советами, к кому сходить в первую очередь.

И, правда, кого же искал Большаков в этом селе? Этим вопросом он задавался постоянно, но ничего, кроме как неопределенного: «найти личность поярче», он сформулировать не мог. Ну, конечно, в первую очередь его интересовали местные старожилы, знатоки традиции, ремесла; быть может, – местные знахари и балагуры. Но все это – и то, и не совсем то. «Ищу личность!» – так сумбурно сформулировал для себя свою утреннюю цель Большаков и, допив

кофе, отправился «в шабры». Филимонова он решил пока не брать, чтобы, как он объяснял себе сам, «не распугать местных»: Ленька был человек прямодушный и наставить – безо всяких объяснений и предупреждений – на человека объектив камеры было для него делом привычным и само собой разумеющимся...

В шабрах с населением оказалось негусто: слева пол-улицы заброшено, справа – через дом – жила баба Катя Фолунина. С ней Саша просидел до самого обеда, пока на сотовом, поставленном на беззвучный режим, не высветилось 11 пропущенных вызовов – дело рук заскучавшего Филимонова.

Баба Катя оказалась великолепной рассказчицей и даже песенницей. В середине разговора, несмотря на попытки остановить ее, предпринимавшиеся со стороны Саши (все-таки бабушка давно разменяла восьмой десяток), она полезла на подставку и приволокла оттуда заиндевевшую от старости прялку и донце к ней. Большаков забыл про все на свете – даже про фильм: дальше пошли рассказы про оборотней и колдунов, затем перешли на местных мастеровитых людей: оказалось, что Мокрый славится, в основном, кузнецами и гончарами. «Но щас, сынок, они зараз все повымерли: надо было тебе сюды лет тридцать назад приехать». Договорившись с бабой Катей, что, возможно, заглянет к ней еще раз, Саша неохотно распрощался с соседкой и вернулся в избу телемастера.

Филимонов встретил его на крыльце в обнимку со штативом и с сигаретой в зубах. В его глазах светилась нешуточная готовность работать... Саша в общих словах рассказал ему о своей первой удаче. Как ни странно, наиболее привлекательной ему показалась не совсем лестная в устах бабы Кати характеристика местного колдуна – личности, как он понял, незаурядной. Однако здесь всё нужно было проверить самому. Фолунина отзывалась о нем со всей непосредственностью: «Какой он колдун – так, пьянь одна. Приехал сюды откель его знает!.. Ну, ездют к нему, ездют, – лечатся, вроде как... Но ты, Саша, к нему не ходи: у нас есть вот на Верхней улице тетя Маня Марусина, вот она помогают. А этот – ни рыба ни мясо...».

Саша, конечно, решил сходить и к колдуну, и к тете Мане Марусиной. Но сначала надо было все-таки совершить визит вежливости в местную администрацию. Тут представительный вид Леньки со штативом и большой видеокамерой как нельзя кстати.

Наскоро перекусив, друзья отправились в центр села. На белесо-розовом выдавшем виды здании администрации висел пудовой

замок, однако проходившая мимо женщина тут же посвятила приехавших во все тонкости местной дипломатии. Оказывается, сегодня день субботний и нерабочий, но, ежели очень надо, то Людмилу Анатольевну – главу администрации – всегда можно обнаружить в данное время на задах ее собственного дома, где она наверняка занимается обработкой лука.

Последовав указанию, гости быстро обнаружили искомый пятистенный шатровый дом. Людмила Анатольевна, оказавшись приятной во всех отношениях дамой лет сорока пяти, мило заулыбалась, вытерла испачканные после лука руки о свой передник и сразу же попросила друзей в дом на чашку чая.

Восшествовав в дом, Филимонов с победным видом разместил свой штатив и сумку с видеокамерой возле широкого дивана, на который пригласила его сесть великодушная хозяйка. Большаков, как всегда не утерпев, тут же начал расспрашивать главу про местную жизнь. В течение каких-то пяти минут Саша, используя, вероятно, магические слова «университет», «грант», «научно-исследовательская экспедиция», а главное – «фильм как итог работы», сумел так расположить к себе хозяйку, что та не отпускала их часа три. Филимонов даже несколько раз по специальному знаку Саши распаковывал видеокамеру и, как он громогласно объявлял на всю избу, «делал пробные съемки», объектом коих была, конечно, очаровательная глава.

Это окончательно растрогало Людмилу Анатольевну, и та пообещала «всяческое содействие данному научно-исследовательскому проекту». Это в свою очередь так растрогало Филимонова, что он потратил на видеосъемку почти целую кассету из десятка имеющихся. Когда они уже ближе к вечеру вернулись в избу, ставшую им временным домом, Ленька тайком от Большакова спрятал отснятое, потому что знал, что Сашка, скорее всего, заставит его стереть записанное: драгоценных видеокассет слишком мало, а впереди – недельная работа. Но Филимонов точно следовал своей давно установившейся верной примете: хочешь получить хорошую съемку – никогда не стирай первые материалы.

Мысленно подводя итоги дня, Большаков признал их удачными: есть несколько часов аудиозаписи бабы Кати и более-менее четкие сведения о том, кого посетить завтра. В разговоре с главой администрации Большаков попытался осторожно навести справ-

ки насчет колдуна и подсказанной бабой Катей знахарки, но, как и ожидал, получил их весьма нелестные характеристики.

«Вам бы лучше съездить в Новостепаново, – мечтательно произнесла в этом месте беседы Людмила Анатольевна. – Сама я оттуда. Вот там действительно и этнография самая настоящая, и этот самый... фольклор. И люди там получше. А здесь... Не тот народ здесь. Говорят, что даже церковь здесь была раньше старообрядческая. А кулугуры – они, сами знаете, народ не больно общительный...».

Впрочем, поход к главе вовсе не был пустой тратой времени, поскольку она назвала целый ряд жителей, к кому, по ее мнению, надо попасть в первую очередь. Как оказалось позднее, беседы с ними стали настоящим открытием для Большакова. И в то же время он понимал, что все эти материалы не смогут стать центральным сюжетом фильма. Здесь нужно было что-то еще, другое. И именно это *другое* он искал в первую очередь.

За ужином Филимонов достал початую перцовку и наполнил традиционные рюмки. «За продуктивно начатую экспедицию!» – произнес он. «Аминь», – поддержал его Большаков и пригубил перцовку. Уже опорожнивший свой сосуд Ленька осуждающе закачал головой: «Не принимается. Такой тост – до дна!». Саша обреченно перекрестил рюмку и допил.

Августовские ночи становились все холоднее. Слушая спящего и мерно посапывающего на своем диване Леньку, Большаков записывал в блокноте, который обычно выполнял у него функцию полевого дневника: «Если в центре сюжета фильма будет «колдун» (по-моему, б. Катя его назвала «Толей»), то необходимо зафиксировать на видео мнения о нем окружающих. Людмилу Анатольевну мы уже, кажется, засняли. Надо бы завтра сделать несколько кадров с бабой Катей и, наконец, организовать личную встречу со знахаркой и этим самым «Толей». Кроме того, нужно пройтись по всем, кого назвала глава. Беречь видеокассеты не стоит – чем больше материала, тем больше шансов добиться желаемого.

А чего я собственно хочу? Живой жизни хочется. Суметь показать жизнь целостной личности, уловить в нескольких минутах судьбу человека, а вовсе не снять очередную иллюстрацию к какому-то перечню традиционных знаний. Именно поэтому не концентрируюсь я, как обычно, на песенниках-рассказчиках, кузнецах-валяльщиках валенок и иже с ними. Конечно, любой из них может

стать центром фильма, но любой ли сможет раскрыться до живой жизни? Здесь, вероятно, многое, если не всё, от меня зависит, а не от них... И здесь, скорее всего, не неделя нужна, а годы... Ладно, посмотрим».

Выронив ручку, Большаков зарылся в одеяло. Нижняя часть тела, как всегда, спружинив, ушла постепенно к полу, а голова вознеслась вверх. За печкой завел песню сверчок; ветер упрямо стучал в окно веткой невидимого дерева. Но Саша уже этого не слышал, погрузившись в сон.

\*\*\*

Когда Большаков открыл глаза, была всё еще ночь. Филимонова слышно не было. Прислушавшись, Саша вообще не уловил ни единого звука, и это его насторожило: должно же как-то проявлять себя ночное село. Хоть бы соседская собака проснулась и хрипло заворчала бы на кого-нибудь или цепью погромела. Никого...

Спустив ноги с кровати, Саша решил прогуляться на двор. Свет от далекого и единственного на две улицы фонаря едва поблескивал в темноте, сливаясь со звездами. Вернувшись, Большаков увидел какого-то человека, склонившегося над столом и что-то записывающего в его, большаковский, блокнот. Услышав вошедшего, человек повернулся, и Саша на мгновение увидел худощавое лицо незнакомца...

Тут что-то назойливо запищало, запикало, и Большаков услышал ворчание Леньки: «Да выключи ты свой будильник, третий раз пиликать начинает!». Большаков вскочил с кровати и понял, что увиденное было только сном.

Одевшись, он побежал смывать с себя остатки сновидения. Однако прохладная вода не помогла, и воспоминания о сне стали лишь четче. Во время завтрака, заметив молчаливость Сашки, Филимонов встревожился: «Ты что это, брат, печалуешься? У нас работа только начинается, а ты уж хандрить». Большаков сослался на головную боль и предложил временно воздержаться от перцовки, что навело печаль уже на Леньку.

Чуть погодя визуальные антропологи отправились к соседке бабе Кате. Камеры она сперва стеснялась, но Саша быстро занял ее разговором, и та охотно пересказала несколько случаев излечения у местной знахарки. К тете Мане Марусиной Фолунина сама

обращалась неоднократно: сначала с маленькой дочкой – у той был испуг, затем хворь получилась с коровой. Что касается колдуна «Тольки», то он всего «лет десять назад здесь объявился, и сама я никогда у него не была. Но люди калякают, что и гадает он, и порчу снимает. А какую порчу, – когда он в Бугульме полжизни клоуном проработал!».

Большаков сначала подумал, что ослышался: «Как клоуном?» – «Да так, милый, как клоунами по циркам работают – и он эдак же».

Саша снова уловил где-то внутри себя звуки песен сладкоголосых родственников грантовской музыки...

Выяснив, где проживает «оный клоун», как выразился шутник-Филимонов, друзья отправились в сторону школы. Именно там, по словам Фолуниной, проживал местный колдун. Тетя Маня Марусина жила чуть дальше – на Верхней улице.

Школа была расположена недалеко от автобусной остановки на естественном возвышении. Не доходя до нее, друзья услышали крики, доносящиеся от одного небольшого, словно вросшего в землю дома. Спустя несколько минут по содержанию криков стал ясен общий смысл происходящего: чья-то жена выражала бурный протест против того, что муж злоупотребил уже с утра. По какому-то наитию Большаков догадался, что разыгрываемое действие вскоре должно переместиться на улицу. «Камеру! Немедленно доставай камеру!» – зашептал Большаков. Недоуменно покосившись на друга и заметив хорошо знакомый ему блеск в глазах Саши, Ленька начал неторопливо расстегивать сумку. «Да ну давай же, что ты возишься!» – торопил Большаков, пританцовывая от нетерпения. Филимонов, всё так же не торопясь, извлек свое сокровище на свет и начал доставать штатив. «Бог, Бог с ним с твоим штативом!.. Послушай, это очень важно: снимай всё то, что сейчас будет происходить возле того дома, займи удобную позицию!». Филимонов обреченно вздохнул и начал бормотать что-то про баланс белого, но Большаков уже не слушал и застыл в ожидании.

Когда наконец камера была готова, словно по заказу дворовая дверь настежь распахнулась и оттуда, как черт из табакерки, вылетел тоненький, небольшого роста мужичок лет шестидесяти. Под мышкой он бережно держал что-то свернутое в газету. Через мгновение за ним следом выбежала грузная женщина с платком на голове. «Я тебе покажу, лечится он! Лечится-калечится! Пьянь!..

Пьянь!»). Мужичонка, отбежав от двери и встав почти посередине улицы – одной ногой в колею, проделанную колесом автобуса, – прокричал ей в ответ: «Лечусь! Да, лечусь! Ты жизни моей не знаешь, какую я прóжил. Я, если пить не буду, всю болезнь на себя возьму! Говорил же тебе сто раз!»).

«Говори-ил!.. – передразнила его жена и вдруг как-то сразу успокоилась. Затем она глубоко вздохнула и, не сделав далее ни шагу, опустилась на лавку под окнами избы. – Пьянь ты, вот кто! Зла не хватает на тебя. И зачем... – она взяла правой рукой передник и вытерла им вспотевшее от крика и бега лицо. – И зачем я только за тебя пошла, знала ведь, знала судьбу свою...»).

Тут только мужичонка обнаружил стоявших с камерой и, потеряв всякий интерес к жене, засеменял в их сторону. «Снял? Всё снял?» – прошептал Большаков. «Да куда оно денется?» – ответил Филимонов, всё еще глядя в объектив. «Это вы не по поводу колодца нашего здесь?» – еще не доходя до друзей, спросил мужичок. У него был чуть тягучий и временами напоминавший женский голос. Большаков умело вывернулся из ситуации, ответив вопросом на вопрос: «Вы не Анатолий Михайлович?» – «Он самый буду! А вы откель?»).

Через минуту антропологи уже сидели на лавочке рядом с супругами, которые совершенно забыв про ссору, наперебой отвечали на вопросы Саши. Камеры они, казалось, не замечали, но потом «дядь Толя», как отныне именовали его друзья, повернулся в сторону стоявшего Филимонова и огорошил его ровно следующим: «Да сядь ты, поговорим! Всё равно ничего не будет писать твоя камера. Белое пятно будет!». Это было сказано с такой уверенностью, что забеспокоился даже всегда непоколебимый в отношении своей техники Ленька. Впрочем, по незаметному знаку Саши, Филимонов все-таки временно выключил камеру, и беседа благополучно продолжилась далее.

Спустя час разговор пришлось прервать, поскольку у супругов нашлись срочные огородные дела. Однако они охотно согласились встретиться с гостями вечером этого же дня.

Для предварительных сведений записанного было вполне достаточно. Как только друзья отошли от избы колдуна, Саша потребовал проверить, всё ли записалось. После того как Филимонов заверил, что все записи в порядке, Большаков радостно зашагал да-



лее. Друзья решили вернуться к себе, дабы перекусить. Затем было решено добраться до дома знахарки тети Мани.

«Мне кажется, что супруга во многом сковывает его...» – сказал вдруг за обедом Саша. «Кого? Колдуна твоего, что ли?» – усмехнулся Филимонов. «Ну да...» – «И сдался тебе этот клоун? Чего ты в нем нашел?» – «Нет-нет. Что-то есть: видишь, как он сегодня умело сворачивал с темы своей биографии, – одна и та же пластинка про приезжающих к нему клиентов...».

«Слушай, – неожиданно предложил Ленька, – а может, его к нам пригласить, в нашу мужскую компанию? Нальем ему перцовки, посидим, как мужики, вот он и запоет, как надо?» – «Да как... как надо? – Большаков недовольно отодвинулся от стола. – В том-то и дело, что необходимо создать какую-то естественную для него ситуацию, вот как сегодня, когда они нас не замечали».

«Не знаю, – пожал плечами Ленька. – Что может быть естественнее, чем выпить с мужиками?» – «Да вот и я не знаю... – задумчиво ответил Саша. – Давай всё-таки попробуем сегодня организовать съемку у него дома, а там – посмотрим».

Немного передохнув, визуальные антропологи двинулись на Верхнюю улицу. Встретив по дороге молодую женщину лет тридцати, они решили уточнить, где живет Марусина. Женщина, оказавшаяся учительницей мокросункарской школы, солидно расспросила гостей о целях их приезда и предупредила: «Вы только учтите, у ней недавно сын умер. Сегодня сорок дней справляют». Большаков замер: «Может, и не стоит тогда беспокоить?» – «Ну что вы, она будет только рада гостям, – что еще кто-нибудь ее Владика помянет...».

Поразмыслив, друзья все-таки решили навестить тетю Маню – скорее, для того, чтобы договориться о встрече на будущее, чем для беседы.

«Слушай, – сказал Филимонов другу, пока они шли к избе Марусиной. – Я вот слышал, что у знахарей да колдунов часто неблагополучие какое-то встречается либо по судьбе, либо со здоровьем они маются... Ты что по этому поводу думаешь?» – «Бог его знает! – поежился почему-то Саша. – Дело это темное: однозначно что-либо сказать нельзя...» – «Ну, вот, – заворчал Ленька, – а еще ученый называется. Мочёный...».

У дома сидело несколько богомольного вида старушек в черных платках. Друзья поздоровались и, спросив «тётъ Марусю», за-

шли в избу. Обед давно кончился, душу уже тоже проводили. В избе было очень тихо: слышен был только пощелкивающий звук старого черного электросчетчика и иногда раздавался треск лампадки, горевшей перед иконами.

Большаков решил, что в доме вообще никого нет, но тут он заметил какое-то движение на небольшой кухне, основную часть которой занимала русская печь. Спинай к ним стояла низенького роста бабушка, одетая во всё черное. Она тихо водила рукой по тарелке, на которую тонкой струйкой текла вода, и, вероятно, совсем забыла о том, где находится. Филимонов, не выдержав тишины, шумно опустил тяжелую сумку с видеокамерой на пол. Старушка обернулась и, ничуть не удивившись, кивнула им. Саша негромко поздоровался и в двух словах рассказал о цели прихода: что вот, мол, «интересуюсь жизнью бывалошной, нельзя ли немного посидеть – поговорить». Тетя Маня внимательно посмотрела на Большакова и закивала: «Я вас щас накормлю, а после расскажу, что знаю». Саша внутренне обрадовался. Старушка быстро засуетилась, откуда-то появилась совсем молодая девчушка, лет двенадцати, видимо, внучка – всё у них вместе с бабушкой заспорилось, и через пять минут перед гостями стояли грибной суп, гороховая каша, кутья, кисель и, конечно, граненый стакан водки. Теперь внутренне обрадовался Лёнька...

Пригубив водку, Саша осторожно затеял разговор. Он очень не любил быть в тягость кому-нибудь и при малейшем сигнале об этом со стороны уже понравившейся ему бабушки собирался ретироваться. Однако тетя Маня, судя по всему, сама была рада отвлечься от своих горестных воспоминаний и с охотой отвечала на вопросы «сыноньки», – так она в мгновение ока окрестила Большакова.

Филимонов, окончив второе и добравшись до дна заветного стакана, с необыкновенной ловкостью установил на штатив видеокамеру и затих за объективом. Беседующие в это время плавно перешли на тему заговоров. «Заговариваю, сынонька, как же. Вот, бывалача, придут: у кого зубы болят, у кого в спине ломота – я пошепчу, поговорю; всё – как рукой сымет...».

В это самое мгновение, к большому удивлению Саши, со стороны молчаливо работающей видеокамеры что-то крякнуло и раздалось многозначительное: «Ага-а!». И в этом «ага!» Большаков с ужасом ощутил отдаленное эхо утренней перцовки, а главное

– почти опорожненный стакан водки, которые, вероятно, поддерживая друг друга, наконец-то добрались до недавно столь ясного сознания Филимонова.

Ленька залихватски выглянул из-за камеры и слегка штормящей поступью приблизился к беседующим: «И вот, тётъ Мань, у меня сёдня как раз зуб мудрости ломит! Ну, снизу который – я тебе, Сашка, сто раз говорил, помнишь? И ночью еще донимал. Полёчите, тётъ Мань?». Не дожидаясь ответа, Филимонов бухнулся на табуретку рядом со старушкой и замер в ожидании исцеления.

Большаков почти зажмурился от негодования: со стороны казалось, что он ждет праведной молнии с небес, которая поражает всех так не вовремя напившихся Филимоновых. Однако, к повторному удивлению Саши, молнии не последовало, а бабушка тут же спрыгнула с лавки и начала уточнять расположение всех больных мест Леньки. Большаков рванулся к видеокамере...

Спустя два часа друзья уже шли по мокросункарской улице в направлении своего пристанища. Лицо Леньки сияло так, как может сиять лицо человека, только что сдавшего экзамен на отлично – это при том, что выучил он единственный билет, как раз тот, который достался.

Большаков уже обдумывал предстоящую беседу с колдуном. Для съемок разговора с бывшим клоуном он решил использовать сразу две видеокамеры: это позволит при монтаже более свободно сочетать различные ракурсы и, быть может, повысит шансы реализовать главную цель поездки...

Зайдя в избу телемастера, Саша сразу бросился проверять готовность второй видеокамеры. Филимонов стащил с себя сумку и кинулся ничком на диван. С минуту оттуда доносились жалобы на судьбину, затем несколько раз было упомянуто о переставшем болеть зубе. Спустя еще минуту со стороны дивана раздался богатырский храп такой силы, что, как показалось Большакову, даже давно высохшие мухи, третий год отбывавшие срок в межстекольной тюрьме, вдруг вздрогнули и запросились на волю.

Саша решил дать ему час выспаться, но затем понял, что совершил роковую ошибку. Разоспавшийся Филимонов был совершенно не способен призвать себя к ответственности и, несмотря на ощутимое воздействие большаковских попыток его поднять, героически отказывался просыпаться.

Когда уже совсем стемнело, Ленька раскрыл глаза и, встав с дивана, молча удалился во двор. Его не было так долго, что Саша забеспокоился и вышел его искать. Он обнаружил Филимонова, живописно расположившегося на крыльце – с сигаретой в зубах и бездонным взглядом, устремленным к звездам. Было тихо.

«Знаешь, – вдруг необычайно серьезным и хриплым после сна голосом произнес Ленька, обращаясь, скорее, ко всепрощающему крыльцу, нежели к стоявшему за его спиной Саше, – в детстве, лет пять мне стукнуло... А у соседей собака была – такая белая с большой красной пастью. Кажется, Бимкой звали. Так вот она однажды сорвалась и укусила меня – вот за лодыжку. – Филимонов засучил штанину и показал забытые временем небольшие шрамы. – Я тогда спать совсем перестал и заикаться начал. Меня мать к бабке одной возила – похожей на ту, у которой мы сегодня сидели... – он затянул в себя дым и помолчал. – Мы к ней раза три ходили... И всякий раз, как она пошепчет, я спать хочу – умираю просто. Мать меня полдороги обратно всё на руках тащила. Вот и щас то же самое...».

Некурящий Большаков спросил у друга сигарету, и они еще долго смотрели на постепенно пропадающее в вечерней мгле село, слушали переговоры мокросункарских собак и строили планы на завтра.

\*\*\*

Проснувшись, Саша почувствовал на себе чей-то взгляд. В избе был сумрак, но очертания даже мелких предметов были хорошо различимы – словно кто-то невидимый придал им дополнительную четкость остро подточенным простым карандашом. Затем Большаков ощутил тяжесть где-то в ногах: некто сидящий на его кровати начал устраиваться поудобнее.

Никакого страха или удивления Саша не испытывал. Тело отказывалось подчиняться, однако Большакову всё-таки удалось вытянуть шею и приподнять голову – для того, чтобы разглядеть гостя. Это был уже знакомый худощавый старик, прошлой ночью писавший что-то в блокноте. Несмотря на то, что на голове сидящего болтался нелепый шутовской колпак с заостренным верхом, Большаков мгновенно узнал местного колдуна.

«Мы к вам собирались – да вот видите: не смогли сегодня...» – начал почему-то оправдываться Саша. Колдун быстро поднес

свой палец к губам и совершенно по-глупому зашипел: «Щ-щ-щ! Филимонова разбудишь – уйти мне придется!» – затем он свесил голову с нелепым колпаком на бок и стал чесать рукой редкую бороденку. Саша начал сожалеть о том, что видеокамера очень далеко и руки совсем не слушаются.

«Я ведь вообще не хотел вас в село пускать, – снова зашептал бывший клоун, – а потом думаю: пусть его, молодым везде у нас дорога... Ты вот, Саш, скажи: я тебе махорку свою давал? – Большаков покачал головой. – Вот видишь: самое главное да и забыл. Ну ничего: завтра у Филимонова спросишь – он у меня уж успел стрельнуть. Махорка, брат, это такое дело: ее не каждый правильно сотворить сможет. Ежели захочете – научу...». Он надолго замолчал и закрыл глаза. Саше тоже очень захотелось закрыть глаза и, уже впадая в полудрему, он выдавил: «А фильм...». Колдун вскинул сухими ручонками и залился тихим смехом. Колпак раскачивался из стороны в сторону, как маятник на старых часах. Затем он сочувственно зашептал: «Вот ты, болезный, – всё-то тебе человека в человеке найти надо. Ты не ищи, не ищи – оно и придет. Вот махорочку завтра я тебе дам. Вот это дело!..» – и он снова тихо и убаюкивающе засмеялся. Большаков не смог больше бороться с дремой и закрыл глаза...

«Эге-гей! Труба зовет! Кто вчера рвался на запись, а сегодня непробудный, как медведь?» – Филимонов, все еще, видимо, испытывающий какое-то неудобство за вчерашнее, пытался компенсировать это бурной утренней деятельностью. Саша, как назло, чувствуя себя с утра не важно (затекла шея от постоянно вздернутого положения головы на чертовски неудобной кровати), воспринял пробуждение «от Филимонова» без особого энтузиазма. Однако поплескавшись у старого умывальника, работающего по принципу: чем чаще нажимаешь – тем меньше течет, Саша быстро улучшил себе настроение.

За завтраком они совсем развеселились и стали обмениваться привычными подколами: особенно старался Филимонов, который, между прочим, несколько раз прошелся по красоте местных «представительниц женского населения». «Кстати, – оживился Саша, – как тебе местная учительница?» – «У которой мы вчера дорогу спрашивали? Ну, ничего-ничего. Стара уже, конечно, но тем не менее, это лучшее, что я успел заметить!». Тут Филимонов нагнулся

к своей заветной сумке с видеокамерой и из бокового кармашка достал небольшой сверток из газетной бумаги. У совсем забывшего про ночной визит Саши вдруг потемнело в глазах. Ленька, ничего не замечая, продолжал разглагольствовать о женской красоте. «Это у тебя... что?» – выдавил наконец Саша.

«А-а! Это ты пока вчера с супругой дяди Толи отвлекся на тары-бары, я делом занимался: знаешь, чего у него в сверточке под мышкой было? Э-э, брат, самого главного ты и не заметил: махор-ка! Слышал такое? Удалось стрельнуть: самосад чистейшей воды, яко слеза младенца. Будешь?». Саша справился с собой и не стал ни о чем рассказывать Леньке. Они вышли на крыльцо.

«Махорка – она подходу требует, – продолжал петь Ленька. – Как женщина, честно слово! Вот ты думаешь, я тебе скручу ее из газеты? Е-рун-да! Весь вкус утратишь. Смотри и учись!». Филимонов извлек из кармана пачку «Беломора», точными, почти ласковыми движениями удалил оттуда табак и стал понемногу, порция за порцией, забивать в образовавшуюся полость махорку. Через десять минут изделие в двух уникальных экземплярах было готово. Друзья закурили. Саша сначала неумело закашлялся, затем приспособился и стал дымить не хуже Филимонова. Некоторое время курили молча. Затем Ленька не выдержал и начал сопровождать действие побрякиванием и постаныванием, изображающем высшую степень удовольствия. У Саши драло горло, но общие ощущения были странно приятными. Голове стало легко-легко и почему-то вспомнилось лицо встретившей их вчера молоденькой учительницы.

«Идем!» – решительно произнес Саша, и они, собравшись, отправились к дому колдуна.

Подойдя к знакомой избе, друзья долго колотили в раму, пытаясь достучаться до хозяев. Через некоторое время из соседнего дома выглянула взъерошенная голова дородного старика, который голосом батюшки, проповедующего с амвона, произнес: «На огороде они, картошку подкапывают. Тропкой идите – они ждут вас». Идя по указанной тропинке, Филимонов комментировал: «Слышал? Этот, с голосом, как паровозная труба, сказал, что ждут они нас? С чего вдруг? Ты что вчера бегал к ним, предупреждал? Нет? Удивительный случай! Может, и правда: колдун твой клоун? Шучу...».

На задах за домами располагались бескрайние огороды местных жителей. Вскоре друзья обнаружили две маячившие фигурки

супругов: худая и маленькая держала в руках лопату; та, что побольше и потолще, копошилась с ведром и мешком.

Антропологов заметили издалека. Естественно, ни о какой полноценной записи, пока идет такая работа, речи быть не могло. Тем не менее Большаков шепотом попросил Леньку немного снимать. Сам он подошел к дяде Толе, поздоровался и уже было собрался предложить свою помощь, как колдун улыбнулся и махнул рукой в сторону лопаты, лежавшей неподалеку. Большаков решил ничему не удивляться. Они неплохо поработали в поле: раскрасневшегося Сашу сменил удалой Филимонов, после чего уже через 15 минут супругам пришлось останавливать работягу, поскольку всю картошку они выкапывать сейчас не хотели.

Затем дядя Толя усладил жену готовить обед «молодцам», а сам удобно расположился на траве в тени.

И тогда включенные видеокамеры, два штатива и вдохновленные работой на природе собеседники наконец-то услышали историю бывшего клоуна.

Его жизнь была проста и терпка, как махорка, которую он выращивал у себя в огороде: вырос в большой семье, сам-седьмой; когда родился, думали что не жилец: оставили возле печки – отойдет не отойдет. Ребенок пригрелся, потянулся, закричал – «до сих пор жив-здоров». Три года отслужил во флоте на Дальнем Востоке. «Владик» (Владивосток) до сих пор вспоминает с удовольствием, хотя прошло более сорока лет. Там встретился со своей первой любовью – «Любочкой»; там же, как он предполагает, оставил ей и своего сына: уезжал – была на седьмом месяце.

Затем – возвращение в свое родное село (оно расположено недалеко от Мокрого Сункара). Два раза был женат – «до тех пор пока вот Веру свою не встретил, жену нынешнюю – третью и самую любимую». Детей у него больше не случилось – «Бог не дал». Когда был женат в первый раз, три года отсидел в тюрьме: «лес воровали вместе, пятеро нас было, не поделили чего-то – одного и порешили. Я-то не убивал да вот со всеми вместе и загремел».

Потом Большаков вспомнил про Бугульму. «А-а, – улыбнулся дядя Толя. – Вы и про то знаете! Было дело. Деваться некуда, а душа к этому склонна – люблю я балагурить да народ веселить. Это мы со второй женой: она меня в Бугульму увезла, городская вся такая. Вот я там через тестя моего тогдашнего в клоуны и заделался. Лет,

наверно, восемь в клоунах ходил!.. А ты знаешь! Хочешь, покажу, как я по воздуху ходить могу? Хочешь?» – и глаза его загорелись каким-то детским, задорным блеском.

Большаков кивнул и сделал знак Филимонову, чтобы снял всё самым лучшим образом. Дядя Толя вскочил, сдернул с себя обувь, носки и, встав на утоптанную тропинку голыми ногами, сказал: «Снимай, снимай, Ленька! А ты, Саш, смотри, нигде такого больше не увидишь!». Он повернулся к друзьям спиной, поставил одну ногу вперед и стал, раскачиваясь и странным образом изгибая невероятно гибкие ступни ног, плавно перемещаться вперед. Филимонов следил за ним с камерой на плече. «Ну что?! – в глазах старика светилось торжество. – Видел такое, Сашка! Видел? Никогда и нигде не увидишь больше!».

Именно этот момент – когда в глазах дяди Толи светилось настоящее счастье – навсегда врезался в память Большакова. Он понял, что центр для сюжета *Фильма* найден. И он был так искренне рад этому, как, наверное, радовался в то самое мгновение, когда ему сказали, что у него родилась дочь...

С дядей Толей друзья встречались еще несколько раз. При прощании с ними он предсказал, что Саша и Ленька обязательно еще раз вернуться: так и было в действительности – они возвращались, чтобы добрать материал.

Во второй раз дядя Толя вышел провожать их до самого края села: «Жаль, ребятишки, что больше уже не увидимся, – сказал он, пожимая антропологам руки. – Но такова уж судьба. На роду нам так с вами написано. Махорку вам даю как напоминание: часто ее не курите. А так, когда соберетесь вместе, вспомните про Мокрый да про дядю Толю – вот тогда и дымите себе на здоровье. Ну, бывайте! Жена ждет...».

Он торопливо махнул рукой в сторону друзей и засеменял прочь. Саша завел мотор, но долго еще не двигался с места, глядя в сторону. Филимонов молчал, затем вздохнул, крикнул и заворчал: «Да поехали уж! Темно скоро будет. А махоркой – я с тобой поделюсь, обещаю».





## Уптюжок

Я столько раз слышал эту историю – рассказ о том, как мама познакомилась с отцом, – что и правда думал: стоит мне сесть за комп, и я настрою всё в считанные часы. Просто изложу, что миллиард раз слышал – и дело с концом. Ага, как же... Мне вообще-то за сочинения в школе выше четверки никогда не ставили. Это я так, предупреждаю на всякий случай, а то мало ли, какого лешего вы ждете от текста.

Отца своего я почти не помню. Про это тоже сразу стоит сказать, чтобы вы понимали: в основном, тут изложены мамины воспоминания и дневниковые заметки, то есть ее точка зрения. Ну вот и всё предисловие, так как краткость сами знаете, чья сестра...

Мать уверяла, что в тот антикварный магазин она зашла совершенно случайно. Сейчас на этом месте то ли заправка, то ли «Магнит» – я точно не знаю, потому что в Сызрани мне делать нефиг. Я там был-то всего один раз – проездом из Ульяновска в Самару. И, кстати, нисколько не жалею: городок настолько серый и неприглядный, что хочется проехать его, что называется, на одном дыхании – не останавливаясь.

Так вот: магазинчик располагался в какой-то избушке-развальношке. Таких в Сызрани и сейчас пруд пруди – обычный деревенский домик комнаты на три.

«До моей электрички часа полтора ждать надо было – вот я и решила прогуляться. Вышла из тамошнего вокзальчика: здание небольшое, но путей и рельсов – просто до горизонта, станция-то узловая. И пошла наобум, куда глаза глядят. И вот нагуляла себе сына».

Фраза-пластинка про то, что она *«нагуляла себе сына»*, была ее любимой. Она повторяла ее теткам, соседкам и мне, естественно, раз сто пятьдесят. Особенно часто так происходило при очередном собрании друзей и подруг – на юбилеях и свадьбах. Вот тут в ход шли обязательные «антикварные воспоминания» мамыши. Но это я отвлекся.

Магазин, как и все подобные заведения, доверху был набит всяким хламом: подсвечниками, советскими значками-флагами, пу-

затыми полудырявыми самоварами, фигурками глиняных орлов и фарфоровых кошек. В отдельной витринке красовались даже модели старых сотовых – неуклюжих монстров с торчащими толстыми антеннами, которыми можно ковыряться в ухе или в носу – кому как больше нравится. Трудно поверить, но и такая ерунда тоже кем-то приобретается-коллекционируется.

Мама вошла, дверь скрипнула, наверху зазвенели китайские «поющие ветра» – обычная для того времени прибабасина. Хозяйка она сразу и не заметила: отец сидел, согнувшись в три погибели над циферблатом старинных часов. Да, да, тех самых – с кукушкой, антикварам обязательно ведь такие подавай – с высывающейся ежечасно сумасшедшей птичкой.

Других посетителей не наблюдалось, и Наталья (ну не буду же я ее всё время «матерью» называть! это неудобно) поздоровалась. Сидевший с часами на коленях кивнул, мельком на нее посмотрел и снова углубился в свой старый кукушатник. Вошедшая стала оглядываться по сторонам. Глаза проглядать тут и впрямь можно было без остатка: под пыльным стеклом чернели-зеленели большие монеты чуть ли не екатериновских времен; там же лежали старинные пуговицы, запонки и значки. На деревянных полках без всякой системы валялись веретёна, керосиновые лампы, кованые гвозди, позолоченные подстаканники, фарфоровые статуэтки и даже побелевший, треснутый с правого боку арбалет.

На каждом шагу ее встречали всё новые диковинки – барабан и горн, раньше наверняка висевшие в красном углу заброшенного пионерского лагеря; выбеленная временем ступа с пестом; хрустальные лебеди с потертыми красными клювами; прялка, зачем-то выкрашенная светло-желтой краской. Наталье, которая до того момента заходила к антикварам всего два в жизни, показалось, что она попала в сказочную страну, где остановилось само время: всё заброшенное, старое, но сохранившее хоть какую-то ценность в итоге оказывается именно в таких магазинах. Если, конечно, до них не добралась крючковатая рука музейщика.

«Я, Тём, – говорила она мне в минуты очередного откровения, – быть может, хлопнула бы дверью с обратной стороны минут через пять: ведь электричка скоро, а покупать я ничего не собиралась. Но тут возникло то самое чувство – твой отец называл это «корреляци-

ей» или «синхронией», что-то в этом роде. Я ведь себя тоже тогда чувствовала оставленной и брошенной: мне уже стукнуло тридцать один, а я до сих пор не встретила толкового мужика. Ну, ты понимаешь...».

Короче, если обобщить все варианты ее рассказов, то выходило, что «она что-то осознала», долбанное шестое чувство ей подсказало пройти дальше. Дальше – имеется в виду другой отдел магазинчика, который мой папаша называл подсобкой. Дескать, до нее мало какой посетитель добирался: ведь главные-то изюминки располагались в центральном отделе.

«Он уверял меня потом, что нередко в подсобке даже не зажигали свет: незачем, мол, расходовать на освещение отдела, куда покупатели заглядывают один раз в году».

А мама, понимаешь, вот так вот взяла и зашла. Чуть ли не напрямиком направилась в эту подсобку, почти не обращая внимания на великолепии остальных экспонатов. Интуиция, одним словом. Когда она так сделала – ну, прощёлкала своими каблучками в сторону подсобки, возня в отцовском углу затихла. Она ощутила на своей спине его внимательный взгляд, но всё равно не обернулась и через несколько секунд оказалась в тесном помещении, стены которого до самого потолка были увешаны полками.

«И вот, Тём, дальше никакой мистики: я захожу и ничего не вижу, кроме этого утюжка. Стоял он в двух шагах от входа на нижней полке среди колокольчиков, сахарниц и фужеров с длинной ножкой. Обычный утюжок – миниатюрная деревянная игрушка с ручкой из толстой металлической проволоки. Основная часть – вытянутый треугольник – была сделана из потемневшего от времени какого-то дерева. Взяла его за ручку, поставила себе на ладонь, а у него снизу поверхность – гладкая, приятная и теплая. И вдруг слышу – шуршание сзади. Оборачиваюсь, а там на пороге этот антиквар нарисовался – бородатый мужик с залысиной и седыми висками. Я глянула ему в глаза и обомлела. Он смотрел на меня так, словно я – привидение с моторчиком, только что прошедшее сквозь стену на его глазах. А затем он заплакал. Настоящими слезами, которые мгновенно проделали блестящие дорожки на его щеках и исчезли в поседевшей бороде. Да, такие вот дела».

\*\*\*

Мама мне свой дневник никогда не показывала, я его нашел совсем недавно – среди пожелтевших студенческих тетрадей и кипы открыток, перевязанных черной резинкой. Тетрадь в клеточку, страниц на 80, наполовину исписанная дурацкими формулами и схемами (мать окончила педунивер – на учителя математики). В другой половине – ее стихи и дневниковые записи. Все они – как раз о тех событиях, что я сейчас пытаюсь описать. Так что будет логично, вероятно, иногда цитировать ее заметки здесь. С купюрами, конечно: в личных дневниках всегда есть места не для печати – из тех, что ни одна семейная цензура никогда не пропустит.

«Андрей тогда сильно разволновался, я это хорошо помню. «Вы простите, я не знаю, как объяснить... Но я так долго ждал вас!» – вот то небольшое, что я от него смогла добиться в первые несколько минут нашего знакомства. Затем он сел, пригласил меня сесть рядом, но я отказалась. Он спросил, есть ли у меня время, я в ответ покачала головой: вообще, мне было чертовски неудобно, да и вел он себя настолько странно, что захотелось поскорее уйти. Мало ли что у него на уме, а в дурацкий магазинчик его, возможно, еще пару часов никто не заглянет.

«Я напугал вас? Извините. Жаль, что у вас так мало времени, но судьба есть судьба. Давайте я вам оставлю свои контакты и расскажу вам немного... обо всём».

Тогда он успел мне наговорить кучу каких-то глупостей. Через полчаса я уже смотрела сквозь окно электрички на перебегающие от столба к столбу черные провода и, улыбаясь, вспоминала о своем маленьком приключении. Из того полубреда, что он нес во время нашей первой встречи, я запомнила лишь несколько моментов: антикварным делом он занимается около десяти лет, а начался его небольшой бизнес как раз с этого утюжка. И все эти годы он якобы ждал того самого покупателя, который спросит у него про деревянную игрушку. Однако никто ею так и не заинтересовался – и он сослал утюг в подсобку. А тут в одно прекрасное утро нарисовалась я!

Я вежливо поулыбалась антиквару в ответ на его откровения, пожала плечами и, даже не спросив о цене игрушки, быстро попрощалась и выбралась наружу – в серую действительность сызранских улочек. Вот, собственно, и всё мое приключение. Странный хозяин со своим утюжком остались в избе, а я пошлепала на вокзал. В кар-

мане куртки мои пальцы сами собой сжимали и разжимали острые края визитки антиквара, и эти ощущения должны были стать последним воспоминанием о моей сызранской вылазке. Но всё вышло совсем иначе».

\*\*\*

Мать права: вышло всё совсем иначе, потому что я-то на свет должен был появиться! А от острых краев визитки дети не заводятся.

Насколько я понимаю, в первый раз она ему сама позвонила – на номер сотового, указанного на визитной карточке. Почему мама так сделала – Бог ее знает.

«Тёма, это только в книгах и фильмах должна быть обязательно четкая причина всех действий персонажей. В жизни всё по-другому. Я сама не знаю, как набрала его номер. Сидела однажды после работы в своей однушке – у меня тогда однокомнатная в Самаре была – вертела в руках его визитку с надписью «Андрей Колесов, антиквар. Покупаю иконы, самовары, значки», – и вот спустя минуту уже разговариваю с ним по телефону».

Ехать в Сызрань она совсем не собиралась: да и что она забыла там, в этом городишке? Тем не менее буквально через две недели после звонка снова стояла на пороге отцовской избушки-развалюшки.

«Андрей встретил меня сдержанно и даже отчужденно. Потом он признавался, что специально выбрал именно такую тактику, чтобы не отпугнуть меня излишними эмоциями.

Мы просидели с ним часа три в его магазинчике. За это время двери распахнул лишь один покупатель. Уже ближе к вечеру Колесов предложил мне съездить в местную кофейню, где мы основательно подкрепились. Потом он отвез меня в привокзальную гостиницу: там я и переночевала первую ночь. Всё это время он говорил и говорил, и я ни разу не заскучала во время беседы с ним. О чем он рассказывал? Да о своем дурацком утюжке, конечно».

История с этой деревянной игрушкой – можно сказать, причиной моего появления на свет – дело непростое и запутанное. Я перескажу ее, как сумею – ровно так, как сама мать слышала от отца. За стилистику и несурзанности уж не обессудьте: я предупреждал, что писать не умею.

Как выяснилось, Колесов был два раза женат: «так уж сложились звезды». Первая супруга его бросила сама, когда будущий ан-



тиквар ненадолго угодил в тюрьму – кажется, по статье «мошенничество». Я не знаю, как отреагировала мама на такие откровения со стороны в общем-то совершенно незнакомого ей человека, но меня такие новости не особо порадовали бы.

Вторая жена – Ирина – прожила с ним полтора года; расстались по обоюдному согласию. Вот через эту Ирину мой папаша и вышел на свою деревянную драгоценность.

«Я его нашел в кладовке тестя: это произошло, как сейчас помню, одиннадцать лет назад, – повествовал антиквар и – по совместительству – мой будущий папаша. – Нужно было помочь отцу жены разгрести кое-что: обычная возня со старыми инструментами и пыльными книгами по марксизму-ленинизму. И вот из этого хлама «папа Стасик» (так мне предлагала его называть сама Ирина) и выудил деревянный треугольник с металлической ручкой. Утюжок мне тогда напомнил маленький кораблик, неожиданно выброшенный на берег кладовочного океана.

– А-а! – протянул папа Стас и сел на край кровати с извлеченной на свет Божий игрушкой. – Ишь ты! А я думал мы уж выкинули его давным давно. Ир, посмотри, что я нашел!

Жена угукнула в ответ, а я попросил игрушку у тестя, чтобы рассмотреть ее поближе.

– Да, занятная вещица, – продолжал разглагольствовать папа Стасик, и взгляд его затуманился: он явно был уже не с нами, а в том времени-пространстве, когда мы с Ириной еще не родились. – Этому утюжку точно более ста лет. Им еще моя бабка – Натали Сергеевна – тряпицы-платица для своих кукол гладила.

Жена снова угукнула и как-то боком вышла из комнаты, смежной с кладовкой.

– Не любит она вспоминать про это. И Тamarочка, супруга моя, тоже не любила... – зашептал торопливо папа Стасик, и я недоуменно на него покосился: мы, мягко говоря, не были с ним в столь близких отношениях, чтобы шептаться тайком от его дочери. – Ведь у нас с покойной Тамарой был еще младший сынок Витя, он умер в пять лет. А Ире тогда было девять....

Тесть замолчал, так как в комнату возвратилась моя жена. Чуть больше подробностей я вытянул из него потом – спустя несколько месяцев, когда мы уже фактически развелись со второй моей супругой.

По его словам, деревянная игрушка в семье Дарлеевых (фамилия папы Стаса) появилась еще до революции. Кажется, уже тогда он упомянул, что они каким-то боком приходились родственниками с Афанасьевыми – известными купцами Симбирской губернии.

– Бабку мою все звали на французский манер – Натали. А утюжок этот, как уверяла моя матушка, принесла с собой ее нянька Пелагея. Откуда он у нее взялся – сказать не могу. В принципе, такую игрушку мог сотворить любой мастеровитый человек – какой-нибудь крестьянин или сапожник. Так ведь?.

Честно говоря, вся эта дореволюционная романтика меня сначала несколько не заинтересовала. Зацепило другое – связь умершего братика Ирины с этим самым утюжком.

– Это была его любимая игрушка, он с ней не расставался ни на секунду. Что Витенька нашел в этой деревяшке – Бог его знает, но он даже своей сестренке не позволял брать утюжок: кричал так, хоть святых выноси. И потом приключилась пневмония...

Голос отца Ирины опасно задрожал, и я решил, что на этом стоит прекратить свои расспросы. Однако он добавил: его сын умер, держа в маленьких ручках своего вечного деревянного спутника.



– После Витенькиной смерти мы убрали утюг подальше с глаз – в кладовку. Тамара вообще просила меня, чтобы мы его выбросили, но я решил не делать этого: все-таки семейная реликвия, старинная вещь».

Во время развода со своей второй супругой будущий антиквар упросил семейство Дарлеевых отдать ему старинную игрушку. Немного, как выразился отец, «покочевряжился» лишь Дарлеев-старший, но в конце концов и он сломался.

«Я, честно говоря, уже и не представлял своей жизни без утюжка. Словами этого не передать, но стоило мне лишь раз ощутить его теплую, выглаженную самим временем деревянную подошву, и я тут же поддался странному очарованию маленькой игрушки. Мне не просто захотелось обладать им, но я жаждал узнать об утюжке всё – всю его подноготную. И я взялся за это дело со рвением освободившегося от семейных уз человека».

В итоге отец объездил полстраны – всю европейскую часть и нашел корни Дарлеевых, кажется, аж в Липецкой области. Беседовал с жителями, копался в местных архивах и постепенно реконструировал (слово-то какое!) историю семейной реликвии. Каких только рассказов, исторических персонажей и ситуаций он к этому делу не прилепил! Боже, там материалов на три с половиной романа – целую историческую эпопею и хронику.

И вот когда Андрей, как он сам говорил, выдавил из окружающей действительности всю возможную и невозможную информацию об этой вещице – то, казалось бы, должен воцариться покой: цель-то достигнута! Но не тут-то было.

– Я вдруг понял совершенно четко и ясно, что собирал сведения не о самом утюжке, а о его владельцах и создателях! – продолжал он рассказ для своей внимательной слушательницы. Наверное, тогда они с матерью уже сидели в сызранской кофейне. А может, у них дело зашло и дальше: кто знает?

– Но о самой-то вещи я до сих пор – несмотря на целый год усилий – не знал фактически ничего. Не нужно путать историю владельцев и самого артефакта. Чтобы понять это, мне понадобился год упорных поисков и раздумий на эту тему. Конечно, я осознаю, что разделить эти понятия порой невозможно, но всё же! Всё же!..

Как заставить говорить саму вещь? Какова ее история? Вот что занимало, захватывало меня. И тогда я понял следующее: несколь-

ко недель размышлений и метаний подсказали следующую мысль: чтобы человек имел возможность рассказать о себе, ему нужны собеседники. Для старинной вещи, которой без малого век, нужны такие же старинные вещи-собеседники. Так я стал антикваром, коллекционером.

Предметы начали беседовать, перекликаться, соответствовать друг другу, понимаете? Давайте, Наталья, я покажу вам наглядно, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказать, – он передал моей матери старинную пуговицу или запонку – она уж сама точно не помнила, и нередко в своих рассказах заменяла одно на другое. – Эта вещица с мундира мелкого симбирского чиновника: Сызрань входила когда-то в Симбирскую губернию, вы в курсе? У меня также в коллекции есть старинная шкатулка – я ее купил в Арзамасе, это Нижегородская область. Какова перекличка между этими вещами? Как думаете? Видите, вот здесь вензель – эМ и Бэ. Может, это имя мастера? Ан нет, заказчика! Вот этот заказчик, нижегородский купец Михаил Болотов приходился родственником жене того самого чиновника, который когда-то носил эти запонки на своем костюме, представляете?

Мать в ответ лишь пожала плечами и спросила Колесова: разве не скатывается он здесь снова в историю владельцев, а не самих вещей?

– Верно, верно, вы меня поймали. Но какова, так сказать, корреляция! А? Вещи перекликаются через их владельцев... – антиквар вдруг помрачнел. – Да, вот это, как вы выразились, «скатывание» меня всегда и терзало: кажется, что вот-вот проникнешь в суть вещей, но незаметно выясняется, что ты опять и опять копаешься в истории людей, их отношений, а артефакты, предметы – это так, всего лишь знак этих отношений. А ведь как обидно-то это и как узко! Словно изучая звезды, мы вновь и вновь скатываемся к исследованию и познанию всего лишь самих себя! Обидно до невыносимости...».

И, наверное, уже тогда, хотя, может, и позже, во второй или третий мамин приезд к нему, он высказал еще одну мысль. Не знаю, придала ли она ей в тот момент хоть какое-то значение. Наверное, да, раз это навсегда запечатлелось в ее памяти.

«Понимаете, Наталья, я совершил вроде бы самый банальнейший шаг: соотнес маленький утюжок с собой и своей судьбой. Как

и он, я нигде не мог найти себе место – ни с женами, ни в семье, ни на различных работах. И только уйдя в антиквариат, с ними, неприкаянными вещами, я обрел самого себя».

Что конкретно он имел в виду под этими словами, моя мать поняла позднее, когда они расписались в серо-розовом двухэтажном здании сызранского загса. Никакого застолья и пышных церемоний не было и в помине: ему за сорок, ей – тридцать один. В таком возрасте люди практичнее смотрят на подобные *вещи*.

\*\*\*

Перед тем, как я опишу итог короткой семейной жизни моих родителей, нужно сообщить кое-какие новые детали из истории злосчастной деревянной игрушки. Их разузнал мой отец во время своих поездок, которые вылились в создание сызранского антикварного магазинчика.

Дело в том, что у Натали Сергеевны (в девичестве Сточиловой, по мужу – Дарлеевой) тоже было двое детей. Девочку звали Марией, и она прожила до семидесяти четырех лет, умерла в Подмосковье. А вот сын – Михаил, Мишенька, умер шести лет от роду.

«Ты догадывайся, Наталья, какая у Миши была любимая игрушка? Нет? Я когда узнал об этом, у меня волосы на затылке зашевелились! Думаешь, простое совпадение?».

Они на эту тему много раз говорили и спорили. Но вот после росписи и моего рождения мать запретила отцу даже упоминать про деревянный утюг.

«Занимайся своим антиквариатом сам, в одиночку, а нас с Тёмой не втягивай в свои фантазии!» – говорила она ему во время ссор. Слава Богу, поначалу они ссорились нечасто. А насчет антиквариата – то тут, конечно, мама просто сотрясала впустую воздух: без своего магазина, покупки и продажи старинных, как он любил говорить, «артефактов» представить жизнь Колесова было просто невозможно...

Но вернусь к ее коротким дневниковым записям.

«В первый раз я стала свидетельницей этой сцены случайно. Мне пришла в голову мысль сделать Андрею небольшой сюрприз – на 23 февраля. Тёме исполнился уже год, я сидела в декрете с ним дома в нашей сызранской квартире. Однако уже через полтора года собиралась выйти на работу – в свою школу. И в связи с этим до

хрипоты доказывала мужу, что нам надо переехать в Самару. Однако он и слышать не хотел о том, чтобы расстаться со своей сызранской избушкой-развалюшкой, хотя его антикварный бизнес почти не приносил никакого дохода. Споры по этому поводу у нас возникали всё чаще и чаще.

Так вот: ближе к вечеру я попросила свою подругу-соседку посидеть с Тёмой, а сама побежала в Колесовский магазинчик. Я хорошо знала, что можно открыть входную дверь так, чтобы не зазвенели «поющие ветра», и на цыпочках с подарком в руках пошла к кассе. Андрея там не оказалось: он был в подсобке. Я, улыбаясь, уже предвкушала, как он сначала испугается, а потом обрадуется моему приходу. Я хотела его сегодня соблазнить на романтический вечер при свечах в той самой кофейне, где мы в провели с ним первые часы нашего близкого знакомства. Хотела я его порадовать и подарком: купленными на распродаже через интернет старинными часами фирмы «Генри Мозер и Ко».

Может быть, если бы не эта моя детская затея, я бы узнала обо всем позже, но... ведь всё равно бы когда-нибудь узнала. Чуть вытянув голову, я осторожно заглянула во второй отдел, полки которого до самого потолка были завалены различным старьем. Андрей сидел на полу с утюжком на вытянутой ладони; руки его непрерывно перемещались – от вещи к вещи, от фужеров к наперсткам, от металлических игрушечных советских грузовиков к значкам и керосиновым лампам. Глаза у него были закрыты, слегка виднелись лишь розоватые белки, а рот непрерывно извергал странные фразы – с самыми разными интонациями. Он переходил от визжащего, похожего на крики ярмарочного петрушки голоса к размеренному басу; затем изображал говорящую женщину или девочку; потом воспроизводил старческое дребезжание.

«Ну что ты на это скажешь?» – «А чего тут сказать? Чего тут сказать? Сегодня был хороший денёк: всё осталось по-прежнему. Никто не пришел, никто не пришел, не купил ничего. Значит, мы снова останемся вместе!» – «Вместе! Вместе! Вместе!» – «Вот только хозяин теперь нас меньше замечает, меньше за нами следит! Попенять ему надо за это, попенять» – «Меньше, меньше! Точно меньше!» – «У него теперь есть жена и сынок! *Сынок-утюжок, сынок-утюжок, сынок-утюжок...*».

Тут я вскрикнула. Не выдержала и, зажав рот рукой, заплакала. Понимаете, может, со стороны – как я это описываю – это и выглядит забавным, похожим на какой-то кукольный спектакль. Но в действительности быстрые и суетливые движения рук Андрея с утюжком на вытянутой ладони вызывали настоящий ужас. От голосов и звуков, который он так искусно имитировал, меня всю затрясло. Я даже не могу это толком объяснить: такие деревянные звуки просто не мог, не имел права издавать человеческий рот, они... В общем, не могу объяснить. Не хочу. Одним словом, я в мгновение ока перешла от состояния предчувствия праздника к эмоциональному срыву, в подлинную истерику.

С плачем я бросилась к выходу, он вскочил на ноги и успел меня поймать у самой двери. «Что ты, что ты, Наталья!? Успокойся! Как ты сумела так тихо войти? Да успокойся же...». Увидев его обычное выражение лица, его умные и любящие глаза, я взяла себя в руки и, всхлипывая, прижалась к нему.

Мы все-таки поехали в нашу кофейню, но настроение у меня так и не улучшилось. Говорить об увиденном в подсобке ни ему, ни мне совсем не хотелось. Однако, вы понимаете, что какое-то объяснение должно было прозвучать. И Андрей тогда придумал лучший из возможных выходов – свел всё к шутке. Мол, так ему легче и веселее сидеть в одиночестве: он просто устроил небольшой диалог с «постояльцами магазина» – только и всего. Чтобы не скучно было.

«Наташ, ну у каждого человека есть свои причуды и склонности. Ты сама назвала это спектаклем – да так оно и есть! Это шутка и спектакль. Я, может, так лучше их понимаю и чувствую, свои артефакты. Мне так легче жить и работать».

Я быстро и с большим облегчением приняла его объяснение: мне так хотелось, чтобы у нас всё было хорошо, я так долго жила одна и так сильно любила своего ребенка, что смириться с одной-двумя странностями мужа мне точно было под силу.

Да, я так думала. Но уже через несколько дней меня стали доносить ночные кошмары».

\*\*\*

Мама в дневнике о своих сновидениях почти не пишет. Вообще, после процитированного выше фрагмента ее записи становятся всё отрывочнее и скуднее. Не помню я и о том, чтобы она подробно говорила мне об этом эпизоде их совместной жизни. Ее частые рас-

сказы обычно сводились к следующему: «Тёма, твой отец просто помешался на своем антиквариате. Ему никогда не нужны были ни жена, ни ребенок – только его долбанные игрушки».

Зато она в деталях описывала свой развод с Колесовым и наш переезд в Ульяновск; говорила и о том, как часто отец не платил алименты и т.п.

Лишь однажды при мне она упомянула, что всей душой ненавидит кукольные театры: «Мне, когда ты маленький был, кошмары снились про кукол! Они ведь верещат тонкими голосами – это просто до озноба у меня. Очень не люблю такие вещи».

Если судить по записям в дневнике, когда мне исполнилось год и три месяца, мама снова увидела «спектакль» отца. На этот раз у них дело дошло до настоящего скандала.

«Позавчера я застала Андрея в ванной с проклятым утюжком в руке. Сначала я услышала какое-то бормотание, а потом с содроганием узнала петрушечный голос мужа. Осторожно приблизившись к двери ванной (был второй час ночи), я почти с минуту вслушивалась в омерзительные звуки: *«Мы в гостях! Мы в гостях! Мы пришли в гости к нашему сыночку!»* – потом резко распахнула дверь и увидела скользкий утюжок в суетливых руках Андрея. Он сидел на кафеле с закрытыми глазами; между его вытянутыми и широко расставленными ногами располагался целый зверинец вещей, притащенных из магазина: хрустальные лебеди, фарфоровая черная кошка, глиняный орел. Раскрытая ладонь с лежавшим на ней утюжком металась от одного артефакта к другому и пищала-верещала измененным до неузнаваемости голосом мужа.

Я прервала этот спектакль тем, что выбила утюжок из руки Андрея. И тогда он, не раскрывая глаз, мгновенно бросился мне в ноги и начал колотить по моим коленям кулаками. Ничего страшнее я еще в жизни не испытывала...».

Мать и отец долго кричали друг на друга, потом долго мирились. Она взяла с него клятву, что завтра же утром он отнесет весь свой «зверинец» в магазин и больше никогда не будет ничего притаскивать оттуда. Колесов божился, что это было в первый и в последний раз и, вероятно, сам верил тому, что говорил. Однако через три месяца мать увидела у меня в руках темный деревянный треугольник с проволочной ручкой: я играл с утюжком в зале нашей квартиры.

Когда и как отец принес и подсунул его мне под кровать – там, где лежали все мои игрушки – мать не знала. Может, семейная реликвия Дарлеевых провалялась там не одну неделю, прежде чем я достал ее оттуда. Вот с этого дня у них дело окончательно и бесповоротно пошло к разводу.

Колесов пытался убедить мать, что историю про утюжок он со скуки придумал сам – от начала до конца: «Просто хотел тебя закарать! Женщины ведь любят таинственные истории. А ты купилась, поверила мне. Ничего Тёмке не будет – пусть играет!».

Мать в ответ кричала, что сожжет игрушку, если еще раз увидит ее у нас дома, называла его сумасшедшим и грозилась даже вызвать полицию. Еще через два месяца они подали на развод.

\*\*\*

Вот, собственно, и всё, что я хотел рассказать. Я же предупреждал, что не мастер писать истории и уж тем более – создавать эффектные финалы.

Я упоминал, что после раздела имущества мы с матерью переехали в Ульяновск. И благополучно жили здесь до прошлого года – до того, как мне исполнилось семнадцать. Сейчас мы с мамой живем раздельно – так получилось, что мне (по обоюдному с ней согласию) пришлось поместить ее в местную клинику. В общем, скрывать тут, наверное, нечего: понадобилась стационарная помощь психиатра.

Но сейчас уже есть существенные улучшения. По крайней мере, врачи обнадеживают меня и говорят, что ее видения почти прекратились. Главное, чтобы на глаза ей не попадалось всё это старье – вся эта музейная рухлядь и антиквариат. И никаких, никаких утюгов. Ну их к черту! Нет, правда: ну их к черту!..

## Стопом до Архангельска

Костер догорал. Еще немного и настанет время для картохи: зола почти созрела.

– Короче, еще в Суздале был. Про Суздаль рассказывал? Медовуха там – гадость отменная, – Родька затянулся и выпустил дым вверх, к невидимым звездам. Предутреннее небо затягивали серые облака.

– Туда тоже стопом? – Серый зевнул и покрепче завязал облезлый шарф на своей худой шее. Хоть и конец мая, а ночи пока были холодные.

– А как же! – глаза молодого автостопщика горели. – Только так, только так, Серый. Берешь рюкзачок, туда кружку-ложку, немного анальгина на всякий случай и никаких денег. Я так всё «Золотое кольцо» объездил...

– Да ты уж рассказывал. Мне Петька, ну «Триппер» который, на хлебозаводе со мной работает, говорит, что ты заливаешь много. Тебе бы только уши чужие, говорит... – мужчина в шарфе зевнул и улыбнулся. Ему, конечно, хотелось услышать очередную Родькину телегу – поэтому он его и подкалывал. Если его не подковырнуть, подробностей не дождешься, это уж проверено.

– Да пошел он, твой Триппер! Я тебе говорю: я только в прошлом году тыщи две намотал. Вот в Краснодар не попал, а так – везде был. Вот смотри тут какие правила: ловить тачку надо за постом ГАИ, потому что здесь, в городе, тебе только такси светит...

– Да какой у нас город... – перебил его Серый. – Сам знаешь: от хлебозавода отошел полтора километра, вот тебе весь город и вышел-кончился... Совашино, одним словом.

– Ага, – торопился Родька. – Плесни еще пивка, я тебе щас такого наговорю! Мы с тобой хоть завтра мотнем до Мурома! Хошь?

– Не-а. У меня завтра смена, забыл? Это ты – птица вольная. Ни кола ни двора, одна бабка – и то на ладан дышит.

– О-о, хорошее пивко... Я тебе глаголю, у хич-хайкеров правила простые: встретил другого стопера – иди дальше. Он встал на трассу первый, первый и сесть должен. Я помню: встретил Макса...

– Это кто такой?



– Да из Натальино он, ты его не знаешь. Ну вот встретил его там, за ГАИ, он тоже стопит. Ну я прошел дальше, и, прикинь, остановил дальнобоя – сотни четыре кэмэ с ним сделали. Мужик – золото! Всю жизнь мне свою расписал: и жена у него змеюка, и срок он отмотал под Чебоксарами где-то...

– Да ты лучше про этот год расскажи – где катался-то? В Суздале, говоришь, был?

– И в Суздале, и в Ростове, и в Ярославле. А в Переславле-Залеском музей утюга есть, слышал?

– Ну?

– Баранки гну. Был там я... Я вообще вон до Владика доехать хочу!

– Куда-куда? – Серый достал из сумки новую полторашку самого дешевого пива совашинского розлива.

– До Владивостока. Но это потом – на будущее. Этим летом, знаешь, какие у меня планы!..

– Ну?

– В Архангельск, в Северодвинск двину!

– На хера?

– Дядя у меня там работает, подлодки атомные ремонтирует. Погляжу всё это, понял? Своими глазами мощь страны увижу.

– Подлодки? – Серый уважительно поднял темные брови, в которых уже местами пробивались седины. – Ну-ка поподробнее с сего места.

– Пивка подлей – всё и узнаешь...

Утро в Совашино было мерзким – как всегда. Голова у Родьки раскалывалась, из ног словно кто-то вынул кости и напихал на их место мокрую вату. Они с Серым расстались у поворота к его двухэтажке. Сам же профи по автостопу поплелся к избе-развалюхе, где он жил с родной бабкой с раннего детства. Его мать допилась до зеленых чертиков лет десять назад, – да так и не восстановилась. Отца он никогда не видел: тот уехал в столицу еще до его рождения и «нашел там себе жену помоложе», как любила говорить его бабуся.

\*\*\*

Ему пятнадцать дней назад стукнуло двадцать четыре. После школы, которую он дотянул с грехом пополам («скукотища смерт-

ная!»), он больше нигде не учился и не работал. Жили на бабкину пенсию в страшной нищете. На самом деле Родька никогда дальше Мурома не выбирался – и ездил туда за деньги, потому что не умел ни сто́пить, ни общаться с водителями.

Когда и как он толкнул свою первую телегу – он не помнил. Наверное, всё вышло само собой: компании собирались одни и те же, из развлечений – покатушки на мотоциклах да посиделки с пивком-водкой в центральном парке. А истории любили все. За истории могли и налить лишний раз, и дать затянуться.

О стопе он услышал от одного парня из Мурома, а потом Нина Петровна – училка-идиотка, которая всё норовила навязаться ему в матери, – подарила ему смартфон. На различных хич-хайкерских форумах можно было черпать истории бесконечно. Он даже затеял такую штуку: не выходил из избы-развалюхи неделю (запасался пивком, а потом расходовал его понемногу), на звонки не отвечал, а затем появлялся на совашинских тусовках – будто король, вернувшийся из дальних странствий.

– Родька! Где ты был, чё-орт? Врешь ведь! Не, чё: правда, что ли? Налейте Родьке, блин! Родька, давай дуй сюда-сюда, садись, рассказывай! – и он чувствовал себя на седьмом небе: ради этого стоило терпеть неделю в избе, чтобы потом вот так – как цыганочка с выходом – возвращаться в свет.

Однако Совашино – городок небольшой, скрывать правду получалось недолго. Его высмеяли, перестали верить и наливать. Не отвергли его лишь мужики с местного хлебозавода, да и то, наверно, потому, что помнили его мать, когда-то работавшую замом главного технолога. Он таскался по вечерам к заводу, словно на работу, – почти каждый день, потому в конце концов надоел и там.

И лишь Серый – Сергей Петрович, как его уважительно именовали на предприятии, инженер, золотые руки, мужик сорока лет и местный философ – его компании не чурался, наливал ему, платил за харч и – главное – любил слушать. Мало того: Родька понимал, не мог не понимать, что Петрович иногда даже верит его телегам. Хотя весь город знал, что никуда горе-автостопщик не ездит, а сидит в избе с полубезумной старухой и пьет чужое пиво.

– В Совашино много хороших людей, – любил говорить Серый в перерывах между телегами Родьки. – Ты погляди, как их много:



весь наш хлебозавод – какие типы, какие характеры! Чеховские или даже горьковские. Но, знаешь, какое у меня ощущение, Родька? Четкое такое ощущение... Что живут они все *вхо-ло-сту-ю*. Понимаешь ты, что значит жить вхолостую, а?

И Родька кивал и рассказывал про очередное путешествие, прочитанное на форумах. Затем пиво неизбежно заканчивалось, и они разбрелись в разные стороны. Так продолжалось до той самой ночи, которую они скоротали на даче Петровича – участке огороженной земли с сараем посередине, идеальном, кстати, месте для костра, обугленной картохи и Родькиных телег.

\*\*\*

Он проснулся от громкого стука в заляпанное позапрошлогодовой грязью окно. В тусклой застекленной действительности Родька разглядел широкую спину Серого, повернувшегося к незапертой двери их избенки.

Это была и впрямь новость: Петрович никогда не заявлялся к своему собутыльнику домой. Да еще и утром! Разве он не на заводе должен быть сейчас?

– Да сѣдня же воскресеньѣ! – объявил Серый на пороге, словно прочитав мысли юного стопера. – А у меня к тебе дело есть, Родька. Бабка-то у тебя где? На огороде, что ли?

– Хрен ее знает. К подруге, может, поковыляла, – проворчал мастер по телегам. – Ты чего в такую рань? Башка раскалывается.

– Я знал, что ты на жисть жаловаться будешь, – Петрович выудил из черной сумки, перекинутой на плече, две темных пластиковые бутылки – литра по два каждая. – Это поможет?

Родька закивал и начал суетливо искать стул для дорогого гостя.

– Да ладно те, я на кровать сяду. Небогато, гляжу, живешь-то... Хлопнем по стаканчику совашинской бурды?

Они пили, болтали, но Родька чувствовал задницей, что этот утренний визит неспроста: Петрович явно что-то затеял, но пока упорно не говорил о причине своего утреннего визита.

– Скажи, Родька, ты когда точно собираешься в этот Архангельск свой, ну или как там? Северодвинск? – вдруг спросил Серый после того, как они ополовинили вторую бутылку. – Я полазил в Инете – это же берег Ледовитого океана, Белого моря! Подлодки там ремонтируют... А? В какую дату-то?

Молодой стопер в недоумении покосился на серьезное лицо собутыльника, и ему стало не по себе.

– Да не решил я еще... У автостопщиков ведь как: жестко ничего планировать нельзя. Примета даже такая есть: спланируешь что-то – ничего не выйдет. Надо ждать настроения...

– Настроения? – Петрович почесал подбородок. – Не, по настроению я не могу: мне надо знать заранее – заявление чтоб написать на отпуск.

– Отпуск? – Родька заерзал на неразобранной кровати, служившей им столом и диваном. – Это зачем?

– С тобой собираюсь, понимаешь? Растравил ты мне всю душеньку своими рассказами. А атомные подлодки настоящие, – так, чтобы не по телеку, – я, может, всю жизнь мечтал увидеть. И океан... Эх, Родька! Знал бы ты, что я сегодня ночью пережил...

Серый вдруг вскочил с кровати и стал ходить, как медведь-шатун, от окна к старой печке – и обратно.

– Вот расстались мы с тобой, поплелся я в свою серую квартирку на втором этаже, где жена дрыхнет и дети спят. Встал на пороге

и – заплакал! Понимаешь ты или нет? За-пла-кал! О жизни твоей и моей. И всех совашинцев. И даже за Муром всплакнул немного...

– А чего заплакал-то? – побледневший стопер осторожно поставил свою кружку и обтер тонкие губы пальцами.

– Не знаю, Родька. Тоска меня взяла! Уехать хочется. Но не совсем, а вот как ты – смотаться далеко куда-нибудь. Ехать и – говорить с водителями. Не о себе, не о Совашино и не о хлебозаводе, а о них, понимаешь? Вот чтобы они мне всю душу, всю судьбу свою выговорили, а я бы – переживал за них. А потом – море Белое. И подлодки атомные... И – ух-х! – Серый с размаху ударил раскрытой ладонью по облезлой стене печки – так, что показались новые кирпичные щели-складки.

\*\*\*

– Смотри: тут надо на Вологду курс держать – я все онлайн-карты обшарил. От Совашино до Архангельска 1300 километров с копейками. Это всего ничего – с твоим-то опытом! – Серый тыкал короткими пальцами в экран старенького смартфона; глаза его горели от ожидания скорого счастья.

Они снова сидели на самодельных топчанчиках у костра на даче Петровича и пили совашинскую бурду. Прошло уже три или даже четыре недели с того памятного утра, как хлебозаводской инженер завалился в избу Родькиной бабуси. Они встречались после этого каждые выходные – и всякий раз говорили о подлодках, Белом море, Архангельске и Северодвинске.

– Родька, мы с тобой такое там сотворим, такое!.. – говорил Серый и хлопал юного стопера по плечу.

Сначала Родька хмурился, думал о будущем, размышлял, чем же это всё закончится. Но потом как-то привык: Петрович не жалел пива, соленой рыбы и орешков из маленьких цветастых пакетиков. На даче они, случалось, жарили шашлыки. О хлебе и говорить не надо – уж чего-чего, а этого добра в Совашино хватало. Они в деталях разрабатывали маршрут, определяли, где будут ночевать и что смотреть.

– Муром – не-е, даже останавливаться не будем! Чего мы там не видали? Вот Иваново – надо, и в Шую заедем. А в Ярославль хочешь? А вот, слышь-слышь, название-то, название – Унимерь и Заячий холм! Я тащусь! – хохотал совашинский инженер. – Обязательно остановимся там, да?

Родька отмалчивался по первоначальному, а потом и его затянуло.

– Да я там бывал! Круто-круто! Да там тачку застопить – как два пальца об асфальт. Да я тебе говорю! – они вместе гоготали, что-то записывали на обрывках газетной бумаги, которые затем незаметно исчезали в пляшущих языках костра. И пили пиво – оно уходило галлонами. Пластиковые бутылки улетали к дальнему забору дачи, где испокон веку располагалась «навозня» – это словечко выдумал сам Петрович.

Бледность вернулась на лицо юного хич-хайкера лишь однажды – когда Серый объявил, что ему-таки подписали отпуск с пятого августа.

– Едем уж шестого! Ага? А чё тянуть кота за хвост? Сели – и вперед. Ты, кстати, звонил своему дядьке в Северодвинск?

Родька неопределенно пожимал плечами – и этого было достаточно. Пятого августа? Когда это? Еще жить и жить до пятого августа! Может, оно и не наступит никогда. А если наступит – что с того? Как-нибудь образуется, что-нибудь случится и произойдет...

«Да его Маринка не отпустит! – утешал себя Родька в те ночи, когда ему не спалось. – Скажет: «Кудай-то ты собрался, Петрович? А я? А дети как же?». Но Серый, будто угадав его мысли, заявил как-то в середине июля, что Маринка даже рада.

– Говорит: «Отдохну от тебя и твоих пьяных выходов! Езжай на все четыре стороны!». Так что я свободен, как молодой бог!

И вот день, в который Родька отказывался верить, наступил. Вечером пятого августа его сотовый завибрировал, а потом оттуда зазвучал возбужденный и – самое страшное – совершенно трезвый голос Петровича:

– У тебя всё собрано, да? Ну я помню, ты сто раз говорил, что брать надо по минимуму, но трусы-то с носками надо, без бритвы – тоже нельзя! Ну и деньжонок взять – святое дело! Сувениры там купить, пожрать... Слушай, всё забываю, как называются те места, ну, квартиры, где ты ночуешь, когда стопом едешь?

Юный стопер замычал что-то, но счастливый голос в трубке тут же перебил его, застрочив, как из пулемета: «А, да-да-да-да, там же *вписки*. На тусовках будем зависать. Ты же рассказывал...». А потом после пятого августа неожиданно наступило шестое.

\*\*\*

С утра было почему-то холодно. Родька, трезвый и злой, смотрел на спину Петровича, одетую в яркую оранжевую майку. На одном плече у инженера болтался большой походной рюкзак, доверху набитый самыми «нужными нужностями». Юный стопер шел за ним следом по обочине разбитой дороги, уводящей от родного Совашино. Серый был молчалив, и это пугало Родьку больше всего.

– Ну, ты где встаешь обычно? Тут или подальше?

– П-подальше, – заикаясь, проговорил хич-хайкер. Они постояли минут пятьдесят, смотря на то, как мимо пробегают разномастные автомобили. Становилось теплее. Днем, скорее всего, они сдохнут от жары.

– Может, пивка? – нарушил молчание Родька.

– Ты что?! – замотал головой Петрович. – Ты же сам говорил: если от нас пахнуть будет – кто же нас возьмет на борт? Это вечером, когда вписка первая будет. До Иваново доберемся сегодня, как думаешь? Или – как повезёт?

Стопер кивал в ответ. Постояли еще сорок минут.

– Уф! – совашинский инженер присел на свой большой рюкзак. – Слушай, а может, ты сигналишь им неправильно? Как-то по-другому надо?

Родька списал всё на неудачный участок дороги:

– Да и вдвоем мы – ведь два мужика. Многие опасаются останавливаться. Вот если бы девушка с парнем – другое дело. Надо за Муромом попытаться...

В итоге сели на проходящий рейсовый. Через два с половиной часа они стояли на ивановской трассе на выезде из Мурома.

– Жарко, – жаловался старший стопер. Его оранжевая майка потемнела в подмышках, глаза затуманила дорожная даль. – Вот про что мы с тобой не допетрили: пожрать надо было в Муроме. Там же столовые хорошие. А теперь – всухомятку трескать будем. Ладно я хоть запасся.

Они побрели в сторону небольшой березовой рощи, зеленеющей метрах в ста от обочины. Там расположились на обед. Серый порезал кусками вареную колбасу, пополовинил помидоры, присыпал всё это «соличкой». Родька взял свою долю и принялся молча жевать, поглядывая в сторону проносящихся авто.

– Ты вообще хоть раз в жизни стопом-то катался? Только честно, Родька? А? – спросил Петрович после того, как дожевал второй бутерброд. Говорил он спокойно и как-то буднично.

Молодой автостопщик промолчал.

– Я так и думал, – сделал вывод хлебозаводской инженер и, вздохнув, начал упаковывать рюкзак. – А дядька северодвинский – он-то хоть настоящий? Или тоже выдуманный?

– Дядька – настоящий! – огрызнулся Родька и пошел к обочине. Ему хотелось пива и плакать. Заночевали в Муроме у родственников Петровича.

\*\*\*

Родька, честно говоря, не помнил, как это получилось в первый раз: вышло само собой. У Пашки «станционного» – автомеханика с хлебозавода – был день варенья. Юный стопер затесался в компанию случайно: кто-то позвал его по пьяни. Выпили и закусили. Затем еще выпили.

– Родька! – крикнул грузчик Стас. – Расскажи: где в этом году был? Ну автостопом своим! А?

Кто-то загоготал с задних рядов, и Родьке поднесли рюмочку.

– В Архангельске! – вдруг выговорил его язык, и слова посыпались одно за другим. – Про Белое море слышали? Там городок такой есть – Северодвинск. И вот я туда катался – подлодки ядерные видел...

– Ну хватит заливать-то! – недовольно произнес чей-то голос слева; стопер обернулся и увидел насмешливые глаза Петьки-Триппера. – Чё на это дерьмо время тратить? Не ездил он никуда! Сидит со своей бабкой целыми днями...

– Ездил! И я с ним был – стопом до Архангельска ездили, – все обернулись на стоявшего в дверях подсобки Серого. От него ждали продолжения, но он молчал.

– Вот и я говорю: в Северодвинске были! – торопливо подхватил Родька. – У меня там дядя работает – ремонтом занимается. А подлодки там – жуть! С пятиэтажный дом – это только в высоту...

И пока юный стопер толкал свою телегу, инженер курил, из-под бровей поглядывая на говорившего. Родьку слушали внимательно, в редкой для такой компании тишине. Потом выпили не чокаясь. А затем беседа потекла дальше: говорили и подлодках, и о былой



мощи развалившегося Союза, и о совашинском пиве. Хлебозавод погружался в ночь, тусклые фонари освещали цеха и стоявшие у ворот две «ГАЗели», на которых завтра утром будут развозить еще горячий хлеб по окрестным магазинам.

И было уже не важно, есть ли на самом деле берег Белого моря и дядька с ядерными подлодками. «Кому какое дело? – думал Петрович, доставая еще одну сигарету. – Кому какое дело до всего этого?».

Он вышел на темный хлебозаводской двор и долго смотрел на звезды – пока их не затянули ночные облака. Он вдруг представил, что поднимается вверх – над крышами завода, обочинами центральной дороги и над самим Совашино. Всё дальше и дальше – в ту высоту, откуда можно было увидеть и Муром, и Шую, и даже Архангельск. Он часто так делал в детстве, но потом разучился – забыл...

«Кому какое дело?» – спросил еще раз Петрович. И, не ответив, пошел в подсобку – на старое место.

## Я – Дмитрий Родионов

Работа журналиста похожа на рыбалку. Сравнение банальное, но верное: никогда не знаешь, что за рыба попадется тебе на диктофонный крючок.

– Когда я впервые увидела вертеп (мне тогда было лет пять, не больше), я поняла, что жизнь моя непременно будет связана с театром. И не просто с театром, а с куклами!..

Я смотрю на пожелтевшие от бесконечных сигарет пальцы говорящей и пытаюсь вообразить ее пятилетней. Не получается. Вот хоть ты тресни. Всё выходит старуха с острыми, будто концы ножниц, глазами. Неужели она когда-то играла в кукольных спектаклях? И сейчас, говорят, еще стоит за ширмой...

Тяжелая, металлическая дверь кукольного с трудом поддается, и я выбираюсь в другой мир. А через час новая встреча – со старшей по дому. Мы лезем с ней в святая святых – в залитый нечистотами подвал многоэтажки. И так – по кругу. Каждый день. Я же говорю: не знаешь, какая рыба тебе попадется...

Сначала у меня был только один псевдоним. Ничего особенного – «Григорий Адуев». В нем даже что-то литературное просвечивало. Я подписывал им статьи, о которых можно было сразу благополучно забыть после их написания. Что-нибудь, знаете, этакое – событийное: «На прошлой неделе в рамках Международного Российско-Китайского форума в наш город приехали студенты из Китая. Гости из Поднебесной осмотрели главные городские достопримечательности», – ну, и тому подобное.

Раньше я такие заметки вообще не подписывал, но потом до газеты докатилось новое веяние: дескать, авторская подпись нужна обязательно. Чтобы читатель «знал». А чего ему знать-то? Да ему плевать, что там нарисовано под статьей – «Маргарита Терехова» или «Иван Навуходоносоров». Прочел – и забыл. Такова судьба почти любого газетного творчества.

Так вот. Григорий Адуев довольно-таки быстро истощил свою «атрибутивную силу» – нельзя же было испещрять его именем все накорябанные мною газетные статейки и статьищи. Нужен был подстраховщик, необходимо атрибутивное разнообразие. Так появился Сергей Тушин. Тоже вроде бы ничего необычного. Этот псевдоним у меня ассоциировался с чем-то историческим и не совсем чистым

на руку. Я подписывал им статьи из рубрики «Закон и порядок» – там, где речь шла о мошенниках, ворах и полицейских.

Примерно на четвертый год моего газетного бытия объявился и третий автор. Вот появление на свет этого персонажа банальщиной уже не назовешь, тут, наверное, как раз и начали проступать первые признаки того самого, о чем собственно я и хочу рассказать. Того, что подвигло меня на эти заметки «а ля дневник».

Первая статья Евгения Студенца появилась где-то в марте 2010 года. Толком объяснить то, почему выбирались именно такие псевдонимы, а не другие, я не могу. Вот честное слово! Из воздуха, из прочитанного, из каких-то мимолетных воспоминаний и ассоциаций. В общем – хрен знает. Даже не спрашиваете. Дописываю очередную заметку, нажимаю «Enter», а затем клавиши сами набивают: «Евгений Студенец». Так он и появился на свет. Страшный человек. Человек, укравший мою жизнь, загнавший меня туда, где я сейчас пишу эти строки.

\*\*\*

Вы когда-нибудь в поисковик вбивали свои имя и фамилию? Ну, признайтесь: было! Ну было же! Так? Вот и у меня случалось. Первоначально не так уж и часто. Раз в неделю, а может, и реже. А затем пошло по нарастающей. Тут ничего сложного: «Дмитрий Родионов, журналист». И город свой можно вбить, чтобы отсечь ненужные ссылки. Смотришь: ага, вот здесь засветился, там упомянули, а тут, понятно: подпись твоя под очередной статьей вылезла. Вот последнее – чаще всего. Ведь это же часть повседневности журналиста: накатал статейку, подписал, ее опубликовали – тут же она и в Интернете объявилась. Самое обыкновенное дело. Обыкновенное для тех, у кого нет псевдонимов...

Повторяю: сначала я на этом особо не концентрировался. Так, – взгляну, между делом: ага, о Родионове столько-то упоминаний, а о Студенце – вот столько. Посмотрел некоторые ссылки, ну и закрыл поисковик, сиди – дальше кропай. Я в такие игры играл раз в два-три дня. А затем – как-то втянулся. Завел себе традицию лезть в поисковик каждое утро – как только загружался комп на работе. Потом стал проверять и по вечерам. Месяца через полтора заметил, что в Гугле при публикации газетной заметки на нашем официальном сайте ссылка на нее появляется чаще, чем в Яндексe.

«Ага, – думаю, – надо сузить поисковые запросы, чтобы отсеивать всё, что со мной не связано. И делать это в разных поисковиках».

После меня заинтересовала общая статистика упоминаний – о Родионове и Студенце. К ним я подключил еще два своих газетных псевдонима, которыми пользовался реже. И наконец я добрался до этапа Больших Соревнований: меня заинтересовало, на кого из нас ссылок выпадает больше всего. И такими поисками я занимался не один раз в день и даже не два. Чаще, намного чаще...

\*\*\*

Сначала безусловным лидером был Родионов. Всё-таки на заре журналистской карьеры я охотно ставил под статьями свое настоящее имя. Но чем дальше я углублялся в Интернет-поиски, сужал запросы и увеличивал число переменных, чтобы выскакивали ссылки именно на меня и мои газетные материалы, тем всё больше победителем выходил именно Евгений Студенец. Я успокаивал себя тем, что Родионовых в стране – как собак нерезаных. А Студенцов, да еще приуроченных к нашему городку, – не так уж и много. Но это утешало не слишком.

Псевдонимами я старался пользоваться в соответствии с темами: Адуева и Тушина, как уже упоминал, ставил под всякой официальной белибердой и обработанными сводками УМВД, а Студенца приберегал для более серьезных вещей. Родионовым подписывался без системы и первоначально относился к этому не очень серьезно. Однако когда на главного моего персонажа поисковики стали ссылаться чаще, чем на меня, я напрягся.

«С чегой-то вдруг? – говорил я себе, ворочаясь по ночам с боку на бок в холостяцкой квартире, снимаемой у знакомых за символическую плату. – Почему о Родионове знают меньше, чем о Студенце? В конце концов кто хозяин положения? Кто настоящий? Да я просто не буду им подписываться – Гугл и думать о нем забудет!».

Но время шло, а Гугл о Евгении Студенце не забывал, и его фамилия то и дело мелькала на страницах нашего издания. Как она там образовывалась – черт ее знает. Вспухала, как флюс ночью – после непроходящей простуды. Открываешь газету с утра в пятницу и – на тебе! Студенец на третьей полосе. Торчит, словно ржавый гвоздь в заборе. Затем судорожно открываешь Яндекс – и точно: ссылок на

<https://www.istockphoto.com>



него прибавилось. Местные новостные порталы уже всё скопировали в обновляемые ежечасно архивы. А Родионова – как кот заплакал. Попадается, конечно, но всё не про меня, а про какого-то малоизвестного художника-однофамильца. Так бы и переломал ему все мольберты-кисти...

Времени на Яндекс-Гугл уходило всё больше. Я довел себя до того, что большую часть рабочего времени (да и дома тоже!) проводил за неустанными поисками разнообразных упоминаний о себе и ненавистном Студенце. Вскоре это стало сказываться на объеме и качестве написанных газетных статей.

– Тебе, может, отдохнуть? Взять на недельку-другую отпуск – оплачиваемый, конечно, – редактор прятал от меня глаза и делал вид, что говорит об этом как бы просто так – между прочим.

– Да я... Сам хотел бы... – мямлю в ответ, а потом снимаю очки и усиленно тру переносицу. – Не совсем хорошо что-то чувствую себя в последнее время.

– Ага, – обрадованно кивает Курашов, словно нашел причину того, что мучило его уже несколько недель. – Вот-вот, съезди куда-нибудь – я не знаю, на море. Приедешь – как новый будешь. А то глаза у тебя посмотри какие красные!

Я киваю и тащусь на рабочее место. Глаза у меня точно красные, так как сплю я всё меньше и меньше. Да и про какой сон тут можно говорить? А искать-то кто за меня будет? Пушкин?

\*\*\*

Честно говоря, я иногда думаю, что именно этот неожиданный отпуск и послужил тем спусковым крючком, который окончательно выбил меня из колеи. Курашов хотел как лучше, хотел помочь, а получилось – совсем иное. Если раньше работа отвлекала меня, хотя бы ненадолго заставляла отрываться от бесконечных ссылок и призывов пульсирующей строки поисковика, то теперь Большому Соревнованию был дан зеленый свет.

Возникло и кое-что новое. Понимаете, если на чем-то сосредотачиваешься долгое время, это что-то обрастает детальками и подробностями. Мне стало недостаточно одного имени «Евгений Студенец»: врага ведь нужно знать в лицо. Кто он? Как выглядит? Где родился? Какая у него походка? Почему о нем больше упоминаний, чем обо мне? Он что – талантливее или лучше меня? Это мы еще посмотрим!..

Первые наброски его биографии я сделал уже вечером третьего дня отпуска. Родился он, естественно, в 1980 году в городке Ярцево Смоленской области. Это понятно: где же ему еще родиться? Я хорошо помнил это серое двухэтажное здание – мать часто мне его показывала. Там еще с торца долго синела надпись, сделанная рукою какого-то отчаянно-счастливого папаши: «Спасибо, родная, за сына Борю!».

Да, именно там он родился, на втором этаже, и бирка у него еще зелененькая сохранилась с указанием веса младенца – 3650 г. Потом Студенцы переехали в Самару. Да, непременно в Самару. Там он закончил среднюю школу №12.

Я и портрет его набросал – благо два года в художественной школе отучился. Такое худое лицо с хищными скулами и неприятной лысиной, раздвоенной чубчиком. Ох уж этот чубчик... Ненавижу!

Потом... Вот тут-то и пошли эти самые провалы в памяти. Такое странное ощущение, как в гигантской карусели: о-оп, и ты уже внизу, о-оп, и смотришь откуда-то сверху. А как ты туда попал – Бог знает. В общем, я перестал замечать, как дни переходят в ночи, а ночи – в утро. Курашов первым и поднял тревогу – кому я, старый холостяк, еще бы понадобился? Только главному редактору.

Мне коллеги затем рассказывали, что, судя по всему, я не ел примерно неделю. Ну и на звонки, конечно, не отвечал. Вот это и заставило их заявиться ко мне в квартиру – хорошо хоть, что все в родной газете знали о том, что я никуда во время отпуска не уезжал.

– Интуицию, Женька, в себе не убьешь! – говорил редактор уже в больнице. – Бледность эта твоя мне сразу не понравилась. Вот и решил я позвонить тебе во время отпуска – и, видишь, как в воду глядел. Не зря, не зря позвонил, вовремя спохватился.

«Евгением» меня зовут и остальные – и лечащий врач, и санитары, и коллеги, которые в последние месяцы приходят всё реже. Я думаю, что это просто-напросто сговор – обычное дело. Местечко у меня было отличное и совсем непыльное, вот Курашов и компания и решили таким образом избавиться от неудобного сотрудника. Но на мякине старого газетчика не проведешь! Я – не кто иной, как Дмитрий Родионов. И тут уж ничего не попишешь...

Да, кстати, писать я не бросил: Курашов, хоть и сволочь, но статейки от меня по старой дружбе еще берет. Публикуют из них немного – так, одну-две в месяц, но и этого вполне достаточно. Главное в том, что под каждой из них стоит подпись Родионова. И пусть медленно, пусть шаг за шагом, но число упоминаний растет. Студенцу в Большом Соревновании ни за что меня не обскакать, не победить. В призывно пульсирующей строке поисковика я все равно буду набирать только одно, свое, настоящее имя: «Я – Дмитрий Родионов...».

## О ВДОХНОВЕНИИ: ВЫПИСКИ ИЗ ЖИЗНИ

**Вдохновение** и настоящее творчество рождается тогда, когда чрезвычайно зажат внешне и свободен внутренне. Если нет давления внешнего – обленишься, если нет свободы внутренней – не сможешь творить, но только рабски имитировать.

**Уметь выбирать** из того, что предлагает ум; не принимать всё, им проговариваемое, как часть себя, как своё. В этом – выход из лабиринта самообвинений и претензий к себе и к миру.

**Если сумеешь** прояснить туман собственных снов – сможешь точнее понимать собственную жизнь, реальность повседневную.

**Из простоты** и обыденности происходит вся глубина и сложность, и подвиги. Тот, кто совершает подвиг, совершает его внутри себя постоянно. Здесь и сейчас.

**Привыкают** не только к роли центра компании (постоянного говорящего), но и к роли постоянных слушателей в компании.

**Творческая отдача** повышает осознанность мира и самоосознание. Бесконечное потребление уводит человека прочь от себя самого. Настоящее творчество рождает ответную потребность создавать.

**Оплотнение** мимолетного движения души – вот истинное блаженство художника. Оно как бы продляет человека во времени и пространстве, поднимает его над тем, что он считает пошлой прозой жизни; заставляет рваться вперед, ввысь, к свершениям и подвигам.

**Если бы знать**, что происходит в утренней реальности и почему в ней так мало вечернего, просветляющего – того, что составляет основу жизни...





Суть в том, что если не будешь верить в себя, не решишься оплотнить свои творческие порывы, находки, то этот едва уловимый узор из ветра уйдет и развеется – будто и не было его вовсе: всё гениальное до своего воплощения легко и едва уловимо.

Гениальность гения – в способности уловить неуловимое для других.

Одна их характеристик хорошего произведения – способность ставить вечные вопросы так, чтобы они представлялись актуальным порождением дня сегодняшнего, от которого невозможно ни отмахнуться, ни избавиться, на который необходима живая реакция здесь и сейчас.

Чем отличается мир, в котором есть волшебство, от мира, в котором его нет? Только – точкой зрения. Реальность волшебна для того, кто открыт именно для такого, волшебного, мира. Чудо и

чудесное всегда с нами, его даже не надо стараться заметить, нужно просто увидеть его там, где оно было, есть и будет, – в нашей привычной повседневности.

Кажется, у всех великих (да и не слишком:) художников, писателей, поэтов – одним словом, творческих людей, есть свой круг любимых тем, идей, словечек и сюжетов, к которым они волей неволей возвращаются снова и снова. В различных вариантах, масках, поступках, красках, характерных чертах – но это нечто устойчивое все время повторяется. К примеру, у Достоевского – это тема казни, тема ощущения себя накануне неизбежной смерти (отчет самому себе, саморефлексия); тема некой губительной страсти (деньги, женщины, вино, похоть, игра и т.п.), которую всё никак нельзя преодолеть; тема покаяния за преступление; тема вины невинного и невиноватости виноватого и т.д.

Как ни странно, эту повторяемость хочется преодолеть и – одновременно – из круга этого вырваться как-то совсем невозможно. Да и не хочется в действительности. Ведь пишется только о том, что родное, за что страдаешь, о чем искренне переживаешь; что любишь и за что боишься.

И что за привычка даже наедине с собой всё оправдываться, всё юлить и ориентироваться на абстрактного иного, на другого? У любого текста есть свой – самый-самый родной адресат, который словно именно для него и предназначен, чьего внимания он ждет, – тот самый читатель, который, восприняв текст, непременно изменится и изменит вместе с собой и весь окружающий мир.

К идеям надо относиться, как к ребёнку: беречь, любить, но не поклоняться.

Когда человек думает, что его отвлекают и сосредоточивается именно на этом (то есть не на самом отвлечении, а именно на мысли и вере, что в этом и есть подлинность), – тогда возникает раздражение и происходит работа по убийству вдохновения.

---

Творческие люди просто обязаны иметь более подвижную, лабильную нервную систему, более остро реагирующую на действительность и на фантазии – в ином случае никакого творчества не состоится. Соответственно, им тяжелее жить в этой действительности. Единственное спасение от этой остроты – в отдаче и любви.

Бытие скучно для того, кто не может устроить себе внутреннее приключение и как-то воплотить его во внешний мир.

Интересно, что пессимизм и оптимизм так же заразны, как и мелодия какой-нибудь популярной песенки.

Если бы человек всегда жил во вдохновении, так разве мог бы он осознать, понять, оценить, а быть может, и реализовать его в полной мере? Вдохновение, как и жизнь, ценно в свете повседневности и смерти.

# Благодарности

Я благодарю моих дорогих учителей – Михаила Матлина и Маину Чередникову – за то, что когда-то они приобщили меня к фольклористике, научили чувствовать и понимать собеседников.

Эта книга вдохновлена встречами и душевными беседами с сотнями рассказчиков. Некоторых из них уже нет, с другими я, наверное, никогда больше не встречусь. Но до сих пор на каком-то ином уровне сознания я всё еще продолжаю слушать их, говорить с ними, вспоминать о них.

Искренняя благодарность моим друзьям – Андрею Цухлову, Илье Павлову, Александру Михайлову, Константину Туркину и девушкам из ансамбля «Отрада». Без вас и ваших характеров роман об экспедиции никогда не состоялся бы.

Отдельная благодарность – Павлу Половову, чьими стараниями книга обрела звуковую форму (аудиовариант романа можно послушать здесь: <http://ulgorod-folk.wixsite.com/nuvitarn73>).

Не могу не упомянуть и художника Максима Василисина: его иллюстрации действительно помогают погрузиться в волшебный мир Экспедиции.

*25 ноября 2017 года*

# Содержание

М.Г. Матлин «Нас всех подстерегает случай» . . . . .	5
Экспедиция. Бабушки офлайн . . . . .	7
Кенотафия, или Необычное путешествие по России (повесть). . . . .	206
Мастер-класс (рассказ). . . . .	252
Визуальная антропология (рассказ). . . . .	264
Утюжок (рассказ). . . . .	282
Стопом до Архангельска (рассказ) . . . . .	296
Я – Дмитрий Родионов (рассказ) . . . . .	306
О вдохновении (бонус) . . . . .	312

Литературно-художественное издание

*Евгений Валериевич Сафронов*

Экспедиция. Бабушки офлайн  
Роман. Повесть. Рассказы

*ISBN 978-5-00122-420-4*

Издательство «Перо» (Москва), 2018

Верстка и корректура Е.В. Нувитова

Художник М. Васиисин

Автор рисунков на стр. 15, 281 – Т. Половова, на стр. 45 – Д. Добрынина

При оформлении переплета использована фотография,  
сделанная во время экспедиции в Сурский район Ульяновской области

Формат 60x90/16. Бумага офсетная. ...п.л.



*Издательство «Перо»*

*109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 27, офис 105*

*Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36*

*Подписано в печать 07.06.2018. Формат 60×90/16.*

*Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,25. Тираж 150 экз. Заказ 380.*

*Отпечатано в ООО «Издательство «Перо»*



*Автор книги – писатель и фольклорист Евгений Сафронов – более 15 лет записывает устные рассказы, связанные с колдунами, знахарями, оборотнями, НЛО.*

*Встречи с современными знахарками и сельскими самогонщиками, яркими личностями и невыдуманными характерами – всё это в остросюжетном романе об экспедиции в неведомое, настоящую «неизвестную землю» для большинства горожан – российское село.*

Аудиоверсии произведений, опубликованных в этой книге, можно найти по адресу: <http://ulgorod-folk.wixsite.com/nuvitarn73>.

Тексты читают **Олег Булдаков** и **Павел Половов**.